

№ 20
176

ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА



АНАТОЛЬ ФРАНС

ТОМ ДЕВЯТЫЙ

**ВОССТАНИЕ
АНГЕЛОВ**

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ



**П Е Т Е Р Б У Р Г
М С М Х Х**



ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Ф Р А Н Ц И Я

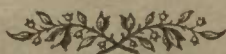
ИЗБРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ

АНАТОЛЯ ФРАНСА

ANATOLE FRANCE

1844

ПОД РЕДАКЦИЕЙ
М. КУЗМИНА



ИЗДАТЕЛЬСТВО „ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА“
при Народном Комиссариате по Просвещению

ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА

№ $\frac{20}{176}$ АНАТОЛЬ ФРАНС

ТОМ ДЕВЯТЫЙ

ВОССТАНИЕ АНГЕЛОВ

ПОВЕСТИ и РАССКАЗЫ

175/46

ПРЕДИСЛОВИЯ
М. КУЗМИНА

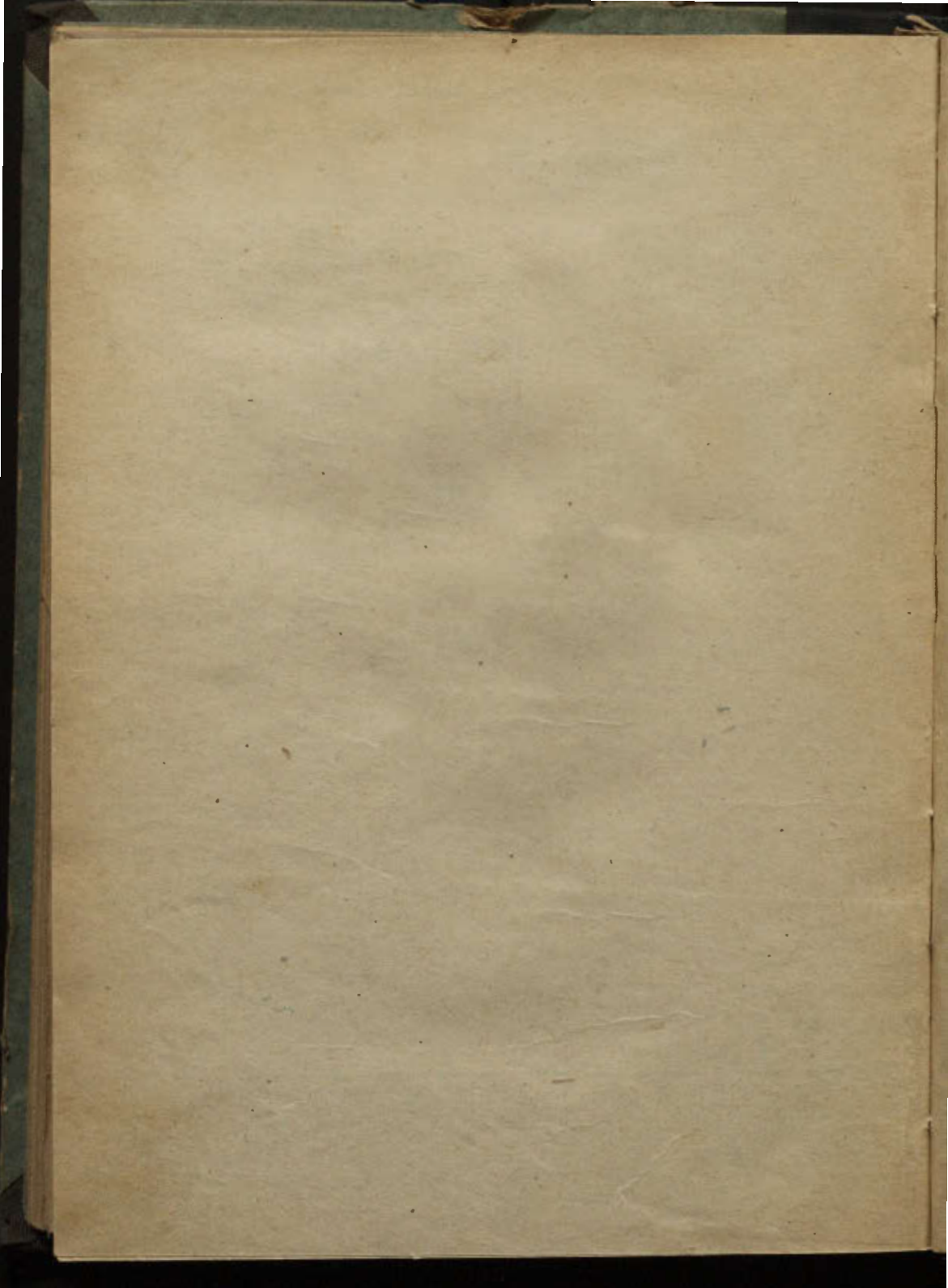


ПЕТЕРБУРГ МСМХІХ

ВОССТАНИЕ АНГЕЛОВ
LA RÉVOLTE DES ANGES

РОМАН

1914



ПРЕДИСЛОВИЕ.

Довольно распространенное и не лишенное известного основания мнение, что фантастический элемент в искусстве не особенно свойствен латинским расам, кажется особенно применимым к Анатолию Франсу. Конечно, и французские писатели не раз пытались проявить себя в этой области; конечно, романтики, и французские официально, писали фантастические рассказы; конечно, у великого Бальзака, в котором соединялось, если не все, то очень многое, есть и фантастически заостренные психологические, почти болезненные положения, напоминающие странности мрачного американца Эдгара По; конечно, одиночными звездами в конце XVIII века проблестали, подтверждая, как исключения общее правило, чудесная повелла Казотта „Влюбленный дьявол“ и „Сказочный театр“ венецианца Гоцци; конечно, сам А. Франс любит пересказывать французские сказки, придавая им новую прелесть и новое лукавство, порою же насильственно хочет овладеть каким-нибудь мрачным, патологическим до фантастики сюжетом, вроде „Иокасты“, к которому он возвращается дважды, обработав его в виде рассказа и в виде довольно длинной повести, почти с одинаковым полууспехом; конечно, в одном из лучших его романов „Харчевня королевы Пэдок“ уже раскрываются пламенные, прозрачные, радужные крылья чудесной музыки „небывалого“,—но нужно сознаться, что все это лишь незначительные экскурсы в область, родиной и царством которой была и есть Германия.

Я думаю, что в некоторой связи с этим свойством находится почти полное отсутствие у романских народностей юмора. Французы понимают его исключительно как игру слов, остроумие или легкую непристойность. Итальянцы же, вообще, слишком увлекающийся, страстный народ, слишком в серьез принимают

все события и явления жизни, относятся ко всему серьезно, придавая большое значение достоинству вещей, узаконенных привычкою или обычаем. Отчасти в них сохранился дух древних римлян, народа по преимуществу политического, гражданского, отнюдь не шутивого и не склонного к фантастической мечтательности, народа трезвого, положительного, почти совершенно лишенного воображения. Может быть, это римское наследство, может быть, печальное политическое положение, в котором долгое время находилась Италия, наложили на сатирические произведения итальянских писателей, на их протесты и новшества, даже поэтические, явственно-политический, официально республиканский отпечаток.

Я тем смелее упоминаю об этом, что, может быть, более всех романских писателей, при необыкновенно ясном и четком уме, своеобразным юмором и склонностью к фантастическим построениям обладает именно А. Франс, причем последнее привлекает его не только, как возможность в широких утопических картинах охватывать небеса и землю, но и само по себе, как хотя бы в упоминаемом уже мною романе „Харчевня королевы Пэдок“. Но и здесь нужно воздержаться от представления фантастического в духе Гофмана, или немецких романтиков. Франс предпочитает иметь дело с явлениями мифологического характера, т. е. происхождение и характер которых уже определен и принадлежит к области верований. Фантастика Франса постольку фантастична, поскольку, скажем, ангел—существо фантастическое. Фантастика Франса почти всегда мифологического характера и ее не больше, чем у древних классиков. Она всегда традиционна и не связана органически с житейским планом действующих лиц. Даже самый свободный, самый смелый, самого высокого полета его роман „Восстание ангелов“ фантастичен в такой же только мере, как фантастична „Илиада“, „Потерянный рай“ или „Божественная комедия“.

Социальный, даже социалистический роман, романтически и фантастически задуманный, классически и мифологически выполненный, где применены все тайны слога и языка, от сладчайшей Франсовой размеренной речи до почти футуристического импрессионизма, написанный семидесятилетним стариком с юношеской свежестью и жаром, писателем, достигшим высот совершенства и вновь идущим на поиски и новые завоевания, конечно, это еще недостаточно оцененное чудо, к которому

отнестись со всем восторгом, изумлением и вниманием не позволили только мировые события, как бы вызванные им.

„Восстание ангелов“, предсказывающее мировые перевороты, вышло в свет весной 1914 года, накануне войны, за которой последовало все то, чему свидетелями мы были и конец чего нам неизвестен, как и в большинстве социально-утопических произведений А. Франса.

Почти тотчас по выходе, книга, разумеется, попала в „index librorum prohibitorum“, т. е. объявлена была папой чтением отнюдь неназидательным. Запрещена она была и в России, разделив в этом отношении судьбу „Острова Пингвинов“, „Харчевни королевы Пэдок“ и „Мнений Жерома Куаньяра“, французский текст которых не подлежал ввозу, и допускались только переводы с пропусками.

Патриотическая часть французской прессы, недовольная Франсом уже с „Современной истории“, где дело Дрейфуса освещалось с нежелательной для нее стороны, конечно, встретила новый роман неодобрительно. Но даже довольно свободный журнал „Mercure de France“ ограничился только чисто технической статьей, где разбирал метрический характер некоторых страниц „Восстания ангелов“. Выходило, что все речи Нектария написаны свободными стихами—теория „вольного стиха“ так еще неустойчива, что, конечно, можно и прозу А. Франса разбить на ритмические строчки, хотя отсюда недалеко до утверждения одного известного русского поэта, ныне здравствующего, что из любой газетной статьи, разбив ее произвольно на короткие строчки, можно сделать свободный стих.

Как произведение, очевидно, социальное и в высшей степени современное (во время своего написания даже предвосхитившее будущее), „Восстание ангелов“ просится в ряды таких романов Франса, как „Современная история“, „Остров Пингвинов“ и отчасти „На бедном камне“. Как всегда, сравнивая, скорее выясняют различие, нежели общность. В последнем романе А. Франса гораздо менее утопий, чем в только что перечисленных мною которые могли бы иметь аналогию с „Восстанием ангелов“.

И опять едко и остро изобразив современность, предсказав даже мировую революцию, Франс, может быть, мимо воли, выходит из временных рамок и рисует как бы историю всяких вообще восстаний.

И тут он уже далек от „сказки про белого бычка“, какою ему представляются исторические эволюции в „Острове Пингвинов“. В заключительных словах Сатаны, победившего Иалдабаофа и сделавшегося, как победитель, сам угнетателем и ненавидимым Богом, меж тем как Иалдабаоф стал сверженным Сатаною,—звучит уже, хотя и неясный, но положительный, совет и указание, на которые так не щедр вообще А. Франс.

—Мы были побеждены, потому что не поняли, что победа есть Дух, и что в нас, только в нас самих, следует уничтожить Иалдабаофа.

Может быть, подобное заключение недостаточно определенно, даже недостаточно ново, но зато центрально важно, что открытому вопросу, скептической уловке или ласковой, разочарованной усмешке, Франс предпочел такой простой, такой не новый, положительный совет. Я не знаю, как перевести такую точку зрения на язык политических партий, но для Франса большая новость такое „царство Божие внутри нас“, хотя и высказанное, может быть, по старой привычке, от лица Сатаны.

Оба мира: мир людей и мир павших ангелов довольно резко разграничены, что подчеркнуто еще и переменой самого слога, по мере удаления от светского, парижского общества, все более приближающегося к размеренной прозе, так что речи Нектария кажутся написанными даже свободным стихом. Кроме Аркадия, немногие из ангелов настолько очеловечились, чтобы их можно было серьезно принять за русских и других анархистов. Да и прелесть их не в этой двойственности, а в трогательности и какой-то беспомощности самого положения небесных изгнанников и божественных бунтарей. Как я уже указывал, житейский план романа изображен смело, почти с футуристическим импрессионизмом, составляя пленительный контраст с ангельскими мелодиями Нектария. А. Франс не побоялся дать моментам сношений людей с ангелами очень острый, почти фарсовый характер. Эти главы, эти страницы, может быть, самые неожиданные в книге. Отношения между хранимым Морисом и хранителем Аркадием, которые поменялись ролями, история Бушотты, роман Жильберта, все второстепенные персонажи и истории носят характер легкой фривольности, большей, чем в других произведениях Франса, посвященных современности.

Тем поразительнее выделяется небесный мятеж на этом

фривольном, зыбком фоне, причем моменты более близких соотношений парижских обывателей и райских изгнанников отмечены наиболее фарсовым характером.

Все условия этого романа заставляли ожидать странного, неровного, экстравагантного и растрепанного произведения, соединяющего высокие полеты с циническими картинками, социалистические теории с воспоминаниями из жития святых, самую едкую современность с античной сладостью, и вот, хотя все это есть налицо, но флейта Нектария не даром звучала в плодовом саду, муза не даром целовала поэта,—из всех этих противоречивых, несогласуемых элементов А. Франс воздвигает живое, трепетное, но стройное и гармоничное целое, которое но неожиданно увенчивает, вместо красивого умолчания, простым и положительным указанием. Он не побоялся, что эти слова уже звучали до него, в его устах они приобретают новую новизну, значительность и благодать. И произведение старого мастера вместе с новыми и неожиданными художественными исканиями дарит нас еще новой лаской, почти застенчивой от непривычки, почти недожим словом настоящей любви.

М. Кузмин



ВОССТАНИЕ АНГЕЛОВ

Глава первая,

содержащая в немногих строках историю одной французской семьи от 1789 г. до наших дней.

Дворец Эспарвье возвышает в тени Сен-Сюльпис свои три суровых этажа, разделяя двор, поросший зеленым мхом, от сада, все более и более тесного с годами, все более и более сдавленного высокими новыми зданиями; там два огромных каштана еще поднимают к небу свои облетевшие верхушки. Здесь от 1825 до 1857 года жил великий человек семьи, Александр Бюссар д'Эспарвье, товарищ председателя Государственного Совета Июльской монархии, член Академии Моральных и Политических наук, автор «Опыта о гражданских и религиозных учреждениях различных народов», в трех томах *in octavo* — труда, к несчастью, неоконченного.

Этот выдающийся теоретик либеральной монархии оставил наследником своего рода, своего состояния и своей славы, Фульгенция-Адольфа Бюссар д'Эспарвье, который сделался сенатором при Второй Империи, увеличил значительно свое достояние покупкой земель, где должна была пройти Аллея Императрицы, и произнес замечательную речь в защиту светской власти пап.

У Фульгенция было три сына. Старший, Марк-Александр, поступил на военную службу и сделал блестящую карьеру: он умел хорошо говорить. Вторым, Газтаном, не выказывал никаких особых талантов; он жил по боль-

шей части в деревне, охотился, разводил лошадей, занимался немножко музыкой и живописью. Третий, Ренз, предназначенный с детства к магистратуре, подал в отставку, чтобы избежать участия в применении законов Ферри о конгрегациях. Позднее, видя как в президентство Фальера вновь настали дни Деция и Диоклетяна, он отдал все свое знание и все свое рвение служению гонимой Церкви.

От Конкордата 1801 года до последних лет Второй Империи все д'Эспарвье ходили к обеду ради примера другим. Скептики в душе, они считали религию способом управления. Марк и Ренз первые в роде обнаружили признаки истинного благочестия. Генерал посвятил свой полк Святому Сердцу и исполнял обряды с таким усердием, которое было замечательно даже у военного, а ведь известно, что набожность, эта дочь Неба, избрала в качестве своего излюбленного пребывания на сей земле сердца генералов Третьей Республики. Истинная вера имеет свои превратности. При старом режиме верующим был народ, но не аристократия и не образованная часть среднего сословия. При первой Империи армия сверху донизу состояла из безбожников. Теперь народ не верит ни во что, верхние слои хотят верить, и иногда это им удается; как удалось Марку и Ренз д'Эспарвье. Их брат Газтан, деревенский дворянин, напротив, не мог прийти к этому; он держался агностицизма, как говорят в свете, желая избежать ужасного слова вольподумство. И он даже открыто заявлял о своем агностицизме, вопреки приличию, которое требует его скрывать. В наш век есть столько способов верить и не верить, что будущие историки с трудом разберутся в этом. Но разбираемся ли мы лучше в состоянии верований эпохи Симмаха и Амвросия?

Ревностный христианин, Ренз д'Эспарвье был в то же время очень привязан к либеральным идеям, которые предки передали ему как священное наследие. Принужденный бороться с атеистской и якобинской Республикой, он все же считал себя республиканцем. Независимости и суверенитета Церкви он требовал во имя свободы. В эпоху великих распри из-за отделения Церкви

от Государства и конфискаций, собор епископов и собрания верующих происходили у него в доме.

Когда в большой зеленой гостиной собирались самые признанные вожди католической партии,—прелаты, генералы, сенаторы, депутаты и журналисты; когда сердца всех присутствовавших обращались к Риму, пылко и преданно, или покорно и подчиненно; когда Ренэ д'Эспарвье, облокотясь на мрамор камина, противопоставлял гражданскому праву каноническое и красноречиво протестовал против ограбления церкви Франции—два старинных лица, немые и неподвижные, взирали на собрание нашего времени. То был, направо от камина, писанный Давидом, в короткой куртке и канифасовых панталонах, Ромэн Бюссар, земледелец из Эспарвье, грубоватый и коренастый, посматривавший несколько лукаво. Ему было чего посмеиваться: ведь это он положил начало семейному благосостоянию, скупив церковные земли. Налёво от камина висел написанный Жераром, в парадном мундире, разукрашенном орденами, сын крестьянина, барон Эмиль Бюссар д'Эспарвье, префект Империи и докладчик министра юстиции при Карле X, умерший в 1837 году церковным старостой своего прихода со стишками из «Pucelle» на устах.

Ренэ д'Эспарвье женился в 1888 г. на Мари-Антуанетте Купелль, дочери барона Купелль, горнозаводчика в Блэнвилле (Верхняя Луара). Госпожа д'Эспарвье председательствует с 1908 года в обществе матерей-христианок. Эти идеальные супруги выдали замуж старшую дочь в 1908 году и воспитывали при себе еще троих детей, девочку и двух мальчиков.

У шестилетнего Леона, младшего из них, была своя комната рядом с комнатами матери и сестры Берты. Морис, старший, жил в маленьком павильоне из двух комнат, в глухой саде. Там он пользовался свободой, которой делала для него семейную жизнь переносимой. То был молодой человек, довольно красивый и элегантный, без особой манерности; его привычная улыбка одним уголком рта была не лишена приятности.

В двадцать пять лет Морис обладал мудростью Экклезиаста. Сомневаясь, чтобы человеческий труд приносил

какую-либо пользу, он и не утруждал себя. С раннего детства этот маменькин сынок старался, как бы улизнуть от ученья, и, пребывая совершенно в стороне от университетских занятий, он сделался доктором прав и адвокатом при судебной палате.

Он никого не защищал и не выступал ни в каких процессах. Он не знал ничего и не желал ничего знать, сообразуясь с природным своим разумением и не перегружая его приятной незначительности; счастливый инстинкт подсказал ему, что лучше понимать мало, чем понимать плохо.

Морис получил в дар с неба, по словам аббата Патуйя, благоденствие христианского воспитания. С детства благочестие было преподано ему домашними примерами и когда, окончив колледж, он поступил на юридический факультет, он нашел и ученость профессоров, и добродетель исповедников, и постоянство возвышенных женщин все у того же домашнего очага. Приобщившись к общественной и политической жизни в эпоху великих гонений на Церковь Франции, Морис не пропустил ни одной манифестации католической молодежи, он работал на баррикадах своего прихода в дни описи церковных имуществ и выпрягал со своими товарищами лошадей архиепископа, изгнанного из дворца. Впрочем, в этих обстоятельствах он выказал умеренное рвение: его ни разу не видели в первых рядах этих героических кучек, побуждавших солдат к славному неповиновению или осыпавших чиновников казны бранью и нечистотами.

Он только исполнял свой долг, ничего более, и если он отличился в паломничестве 1911 года, переноса на руках больных и немощных в Лурде, то можно было опасаться, что он старался так только ради мадам де-ла-Вердельер, которая любит сильных мужчин. Аббат Патуйль, друг семьи, глубокий знаток душ, знал, что мученичество привлекало Мориса в умеренной степени. Он упрекал его в вялости и слегка трепал его за ухо, называя лентяем.

Как бы то ни было, Морис остался верующим. Во всех заблуждениях молодости его вера пребывала незапятнанной, потому что он ее не касался. Он не размышлял никогда ни об одном ее пункте. Он не уделял особого вни-

мания моральным понятиям, господствовавшим в обществе, к которому он принадлежал. Он принимал их такими, какими они были ему даны. Оттого при всех обстоятельствах он оказывался вполне порядочным человеком, чего не случилось бы с ним, если бы он стал раздумывать об основах морали. Он был вспыльчив, в гневе сердит, имел понятие о чести и культивировал его с особой тщательностью. Он не был ни честолюбив, ни тщеславен. Как большая часть французов, он не любил тратить деньги; он ничего не дарил бы женщинам, если бы они его к этому не вынуждали. Полагая, что презирает их, он обожал их и слишком естественно любил наслаждение, чтобы замечать это. Чего никто не знал и чего не знал он сам, что, быть может, давал угадать лишь легкий влажный блеск, мелькавший иногда в его красивых светло-каштановых глазах, это то, что он был нежен и способен к дружбе; в обычном же течении жизни он был, напротив, довольно груб.

175/46
Глава вторая,

в которой можно найти полезные сведения об одной библиотеке, где должны случиться вскоре странные происшествия.

Жаждавший объять весь круг человеческих знаний и желавший выразить свои энциклопедические способности в символе конкретном и наиболее отвечающем его денежным средствам, барон Александр д'Эспарвье составил библиотеку из трехсот шестидесяти тысяч томов, частью печатных, частью рукописных, основу которой дали книгохранилища бенедиктинского монастыря Лигюже.

Специальным параграфом завещания он вменил в обязанность наследникам пополнять библиотеку всем, что выйдет в свет значительного в науках естественных, политических, социальных, в вопросах философских, моральных и религиозных. Он определил суммы, которыми надлежало пользоваться для этой цели, и возложил на

А. Франс. Восстание ангелов.

своего старшего сына, Фульгенция-Адольфа, обязанность следить за пополнением библиотеки. Фульгенций-Адольф исполнял с сыновней почтительностью волю своего, знаменитого отца.

После него огромная библиотека, составлявшая более чем целую долю в наследстве, осталась неразделенной между тремя сыновьями и двумя дочерьми покойного сенатора, и Ренэ д'Эспарвье, которому достался дворец на улице Гарансьер, принял на себя и хранение богатейшего книжного собрания. Это две сестры, в замужестве Поле де-Сен-Фен и Кюиссар, требовали неоднократно ликвидации столь значительного имущества, не приносящего никакого дохода. Но Ренэ и Газтан выкупили долю остальных сонаследников, и библиотека была спасена. Ренэ д'Эспарвье пытался даже пополнять ее, согласно намерениям основателя. Но год из году число и значительность его приобретений уменьшались, в виду, якобы, понижавшейся интеллектуальной производительности Европы.

Газтан, однако, обогащал ее покупкой на собственные деньги новых произведений, выходящих как во Франции, так и за границей, которые казались ему хороши, а он понимал в этом, хотя его братья и не желали допустить, что он мог понимать что-либо и в чем-либо. Благодаря этому любознательному и праздному человеку, книжное собрание барона Александра мало отставало от века.

Библиотека д'Эспарвье до сего дня в своих отделах теологическом, юридическом и историческом является одной из лучших частных библиотек во всей Европе. Здесь можно изучать физику или, вернее, все отрасли физики, а если это кого интересует—и метафизику или метафизики, иначе говоря, то, на чем останавливается физика и у чего нет другого имени, ибо невозможно именем существительным обозначить нечто, у чего нет признаков существования и что есть лишь мечта и обман воображения. Здесь можно восхищаться философами, строящими и опровергающими абсолюты, разграничивающими безграничность и определяющими неопределенность. Все встречается тут в этой груде книг и книжонок духов-

ных и светских, все, вплоть до самоновейшего и эlegantнейшего прагматизма.

В других библиотеках можно найти больше переплетов, замечательных своей древностью или своим происхождением, прекрасных атласистостью и цветом кожи, драгоценных по искусству поворотчика, украсившего их узором сеточки, кружева, завитков, лилий, или эмблемами и гербами, тихо сияющими перед глазами очарованного ученого. В других библиотеках попадаете больше манускриптов, расписанных рукой мастеров Венеции, Фландрии и Турени тонкими и яркими миниатюрами. Но ни в одной нет столько прекрасных во всех отношениях изданий старых и новых, христианских и языческих классиков.

Здесь есть все, что оставила нам античность, все Отцы Церкви и все апологеты, все гуманисты Возрождения, все энциклопедисты, вся философия, все человеческое познание.

И это заставило сказать кардинала Мерлена, удостоившего библиотеку своим посещением:

— Нет человека, у которого нашлась бы голова, чтобы вместить все, что ученость поставила на этих полках. К счастью, в этом нет и надобности.

Монсеньор Каппо, который работал здесь часто, когда был еще священником в Париже, любил говорить:

— Здесь было бы из чего создаться не одному Фоме Аквинскому и не одному Арию, если бы только в душах нынешних людей оставалось прежнее рвение к добру и злу.

Рукописи составляли бесспорно главное богатство огромной библиотеки. Здесь выделялась особенно неопубликованная корреспонденция Гассенди, Мерсенна и Паскаля, проливавшая новый свет на XVII век. Нельзя не упомянуть и о ивритских библиях, о талмудах, о раввинистских трактатах, как печатных, так и рукописных, об арамейских и самаритянских текстах на кусках бараньей кожи и на дощечках из сикомора, ибо всех тех, одним словом, древнейших и редчайших экземплярах, которые были собраны в Египте и Сирии знаменитым

Моисеем из Дины и куплен Александром Эспарвье за бесценок, когда в 1836 году знаменитый гебраист умер в Париже от старости и нищеты.

«Эспарвьевна» занимала весь второй этаж старого дворца. Произведения, считавшиеся представляющими второстепенный интерес, как книги по протестантскому экзегезу XIX и XX века, подаренные Газтаном, хранились без переплета в бесконечных пространствах чердаков. Каталог с приложениями занимал не более, не менее как восемнадцать томов *in folio*. Этот каталог был всегда исправен, и библиотека находилась в образцовом порядке. Жюльен Сарьет, архивист-палеограф, дававший по бедности и скромности уроки для своего пропитания, сделался с 1895 г., благодаря рекомендации Агрского епископа, почти одновременно наставником молодого Мориса и хранителем «Эспарвьевны». Одаренный методическим трудолюбием и упрямым терпением, Сарьет распределил собственноручно все содержимое этих обширных помещений. Придуманная и примененная им система была до такой степени сложна, обозначения, которые он ставил на книгах, состояли из столькох букв, больших и маленьких, латинских и греческих, из столькох цифр, арабских и римских, со звездочками, с двойными звездочками, с тройными звездочками, со знаками степени и знаками корня—что изучение всего этого требовало больше времени и труда, чем изучение алгебры.

И так как не находилось никого, кто пожелал бы углубиться в эту систему непонятных знаков, вместо того, чтобы постигать законы математических чисел, то Сарьет остался единственным, кто мог разобраться в классификации. Навсегда невозможным сделалось найти без его помощи среди трехсот шестидесяти тысяч томов, вверенных его заботам, именно ту книгу, которая вам нужна. Таков был результат его деятельности. Нисколько не огорчаясь, напротив, он испытывал от того живейшее удовлетворение.

Сарьет любил свою библиотеку. Он любил ее ревливой любовью. Каждый день он отправлялся в нее в семь часов утра и там, за большим столом красного дерева, он каталогизировал. Карточки, написанные его рукой, на-

полняли монументальный шкап, зысвившийся перед ним и увенчанный гипсовым бюстом Александра д'Эспарвье, с развевающимися волосами, с вдохновенным взором, с узенькой заячьей лапкой от уха к подбородку, как у Шатобриана, с округленным ртом и оголенной грудью. Когда было полдень, Сарьет шел завтракать на узкую и темную улицу Канет, в кофейню «Quatre Evêques», посещаемую некогда Бодлером, Теодор де-Банвилем, Шарлем Бодлером, Асселино, Луи Менаром и одним испанским грандом, который перевел «Парижские Тайны» на язык конквистадоров. И всякий раз утки, которые так славно крикают на старинной каменной вывеске, давшей название улице, узнавали Сариета. Ровно в три четверти первого он возвращался в свою библиотеку, откуда не выходил до семи часов, когда вновь являлся в кофейню «Quatre Evêques», чтобы сесть за свой скромный обед, заканчивавшийся черносливом. Каждый вечер после обеда его приятель, Мишель Гинардон, по прозвищу папа Гинардон, живописец-декоратор и реставратор картин, работавший для церквей, спускался со своего чердака на улицу Принцессы в «Quatre Evêques», пить кофе и ликеры и составлять Сариету партию в домино. Гинардон, мужчина еще крепкий и молодец с виду, был старше, чем можно было подумать: он знал Шеновара. Отличаясь свирепым целомудрием, он неустанно порицал все неприличия современного язычества терминами ужасающе непристойными. Он любил поговорить. Сарьет слушал его охотно. Папа Гинардон особенно любил рассказывать своему приятелю о капелле Ангелов в Сен-Сюльпис, где живопись отваливалась кусками—та живопись, которую он должен реставрировать, когда это будет угодно Богу, потому что теперь, со времени отделения Церкви от Государства, храмы принадлежат одному Господу, и нет никого, кто позаботился бы о самых необходимых исправлениях. И папа Гинардон даже не требовал за это никакой платы.

— Михаил—мой патрон,—говорил он.—Я всегда особенно почитал святых Ангелов.

Окончив партию в домино, Сарьет, совсем крохотный, и папа Гинардон, могучий как дуб, косматый, как лев.

огромный как святой Христофор, удалялись, беседуя, рядышком в сторону Сен-Сольпис, севозь ласковую им ненастную ночь. Сарьет направлялся прямо в свое жилище, к большой досаде живописца, который был говорун и полунощником.

На другой день, когда било семь часов, Сарьет занимал свое место в библиотеке и принимался каталогизировать. Сидя за своим столом, он кидал взгляд Медузы на всякого посетителя, боясь, что тот приходит за книгой. Этим взглядом он хотел бы обратить в камень не только юристов, политиков и прелатов, которые пользовались знакомством с владельцем, чтобы попросить какую-нибудь нужную им книгу, но также Гаэтана, покровителя библиотеки, заходившего поискать какой-нибудь легкомысленной или безбожной старинки на случай дожидливых дней в деревне, и мадам д'Эспарвье, приходившую за книжкой для больных в ее госпитале, и даже самого Ренэ д'Эспарвье, который, впрочем, довольствовался Гражданским Кодексом и Даллозом. Тот, кто уносил с собой ничтожнейшую книжку, уносил с собой частицу его души. Чтобы отказать в выдаче книг даже тем, кто всего более имел на это право, Сарьет придумывал тысячи ловких или неловких предлогов и не боялся клеветать на себя, не боялся ставить под сомнение свою бдительность, заявляя, что затеряна где-то или вовсе пропала книга, которую он только что разглядывал с восхищением и прижимал к сердцу. Когда же, наконец, выдать книгу было неизбежно, он успевал раз двадцать вырвать ее из рук посетителя прежде, чем расстаться с ней окончательно.

Он беспрестанно дрожал, что какое-нибудь из доверенных ему произведений может пропасть. Хранитель трехсот шестидесяти тысяч томов, он имел триста шестьдесят тысяч всегда готовых поводов к беспокойству. Иной раз он просыпался ночью, обливаясь холодным потом, испуская вопли отчаяния, потому что ему приснилось пустое место на полке библиотечного шкала.

Ему представлялось чудовищным, незаконным, ужасным, когда кто-нибудь брал книгу с ее настоящего места. Его благородная скарденность возмущала Ренэ д'Эс-

парвые, не замечавшего добродетелей своего образцового библиотекаря и называвшего его старым маниаком. Сарьет не знал об этой несправедливости. Но он презрел бы самые жестокие притеснения, претерпел бы все гонения и обиды, чтобы только сохранить в целости вверенное ему достояние. Благодаря его упорству, его неусыпности, его усердию, благодаря, одним словом, его любви, библиотека д'Эспарвье не утратила ни единой страницы за все время его заведывания, за все шестнадцать лет, которые окончились 9-го сентября 1912 года.

Глава третья,

• где мы входим в таинственное.

Вечером этого дня, в семь часов, разместив, как всегда, на полках все книги, которые были сняты с них, и уверившись, что все находится в должном порядке, Сарьет вышел из библиотеки и запер дверь ключом на два оборота.

Он пообедал по своей привычке в кофейне «Quatre Evêques», прочитал номер «La Croix» и возвратился в десять часов в свою маленькую квартирку на улице Регар. Этот простой человек не знал волнений и предчувствий; его сон был широк.

На другое утро, входя ровно в семь часов в прихожую библиотеки, он снял по ежедневному обычаю новый сюртук и надел старый, висевший в чуланчике над умывальником. Затем он прошел в свой рабочий кабинет, где вот уже шестнадцать лет, шесть дней в неделю, он каталогизировал пред вдохновенным взором Александра д'Эспарвье и, собираясь обойти зал, вошел в первый из них, самый большой, где содержались Теология и Религия в огромных шкапах, украшенных по карнизам гипсовыми бронзированными бюстами поэтов и ораторов древности. Два огромных глобуса, изображавшие небесную и земную сферы, заполняли углубления окон. Но на первом же сделанном шаге Сарьет остановился, как вкопанный, веря и не веря своим глазам. На синем сукне

стола были беспорядочно навалены книги, одни боком, другие корешком кверху. In-quarto лежали друг на друге колеблющейся стопкой. Два греческих лексикона вошли один в другой, образуя единое существо, более чудовищное, чем человеческие кары божественного Платона. Одно in-folio с золотым обрезом приоткрылось, позволяя видеть безбожно смятые и согнутые три страницы.

Выйдя через несколько мгновений из глубокого оцепенения, библиотекарь подошел к столу и узнал в этой хаотической груде свои драгоценнейшие древне-еврейские, греческие и латинские библии, единственный в своем роде талмуд, печатные и рукописные раввинистические трактаты, арамейские и самарейские тексты, синопсисы, апокрифы, одним словом, редчайшие памятники Израиля, и все это кое-как сваленное, брошенное, распластанное.

Сариет оказался лицом к лицу с чем-то, совершенно необъяснимым, но он все же сделал попытку найти объяснение. С какой радостью ухватился бы он за мысль, что Газтан д'Эспарвье, не имевший никаких принципов и пользовавшийся своими прискорбными щедротами по отношению к библиотеке для того, чтобы забирать из нее книги целыми связками во время наездов в Париж, был причиной этого ужасающего беспорядка. Но Газтан путешествовал тогда по Италии. После нескольких минут размышления Сариет предположил, что поздно вечером сам Ренэ д'Эспарвье взял ключи у слуги Инполита, который вот уже двадцать пять лет убирал комнаты второго этажа и чердак. Ренэ д'Эспарвье, правда, не работал по ночам и не знал древне-еврейского языка, но, быть может, думалось Сариету, он привел или допустил в залу какого-нибудь ученого монаха из перусалимского ордена, находящегося проездом в Париже, какого-нибудь ориенталиста, занимающегося священным экзегезом. Сариет подумал, что аббат Патуйль, отличавшийся некоторой интеллектуальной любознательностью и привычкой загнать углы в книгах, мог устремиться на все эти библейские и талмудические тексты, опьяненный внезапным пылом раскрыть душу семита.

Он готов был подумать одно мгновение, что сам старый слуга Ипполит, сметающий уже четверть столетия ученую пыль библиотеки, в конце концов, оказался настолько отравленным ею, что в ту ночь, при свете луны, портил свои глаза, свой рассудок и душу, стараясь разгадать все эти непонятные знаки и буквы. Сарьет дошел даже до предположения, что молодой Морис, возвратившись из клуба или с собрания националистической молодежи, побросал с полки и нагромоздил кучей все эти еврейские книги из ненависти к древнему Иакову и его современному потомству, ибо этот сын достойных родителей считал себя антисемитом и водил знакомство с евреями, только такими же антисемитами, как он сам. То была гипотеза, пожалуй, уж слишком мало достоверная, но мысль Сарьета не могла успокоиться и блуждала среди самых невероятных предположений. Жажда зная истину, верный хранитель книг позвал слугу.

Ипполит не знал ничего. Швейцар, допрошенный в свою очередь, не мог дать никаких указаний. Никто из слуг не слышал ночью ничего подозрительного. Сарьет спустился в кабинет Ренэ д'Эспарвье, который принял его в халате и в ночной шапочке, выслушал его рассказ с видом серьезного человека, которому мешают по пустякам, и отпустил его со словами, в которых слышалось убийственное сострадание.

— Не терзайтесь так, мой добрый господин Сарьет, будьте уверены, что книги эти находятся сегодня утром именно там, где вы оставили их вчера вечером.

Сарьет двадцать раз начинал сначала свой опрос прислуги, не добился ничего и расстроился до того, что не мог спать. На другой день в семь часов он вошел в зал Бюстов и Сфер, нашел все в полном порядке и облегченно вздохнул. Вдруг его сердце забилося отчаянно: он только что заметил на камине томик *in-octavo* без переплета, современную книгу с вложенным в нее деревянным ножом для разрезания страниц. То была диссертация о двух сопоставленных версиях Исхода—книга, отправленная на чердак Сарьетом и никогда оттуда не выходившая, потому что среди окружающих Ренэ д'Эспарвье не было никого, кто интересовался бы долей

монотеистических и политеистических воззрений в создании первой из священных книг. На томике стояло обозначение R «3214 VIII/2». И вдруг горькая истина осенила Сариета, что и самая ученая нумерация не поможет найти книгу, которой уже нет на своем месте.

Все последующие дни, в продолжение целого месяца, стол оказывался завален книгами. Греческие и латинские авторы перемешивались на нем с древне-еврейскими сочинениями. Сариет не раз задавал себе вопрос, не были ли эти ночные пертурбации делом рук злоумышленников, которые проникли сквозь чердак с целью покражи редких и ценных изданий. Но он не мог обнаружить ни малейших следов взлома и, несмотря на тщательнейшие поиски, не заметил какой-либо пропажи. Страшная тревога овладела им, и он уже стал спрашивать себя, не могла ли какая-нибудь обезьяна, проживавшая по соседству, спустаться с крыши по каминной трубе в библиотеку и там передразнивать научные занятия. Обезьяны, думал он, ловки в изображении человеческих действий. Зная привычки этих животных преимущественно по картинам Ватто и Шардена, Сариет воображал их похожими в умении подражать жесту или подделывать внешность на Арлекинов, Скарамушей, Церлин и Докторов Итальянской комедии. Они представлялись ему то с палитрой и кистью в руке, то толкующими в ступе различные снадобья, то перелистывающими у «атанора» старинные трактаты по алхимии. В одно злосчастное утро, увидя большое чернильное пятно на странице третьего тома Библии с параллельным текстом на многих языках, переплетенной в голубой сафьян с гербом графа Мирабо,—он перестал сомневаться, что именно обезьяна была виновницей этого злодеяния. Она пыталась, конечно, сделать вид, что пишет и опрокинула чернильницу. Она, наверно, жила в доме какого-нибудь ученого.

Проникнутый этой идеей, Сариет старательно изучил топографию квартала, чтобы выяснить окончательно группу домов, среди которой возвышался дворец д'Эспарвье. Затем он прошел по всем четырем улицам, окаймлявшим ее, спрашивая в каждом под'езде, нет ли в доме обезьяны. Он задавал этот вопрос швейцарам и

их женам, прачкам, горничным, газетчикам, фруктовщице, башмачнику, стекольщику, священнику, переплетчику, двум полицейским и детям, и он познал многообразие характеров и разнообразие настроений в одном и том же народе, ибо ответы, которые он получил, были несколько не похожи между собой. Он слышал и грубые ответы, и вежливые, сердитые и ласковые, простые и иронические, пространные и краткие, и даже немые. Но о животном, которого он искал, все не было ни слуха, ни духа, когда, наконец, под сводом старого дома на улице Сервандони рыженькая девочка в веснушках, сторожившая комнату привратника, ответила.

— Есть у нас обезьяна господина Ордонно... Не хотите ли ее посмотреть?

И без дальних слов она повела старика вглубь двора в сарай. Там на теплой соломе и лохмотьях одеяла стучала зубами от холода, охваченная цепью поперек туловища, молодая макака. Она была ростом с пятилетнего ребенка. Ее свинцовое лицо, ее лоб в морщинах, ее тонкие губы выражали смертельную печаль. Она подняла на посетителя еще быстрый взгляд своих желтых глаз. Потом маленькой сухой рукой схватила морковку, поднесла ее ко рту и сейчас же опять отбросила. Поглядев одно мгновение на вошедших, пленница отвернула от них голову, как будто ничего уже более не ожидала ни от людей, ни от жизни. Скорчившись и охватив колено рукой, она не шевелилась, но время от времени сухой кашель сотрясал ее грудь.

— Это Эдгар,—сказала девочка.—Вы знаете, он продается.

Но старый любовник книг, еще недавно, вооружившись гневом и возмущением, выступивший на поиски насмешливого и чудовищно коварного врага, антибиблиофила, теперь стоял в удивлении, грустный и удрученный перед маленьким существом без силы, без радости, без желаний. Признав свою ошибку, смущенный этим почти человеческим лицом, очеловеченным еще более печалью и страданиями, он произнес:

— Виноват!—и наклонил голову.

Глава четвертая,

в своей внушительной краткости отбрасывающая нас к пределам осязаемого мира.

Протекло два месяца; библиотечные пертурбации не прекращались, и Сарьет стал подозревать франкмасонов. Газеты, которые он читал, были наполнены их преступлениями. Аббат Патуйль считал их способными на самые черные низости и верил, что они замышляют в сговоре с евреями полное разрушение христианского общества.

Достигнув в это время вершины могущества, они господствовали во всех государственных учреждениях, командовали обеими палатами, насчитывали пятеро своих в министерстве, захватили в свои руки Елисейский дворец. Это они убили некогда президента Республики за его патриотизм и потом скрыли участников и свидетелей отвратительного преступления. Не проходило нескольких дней, чтобы Париж не слышал с содроганием о каком-нибудь таинственном убийстве, подстроенном в их Ложах. И все это были факты, не подлежащие никаким сомнениям. Как проникали они в библиотеку? Сарьет ломал над этим голову. Что им здесь было нужно? Зачем взялись они за христианские древности и начало Церкви? Какие ющунственные цели преследовали они? Густой мрак покрывал их ужасные дела. Правовой архивист заболел от тревоги, чувствуя себя под надзором сынов Хирама.

Едва оправившись, он решил провести ночь в том самом месте, где совершались столь необычайные дела, и захватить с поличным страшных и неуловимых посетителей. Такое предприятие было большим испытанием для его нечрезмерного мужества.

Слабый телом и беспокойный умом, Сарьет был естественно подвержен страху. 8-го января, в девять часов вечера, в то время как город засыпал под снежной метелью, он затопил жарко камин в зале, украшенном бюстами древних поэтов и философов, и устроился в кресле перед

огнем, покрыв колени пледом. На столике перед ним, помещалась лампа, стоял кофейник с черным кофе и лежал револьвер, взятый у молодого Мориса. Сарьет попробовал читать «La Croix», но строчки прыгали у него перед глазами. Тогда он стал глядеть прямо перед собой, не видя ничего, кроме мрака, и не слыша ничего, кроме ветра, и так заснул.

Когда он проснулся, огонь в камине погас. Потухнувшая лампа распространяла едкий запах копоти. Мрак вокруг него был полон каких-то молочно-белых светов и фосфорических вспышек. Ему почудилось движение на рабочем столе. Ужас и холод проникли все его существо до мозга костей, но поддерживаемый решимостью более сильной, чем страх, он поднялся, подошел к столу и провел по сукну руками. Он не видел ни зги; но рукой он нащупал широко раскрытый том *in-folio*. Он попытался закрыть его, книга оказала ему сопротивление, потом вдруг подпрыгнула и трижды ударила по голове неосторожного библиотекаря. Сарьет упал, лишившись чувств...

С этого дня дело пошло все хуже и хуже. Все большее число книг покидало назначенные им полки, и подчас их уже было невозможно водворить на место: они исчезали. Каждый день приносил новые утраты. Болландисты были разрознены, тридцати томов экзегеза не доставало. Сарьет сделался неузнаваем, голова его стала маленькой, как кулачек, и лицо желтым, как лимон; его шея вытянулась, его плечи опустились; платье, которое он носил, висело на нем, как на вешалке. Он ничего не ел, и в кофейне «Quatre Evêques», опустив голову, он смотрел тупым, не видящим взором в тарелку, где в мутном соку купался перед ним его чернослив. Он даже не слышал, как папа Гинардон возвестил ему, что, наконец, приступает к реставрации росписей Делакруа в Сен-Сюльпис.

Рене д'Эспарвье на тревожные доклады своего несчастного хранителя отвечал сухо:

— Все эти книги затерялись где-нибудь здесь же, они и не думали пропадать. Ищите, господин Сарьет, ищите получше, и вы их найдете.

И за спиной старика он говорил тихонько:

— Этот бедный Сарьет плохо кончит.

— Я полагаю,—добавлял аббат Патуйль,—что у него голова не в порядке.

Глава пятая,

где капелла ангелов в Сен-Сюльпис дает пищу для размышлений об искусстве и о теологии.

Капелла Святых Ангелов, что по правую руку от входа в Сен-Сюльпис, скрывалась за дощатой перегородкой. Аббат Патуйль, Газтан д'Эспарвье, Морис, его племянник, и Сарьет проникли туда один за другим сквозь маленькую дверку, проделанную в перегородке, и застали Гинардона на верхушке лестницы, приставленной к «Илдиодору». Старый живописец, вооружась всевозможными ингредиентами и орудиями, вводил беловатую замазку в трещину, которая разделила на две части первосвященника Онию. Зефирина, любимая некогда натурщика Поля Бодри, Зефирина, наделавшая своими светлыми волосами и перламутровыми плечами столько Магдалин, столько Маргарит, столько сильфид и ундин; Зефирина, которую, как говорили, любил сам император Наполеон III, стояла теперь у подножия лестницы с растрепанной седой головой, с землистым лицом, с выплывшими глазами, с волосами на торчащем подбородке, еще более старая на вид, чем папа Гинардон, с которым она делила жизнь более пятидесяти лет. Она принесла в узелке завтрак живописца.

Хотя из окна, разделенного свинцовыми кружочками и заделанного решеткой, падал только холодный и косой свет, краски Делакруа ярко горели, и написанное тело людей и ангелов соперничало по живости с красной физиономией папы Гинардона. Эти стенные росписи капеллы Ангелов, над которыми так омеялись и которые так бранили при их появлении, вошли теперь в классическую традицию и соединились в бессмертии с произведениями Губенса и Тициана.

Старый Гинардон, бородатый и лысый, казался оли-

цетворением времени, стирающего работу Гения. Газтан испуганно крикнул ему:

— Осторожнее, господин Гинардон, осторожнее! Скребите не слишком энергично!

Живописец успокоил его.

— Не бойтесь, господин д'Эспарвье. Я не пишу в этой манере. Мое искусство разрядом выше. Я пишу, как Чимабуэ, как Джотто, как Беато-Анджелико, я не пишу, как Делакруа. В этих вещах слишком много пестроты и контрастов для того, чтобы могло остаться подлинное впечатление святости. Правда, Шеновар говаривал, что христианство любит живописность, но Шеновар был неверующий и безбожник... Взгляните, господин д'Эспарвье: я заполню вот эту трещину, я подклею отставшие кусочки краски. Вот и готово... Смещения, вызванные осадкой стены, или, что еще вероятнее, толчком слабого землетрясения, ограничиваются лишь малой площадью. Эта живопись на масле и на воске, положенная насухо, оказалась прочнее, чем можно было бы думать. Я помню, как работал здесь сам Делакруа. Неистовый и нервный, он писал лихорадочно, стирал, вновь переписывал без конца; его могучая рука совершала иногда детские неловкости; все это написано с уверенностью гения и с неопытностью начинающего. Здесь все держится каким-то чудом.

Старик замолчал и принялся замазывать трещину.

— Как традиционна и классична эта композиция! — сказал Газтан. — Когда-то в ней видели необыкновенное новшество. Теперь мы узнаем здесь множество старых итальянских формул.

— Я могу позволить себе роскошь быть справедливым, у меня для этого достаточно средств, — отозвался живописец со своей высокой лестницы. — Делакруа жил во времена нечестия и хулы на Бога. Живописец упадка, он не был лишен ни величия, ни достоинства. Он был лучше своей эпохи. Но ему не доставало веры, простоты сердца и чистоты. Чтобы видеть и писать ангелов, у него не было того качества ангелов и примитивов, той высшей добродетели, которой с Божьей помощью держусь я, — целомудрия.

— Пожалуйста, перестань, Мишель, и ты такая же свинья, как и все прочие!

Так вскричала Зефирина, снедаемая ревностью, потому что она видела в то самое утро, как ее старый друг сердца обвинял на лестнице дочку разносчицы, молоденькую Октавию, оборванную и ослепительную, как Рембрандовская невеста. У страстно влюбленной в своего Мишеля Зефирины, в его давно прошедшие прекрасные дни, любовь еще не вовсе угасла в сердце.

Гинардон принял эту лестную брань со скрытой улыбкой, воздев глаза к небу, где архангел Михаил, страшный в своей голубой кирасе и в своем алом шлеме, возносился в сиянии славы.

Тем временем аббат Патуйль, заслонив шляпой глаза от резкого света из окна, рассматривал последовательно Илиодора, бичуемого ангелами, святого Михаила, торжествующего над демонами, и борьбу Иакова с ангелом.

— Все это действительно хорошо,—бормотал он,—но почему живописец изобразил здесь только ангелов в борьбе и в гневе? Сколько я ни смотрю кругом, я вижу только посланцев небесного гнева, только исполнителей божественного правосудия. Надо бояться Бога, но надо его и любить. На этих стенах хотелось бы видеть и вестников мира и прощения. Хотелось бы видеть здесь Серафима, который очистил уста пророка; Рафаила, который вернул зрение старому Товию; Гавриила, который возвестил Марии Воплощение; тайну ангела, который освободил святого Петра из оков; херувимов, отнесших тело сзвотой Катерины на вершину Синая. Особенно хотелось бы здесь видеть тех небесных хранителей, которых Господь посылает всем крещеным во имя Его. У каждого из нас есть ангел хранитель, который следует за нами во всем, нас утешает, нас поддерживает. Как было бы приятно любоваться в капелле этими дивно-прекрасными небесными духами.

— Э, господин аббат,—отозвался Газтан,—приходится примиряться с тем, что есть. Делакруа был сам не из кротких. Старый Энгр не даром говаривал, что от живописи этого великого мастера пахнет серой. Взгляните на этих ангелов, таких сияющих красотой и таких печаль-

ных, на этих грозных и гордых андрогинов, на этих жестокых юношей, которые подняли бичи над головой Илиодора, на этого таинственного борца, охватившего старого патриарха...

— Тихе, тихе,—прошептал аббат Патуйль.—По Библии это не ангел, как прочие ангелы; если же это ангел, то Ангел-Создатель Предвечный Сын Бога. Я удивляюсь, как почтенный настоятель Сен-Сюльпис, доверивший Эжену Делакура роспись капеллы, не предупредил его, что символическое борение патриарха с Тем, Кто не назвал своего имени, происходило глубокой ночью, и что изображение его не совсем здесь уместно, раз оно знаменует Воплощение Иисуса Христа. Лучшие живописцы могут заблуждаться, не получая от авторитетных духовных лиц указаний по христианской иконографии. Установление христианского искусства составляет предмет многочисленных исследований; которые вам без сомнения известны, господин Сариет.

Сариет вращал ничего не видящими глазами. То было третье утро после ночного приключения в библиотеке. Спрошенный почтенным аббатом, он все же собрался с мыслями и ответил:

— По этому вопросу полезно познакомиться с Моланом, «*De historia sacrarum imaginum et picturarum*», издание Нозль Пако, Лувен, 1771, или просмотреть «*Pictura Sacra*», кардинала Борромео, или иконографию Дидрона; но к этому последнему труду следует прибегать с осторожностью.

Сказав это, Сариет вновь погрузился в молчание. Он думал о своей перепутанной библиотеке.

— Если же надлежало в этой капелле изобразить пример святого ангельского гнева,—продолжал аббат Патуйль,—то, напротив, живописец заслуживает похвалы, что написал здесь, по примеру Рафаэля, посланцев неба, карающих Илиодора. Посланный Селевком, царем Сирии, похитить сокровища, заключавшиеся в Храме, Илиодор был повергнут наземь ангелом в золотой кирасе, сидевшим верхом на великолепно разубранной лошади. Два других ангела избили его батогами. Он упал, как это

изображает здесь Делакура, и был поглощен тьмой. Разумно и полезно, что этот эпизод служит здесь примером для комиссаров республиканской полиции и святотатственных фискальных чиновников. Илиодоры всегда найдутся, но пусть они знают, что, как только они посягнут на достояние Церкви, являющееся достоянием бедных, их постигнут бичи ангелов и мрак ослепления. Следовало бы, чтобы эта картина или, еще лучше, более совершенная композиция Рафаэля на ту же тему, были отпечатаны в красках для раздачи в школах.

— Дядя, — сказал, зевая, молодой Морис, — по моему убийственно скучны все эти машины. Я предпочитаю Матисса или Метценже.

Слова эти мало кто слышал, и папа Гинардон на своей лестнице продолжал вещать.

— Одним только примитивам было приоткрыто небо. Прекрасное в искусстве встречается лишь между XIII и XV веком. Античность, нечестивая античность, которая возобладала в своем разлагающем влиянии с XVI столетия, внушала поэтам и живописцам преступные мысли, нескромные образы, чудовищную грязь, свинство. Все художники Возрождения были скотами, не исключая и Микеланджело.

Затем, видя, что Газтан собирается уходить, папа Гинардон переменял тон и шепнул ему незаметно для других:

— Если вы не боитесь пяти этажей, загляните ко мне в берлогу. У меня есть две или три картинки, с которыми надо разделаться и которые, пожалуй, вас заинтересуют. О, как это славно, крепко и весело написано. Я покажу вам среди всякой всячины одного маленького Бодуэна, такого аппетитного, что прямо слюнки потекут.

После этих слов Гинардон, Газтан вышел из церкви; спускаясь по ступеням, заворачивая в улицу Принцессы, он увидал рядом с собой Сарриета и начал ему изливать, как же, как изливал бы он первому встречному, дереву, фонарному столбу, собаке или собственной тени, все негодование по поводу эстетических теорий старого живописца.

— Пусть он толкует там, этот папа Гинардон, о своем христианском искусстве и о своих примитивах. Все, что художник видит в Небе, все это взято с земли—Бог, Дева, ангелы, святые и святые, свет, облака. Когда старый Энгр исполнял фигуры для витражей в капелле Дрё, он сделал рисунок карандашиком, чистейшую и тончайшую женскую натуру, который теперь в ряду многих других находится в музее Вонна в Байонне. И Энгр написал внизу рисунка, боясь забыть: «Мадемуазель Сесиль; изумительные ноги и бедра». Чтобы сделать из этой мадемуазель Сесиль райскую святую, он надел на нее платье и покрывало, и тем погубил ее, потому что никакие лионские шелка и генуэзские бархаты не сравнятся с живой, свежей и окрашенной розовой кровью тканью, потому что самые роскошные драпировки презренны рядом с линиями прекрасного тела и потому, наконец, что для этого тела всякая одежда есть позорное и незаслуженное оскорбление.

И Газтан, шатаая рассеянню по замерзшему стоку воды на улице Гарансьер, продолжал:

— Этот папа Гинардон зловредный идиот. Он клеветает на античность, на святую античность, когда боги и люди были добры. Он восхваляет эпоху, когда и живописец, и скульптор всему разучились. В действительности, христианство было глубоко враждебно искусству, потому что оно не поощряло изучение наготы. Искусство же—это передача природы, а природа—это человеческое тело, это нагота.

— Позвольте, позвольте,—забормотал Сарриет.—Ведь есть же красота духовная и, можно сказать, внутренняя, которую христианское искусство от Фра Анджелико до Инголита Фландрена...

Но уже ничего не слыша, Газтан кидал неистовые слова камням старинной улицы и снеговым облакам, которые ползли над его головой.

— О примитивах нельзя говорить обо всех сразу, потому что они совсем не похожи друг на друга. Этот старый глупец перепутал все. Чиабуз—испорченный византиец. В Джотто виден могучий талант, но он не умеет

писать и, как ребенок, наделяет одной и той же головой всех своих персонажей. Итальянские примитивы прелестны и радостны только оттого, что это итальянцы. У венецианских примитивов было даже понимание краски. Но, в конце концов, эти отличные мастера больше раскрашивали и золотили, чем действительно писали. У вашего Беато Анджелико положительно слишком нежное сердце и слишком сладкая палитра на мой вкус. Что до фламандцев, то эти господа как раз ему под пару. У некоторых из них хорошая рука, и блеском техники они могут сравниться с мастерами китайских лаков. В особенности изумительна техника братьев Ван-Дэйков. И все же я никак не мог найти в «Поклонении Агнцу» той красоты и той тайны, которую там видят другие. Все исполнено с непререкаемым совершенством и все вульгарно по чувству и страшно уродливо. Мемлинг, может быть, трогателен, но он производит на свет только худосочных и кособоких существ; под тяжелыми, богатыми и некрасивыми платьями его женщин угадываешь убогие тела. Я не из тех, кто ждал, когда Рожер ван-дер-Вейден превратится в француза и станет Роже де-ла-Пастюр, чтобы обьявить его выше Мемлинга. Этот Рожер или Роже, действительно, менее наивен, но зато он мрачен, и твердость его контуров изобличает лишь скудость его форм. Какое страшное искажение любоваться этими постными фигурами, когда на свете есть живопись Леонардо, Тициана, Корреджио, Веласкеса, Рубенса, Рембрандта, Пуссена и Приудона. Положительно это какой-то садизм...

Тем временем позади эстета и библиотекаря медленно шествовали аббат Патуйль и Морис д'Эспарвье. Аббат Патуйль, не слишком любивший обыкновенно говорить на теологические темы с мирянами и даже с духовными лицами, на сей раз, увлеченный прелестью сюжета, изображал перед Морисом святую деятельность ангелов хранителей, которых Делакруа, к несчастью, обошел в своих росписях. И чтобы лучше высказаться о столь возвышенном предмете, аббат Патуйль заимствовал у Босские обороты, выражения, целые фразы, которые привык заучивать наизусть для своих проповедей, ибо был крайне предан традиции.

— Да, дитя мое,—говорил он,—да, Бог поставил подле нас духов-хранителей. Они являются к нам отягченные дарами неба и возвращаются обремененные нашими молитвами. В этом их назначение. Ежечасно, ежеминутно они готовы придти к нам на помощь, стражи вечно усердные и неутомимые, вечно бодрствующие.

— Совершенно верно, господин аббат,—бормотал Морис, обдумывая уловку, чтобы растрогать мать и выпросить у нее известную сумму денег, в которой крайне нуждался.

Глава шестая,

где Сарнет находит свои сокровища.

На следующее утро Сарнет ворвался без предварительного стука в кабинет Ренэ д'Эспарвье, вздымая руки к небу; редкие волосы поднялись дыбом на его голове. Глаза его были расширены ужасом. Путаясь, он сообщил о случившемся: древнейший манускрипт Иосифа Флавия, шестьдесят томов различного формата, в том числе бесцепный брильянт, Лукреций с гербом великого приора Франции, Филиппа Вандома, и с собственноручными заметками на полях Вольтера, равно как одна рукопись Ришара Сомона и вся переписка Гассенди с Габриелем Ноде, содержащая двести тридцать восемь неизданных писем—все это исчезло бесследно. На сей раз собственник библиотеки обеспокоился. Он поспешно поднялся в зал Сфер и Философов и там собственными глазами констатировал размеры потери. На многих полках зияли пустые места. Он принялся искать, где попало, тщетно открывая чуланы, вытаскивая оттуда щетки, тряпки, огнетушители, переворачивая кочергой кокс в камине, перетряхивая новенький сюртук Сарнета, повешенный в умывальнике; обескураженный, он еще раз поглядел на пустое место, оставшееся от писем Гассенди. Весь образованный мир вот уже полвека взывал об издании этих писем. Ренэ д'Эспарвье не отвечал на этот всемирный призыв, не соглашаясь ни взять на себя эту обязанность,

ни передать ее другому. Найдя в переписке много смелых мыслей и много таких вольностей, которых не могло перенести благочестие XX века, он предпочел оставить ее ненапечатанной, но сознавал ответственность за хранимое перед своей родиной и всем человечеством.

— Как могли вы допустить пропажу такого сокровища?—спросил он строго у Сариета.

— Как мог я допустить пропажу такого сокровища!—вскричал несчастный библиотекарь.—Если бы вы вскрыли мою грудь, то нашли бы этот вопрос выгравированным в моем сердце.—Нисколько не смягчившись от столь сильно выраженного уверения, Ренэ д'Эспарвье продолжал со сдерживаемым гневом:

— И вы не напали ни на малейший след похитителя, господин Сарьет? У вас нет никаких подозрений и никаких догадок о том, как это могло случиться. Вы ничего не видели, ничего не слышали, ничего не знали, ничего не заметили? Согласитесь, что это непостижимо. Подумайте, господин Сарьет, подумайте же о возможных последствиях неслыханного хищения, совершенного на ваших глазах. Пропал бесценный документ в истории человеческой мысли. Кто похитил его? Зачем? Для чего? Похитители без сомнения знают отлично, что им не удастся сплавить переписку Гассенди во Франции. Они продадут ее в Америку, в Германию. Германия с жадностью собирает подобные документы. Если переписка попадет в Берлин, и ее издадут немецкие ученые, какой удар, какой скандал, скажу я даже. Господин Сарьет, подумали ли вы об этом?

Под градом упреков, тем более ужасных, что он уже делал их себе сам, Сарьет стоял, как вкопанный, и хранил молчание.

Ренэ д'Эспарвье продолжал:

— И вы ничего не делаете, ничего не предпринимаете, чтобы вернуть эти бесценные вещи? Ищите же, старайтесь, шевелитесь же, наконец, господин Сарьет. Право, есть ради чего потрудиться.

И Ренэ д'Эспарвье удалился, кинув ледяной взгляд на библиотекаря.

Сариет долго искал пропавшие книги и рукописи во всех местах, где он искал их уже сотни раз и где их никак не могло быть; он ворошил даже ведро с углем и поднимал кожаное сидение у своего кресла. В полдень он машинально спулся из библиотеки. На площадке лестницы он встретил своего бывшего питомца Мориса и обменялся с ним поклоном. Но людей и вселенную он видел лишь сквозь какое-то облако.

Безутешный архивист был уже в передней, когда Морис окликнул его.

— Господин Сариет, покуда я не позабыл, заберите же от меня ваш старый хлам, которым завален весь мой павильон.

— Какой старый хлам, Морис?

— Не умею вам сказать. Там есть что-то по древнееврейски и потом целая куча старых рукописей. Они мне мешают. У меня негде повернуться в первой от входа комнате.

— Кто вам это принес?

— Чорт его знает.

И молодой человек быстро вошел в столовую, где уже был накрыт завтрак.

Сариет бросился в павильон. Морис сказал правду. Сотни книг валялись там на столах, на стульях, на полу. При виде этого, переполнившись страхом и радостью, удивлением и тревогой, счастливой находкой потерянного сокровища и боящийся вновь утратить его, книжный человек то принимался лепетать, как младенец, то испускал глухие крики, как сумасшедший. Он узнал свои еврейские библии, свои талмуды, свой стариннейший манускрипт Иосифа Флавия, свои письма Гассенди к Габриэлю Ноде и свой драгоценнейший алмаз, своего Лукреция с гербом Вандома и с собственноручными заметками Вольтера. Он смеялся и плакал и целовал цергамент, телячью кожу, сафьян, шагрень и убитое щипками гвоздей дерево переплетов. По мере того, как Ипполит, слуга господина д'Эспарвье, перенесил книги, связку за связкой, в библиотеку, Сариет, дрожащей от волнения рукой, благочестиво и бережно ставил их по местам.

Глава седьмая,

интереса довольно живого и морали, которую, я полагаю, весьма оценит большинство моих читателей, ибо она выражается страдальческим возгласом: «Куда ты меня завела, о, мысль!» и той всеми признанной истиной, что думать вредно, и что истинная мудрость—не думать вовсе.

Все книги вновь соединились под благочестивой рукой Сарриета. Но это счастливое стечение длилось всего лишь минуту. В следующую же ночь двадцать томов покинули свои места, и среди них знаменитый Лукреций. В одну неделю древние еврейские и греческие тексты Ветхого и Нового Завета все вновь очутились в павильоне. И в продолжение следующего месяца каждую ночь, покидая свои полки, они таинственным образом отправлялись той же дорогой. Другие исчезали неизвестно куда.

Услышав об этих темных делах, Ренэ д'Эспарвье сказал только своему библиотекарю крайне сухо:

— Мой бедный господин Сарриет, все это очень странно, право же очень странно.

И когда Сарриет хотел посоветовать подать жалобу или уведомить полицию, Ренэ д'Эспарвье не выдержал:

— Что предлагаете вы мне, господин Сарриет? Разглашать домашние тайны, поднять шум? Но вы, надеюсь, не имеете этого в виду. У меня есть враги, и я горжусь этим, я полагаю, что заслужил их ненависть. Мне досадно лишь, что я встречаю нападки в среде моей же партии от позволяющих себе неслыханные дерзости крайних роялистов, которые, я готов поверить, добрые католики, но очень плохие христиане... Одним словом, за мной следят, сторожат каждый мой шаг, а вы, господин Сарриет, предлагаете выдать на позорище газетчикам какую-то комическую тайну, какое-то дурацкое приключение, какую-то домашнюю историю, в которой мы оба, вы и я, представляем довольно жалкое зрелище. Вы хотите сделать меня посмешищем?

Разговор этот закончился решением переменить все запоры в библиотеке. Вызвали мастеров, придумали различные ухищрения. В течение шести недель дворец д'Эспарвье оглашался с утра до вечера ударами молотков, шипением горелок, скрежетом пил. Огни зажглись в зале Philosophes и Sphère, и запах горячего масла вызывал тошноту у обитателей. Старинные, слабые и мирные замки были заменены в дверях зал и шкафов замками неподатливыми и капризными. То были замки сложного действия, замки с условными буквами, задвижки, решетки, цепи, электрические предупредители. Весь этот арсенал vapors наводил страх. Чтобы открыть каждый зал, каждый шкаф, каждый ящик, надо было знать особый шифр, который был известен только одному Сарриету. Он забивал себе голову странными словами и огромными числами, пока не запутался в квадратах, кубах и логарифмах. Он сам не знал теперь, как открыть дверь зала или шкафа, и все же каждое утро заставлял их широко раскрытыми, а книги из них перепутанными, разбросанными, расхищенными. Полицейский подняв однажды ночью в канаве на улице Сервандони брошюру Соломона Рейнака об идентичности Иисуса и Варравы. Так как на ней стоял штемпель библиотеки д'Эспарвье, то он отнес ее владельцу.

Рене д'Эспарвье, не найдя нужным известить о том Сарриета, решил посоветоваться, наконец, с одним достойным доверия знакомым чиновником магистратуры по следственной части, господином Обель, который провел уже несколько весьма значительных дел. Это был маленький человек, кругленький, очень красный, очень лысый; череп его блестел, как бильярдный шар. Однажды утром он явился в библиотеку, под видом библиофила, но обнаружил тотчас же, что решительно ничего не понимает в книгах. Покамест бюсты всех античных философов отражались кругом на его лысой голове, он задал несколько коварных вопросов Сарриету, который смутился и покраснел. Ибо истинную невинность легче всего смутить. С той поры Обель заподозрил в Сарриете виновника тех хищений, о которых он возвещал с таким ужасом. Оставалось найти только сообщников. Что же касается



мотивов, то об этом Обель мало беспокоился: мотивы всегда оказываются налицо. Он предложил Ренэ д'Эспарвье установить наблюдение за домом с помощью агента из префектуры.

— Я велю вам дать Миньона, — сказал он. — Это отличный работник, внимательный и осторожный.

На следующее утро, уже с шести часов, Миньон прогуливался перед дворцом д'Эспарвье. С головой, ушедшей в плечи, с лицом, всегда повернутым в профиль; с огромными матово-черными усами, с ногами и руками исполинских размеров, этот персонаж, одним словом, вида весьма примечательного, шагал мерно взад и вперед от колонн с баранными головами, украшавшими дворец de la Sordières до конца улицы Гарансьер, к церкви Св. Сюльпиция и к куполу Богородничей часовни. С тех пор никто не мог ни войти к д'Эспарвье, ни выйти оттуда, не чувствуя, что за ним, за всеми его движениями и даже за всеми его мыслями следят. Миньон был изумительным существом, наделенным способностями, в которых природа отказала всем другим людям. Он, например, не ел и не спал: во всякий час дня и ночи, в бурю и в ливень, его можно было застать на посту, и ничто не ускользало от радио-лучей его взглядов. Под этими взглядами все чувствовали себя пронзенными насквозь, вывернутыми наружу, разоблаченными до самых костей, хуже чем голыми, — скелетами. Это было делом минуты, агент даже не останавливался и продолжал свою вечную прогулку. Устоять не было возможности. Морис угрожал, что не вернется более под отчий кров, если его будут так радиографировать. Его сестра Берта и его мать жаловались на эти пронизательные взгляды, которые оскорбляли целомудрие и скромность их души. Мадемуазель Капораль, гувернантка маленького Леона д'Эспарвье, испытывала неопишемую неловкость. Ренэ д'Эспарвье в раздражении не переступал порога собственного дома, не надвинув на глаза шляпы, прикрывавшей его от испытующего взора, и не послав к чорту старого Сарриета, причину и начало всех неприятностей. Друзья и близкие, как аббат Патуйль и дядя Газтан, стали заходить реже, гости прекратили посещения, поставщики перестали доставлять про-

дуктѣ, фургоны больших магазинов боялись останавливаться. Среди прислуги надзор породил особенно серьезные пертурбации. Лакей, боявшийся теперь на глазах полиции отпраляться после полудня к жене сапожника, когда она оставалась одна, нашел службу в доме невыносимой и попросил расчета. Одиль, горничная мадам д'Эспарвье, не смеявшая больше, как это бывало, проводить по ночам в свою комнатку Октава, самого красивого из приказчиков соседней книжной лавки, стала мрачной, сердитой, нервной, дергала за волосы во время причесывания свою барыню, отвечала ей дерзко и делала авансы молодому барину Морису. Кухарка, мадам Мальгуар, женщина солидная, лет пятидесяти, переставшая принимать у себя некоего Огюста из винной торговли на улице Сервандони и неспособная переносить лишение, столь вредное для ее темперамента, совсем одурела от этого, подала на стол сырого кролика и вдруг заявила, что сам папа сватается к ней. Наконец, после двух месяцев сверхчеловеческого постоянства, противного всем доселе известным законам органической жизни и важнейшим условиям экономического существования, агент Миньон, ничего ненормального не обнаруживший, прекратил свой надзор и удалился без единого слова, отклонив всякое вознаграждение. В библиотеке пляска книг продолжалась с тем же успехом.

— Прекрасно,—сказал Обель.—Раз никто не входит и не выходит, то влоумышленник в доме.

Этот следственный чин решил, что обнаружит виновного без помощи обысков и допросов. В условленный день, в полночь, он велел усыпать тальком пол библиотеки, ступени лестницы, вестибюль, аллею, которая вела к павильону Мориса, и первую от входа комнату павильона. На следующее утро Обель, в сопровождении фотографа префектуры, Ренэ д'Эспарвье и Саргета, явился снимать отпечатки следов. В саду не оказалось ничего: ветер сдул за ночь тальк; не нашлось ничего и в павильоне. Морис, думая, по его словам, что имеет дело с чьею-то скверной шуткой, вымел щеткой всю эту белую пыль. На деле же он поспешил вымести отпечатки башмаков горничной Одиль. На лестнице и в самой библиотеке, на

некотором расстоянии один от другого, были замечены очень легкие следы обнаженной ноги, которая как будто скользила в воздухе и только время от времени касалась пола, без всякого на него давления. Таких следов нашлось всего пять. Самый отчетливый из них оказался в зале Бюстов и Сфер, у стола, на котором были набросаны книги. Фотограф префектуры сделал несколько снимков с этого отпечатка.

— Вот что страшнее всего происходившего до сей поры,—пробормотал Сарьет. Обель с трудом скрывал свое удивление.

Три дня спустя антропометрическое бюро префектуры возвратило направленные в него отпечатки с уведомлением, что подобных не значится в его материалах. Ренэ после обеда показал эти фотографии Газтану, который разглядывал их долго и молча, с глубоким вниманием.

— Вполне верно, что у них нет таких в их префектуре,—вскричал он.—Это нога бога или античного атлета. Ступня, оттиснувшая этот след, представляет совершенство, неизвестное нашим расам и нашим климатам. Отпечаток показывает изысканно прекрасные пальцы и божественную пятку.

Ренэ д'Эспарвье назвал брата сумасшедшим.

— Он поэт,—вздохнула мадам д'Эспарвье.

— Дядя,—сказал Морис,—вы, пожалуй, влюбились бы в эту ногу, если бы ее увидели.

— Что и случилось некогда с Деноном, который был вместе с Бонапартом в Египте,—ответил Газтан.

— Денон нашел в Фивах, в гипогее, расхищенном арабами, крохотную ножку мумии дивной красоты. Он любовался ею с необыкновенным пылом. Эта ножка молодой женщины, думал он, принцессы; очаровательного существа, никакая обувь не уродовала ее идеальных форм. Денон восхищался своей находкой, поклонился ей, любил ее. Рисунок этой ножки мумии имеется в атласе путешествия Денона по Египту; мы могли бы без дальних поисков посмотреть его наверху в библиотеке, если бы только у этого старого Сариета можно было вырвать из рук хоть одну книгу.

Иной раз ночью, просыпаясь в постели, Морис как будто слышал шорох страниц, перевортываемых в соседней комнате, и мягкий стук переплетов о паркет.

Однажды утром, возвращаясь из клуба после сплошного невезения в игре, он приостановился у дверей своего павильона, ища в кармане ключи, и услышал явственный голос, который говорил со вздохом:

— Познание, к чему ты меня привело, куда ты меня завела, о, мысль!

Но, проникнув в первую из двух комнат, Морис не увидел там никого и решил, что ему это почудилось.

Глава восьмая,

где говорится о любви, что должно понравиться читателю, ибо повесть без любви, это то же, что сало без горчицы— вещь нелепая.

Морис ничему не удивлялся. Он не стремился познать причину вещей и спокойно жил в мире видимостей. Не отвергая вечной истины, он проводил время, по мере своих желаний, в погоне за суетными призраками.

Менее увлеченный спортом и физическими упражнениями, чем большая часть молодых людей его поколения, он бессознательно поддерживал старую эротическую традицию своей расы. Французы всегда были талантнейшими из людей, и было бы досадно, если бы они утратили это преимущество. Морис сохранял его: он не был влюблен ни в одну женщину, но он любил любить, по выражению святого Августина. Отдав должное неувядаемой красоте и тайным ухищрениям мадам де-ла-Вердельер, он изведal мгновенную нежность одной молодой певицы по имени Люсиола. Теперь без особой радости он испытывал на себе и элементарную испорченность горничной Одиль и слезливое обожание красивой мадам Буатье. И он чувствовал пустоту в сердце. Но вот в одну среду, войдя в гостиную, где его мать принимала дам, по большей части весьма неприступных и непривлекательных, перемешанных с очень старыми и очень молодыми людьми—

ми, он заметил в этом интимном обществе мадам Обель, жену того самого следственного чиновника, которого Ренэ д'Эспарвье столь тщетно привлекал к расследованию таинственных хищений в библиотеке. Она была молода, и он ее нашел красивой не без основания. Жильберта Обель была вылеплена Гением Рода, и никакой иной Гений не принимал участия в этом творении. Оттого в ней все возбуждало желания, и ничто ни во внешности ее, ни в сущности, не вызывало иных чувств.

Мысль, которая движет мирами, заставила и молодого Мориса приблизиться к этому прелестному созданию. Он предложил руку, чтобы вести Жильберту к чайному столу. И когда она взяла чай, он сказал ей:

— Мы с вами могли бы столковаться. Идет?

Он говорил так, согласно новейшим взглядам на приличия, чтобы обойтись без избитых комплиментов и чтобы избавить даму от скучной обязанности слушать все эти старомодные объяснения, всегда такие неясные и неопределенные, не дающие возможности точных и отчетливых ответов. И, воспользовавшись несколькими мгновениями, чтобы поговорить незаметно для других с мадам Обель, он успел сказать ей нечто весьма краткое и настойчивое. Жильберта, насколько можно судить, была сотворена скорее, чтоб возбуждать желания, чем испытывать их. Однако, она отлично знала, что ее предназначение—любить и следовала ему охотно и с удовольствием. Морис ей не нравился особенно. Она предпочитала бы только, чтобы он был сиротой, зная по опыту как обманчива иногда любовь сына почтенных родителей.

— Значит, идет?—сказал он утвердительно.

Она сделала вид, что не понимает, и, держа у рта свою тартинку с паштетом, взглянула на Мориса удивленными глазами.

— Что?—спросила она.

— Вы это отлично знаете.

Мадам Обель опустила глаза, отпила глоток чая и не ответила, ибо ее целомудрие еще не было побеждено.

Тем временем Морис шепнул ей, беря у нее из рук пустую чашку:

— В субботу, в пять; улица Рима, 126, в первом этаже, дверь направо; стучите три раза.

Мадам Обель подняла на сына порядочных родителей спокойные и строгие глаза и уверенным шагом возвратилась в круг добродетельных женщин, где сенатор Ле-Фоль объяснял искусственное высиживание цыплят в земельческой колонии Сен-Жюльенны.

В следующую субботу Морис ждал в своей квартире на улице Рима мадам Обель. Он ждал напрасно. Ничья маленькая ручка не постучала три раза в его дверь. И Морис разразился бранью по адресу отсутствующей, называя ее про себя кобылой и верблюдом. Его обманутое ожидание, его неудовлетворенные желания сделали его несправедливым.

Ибо мадам Обель не заслуживала этих наименований за то, что не пришла туда, куда и не обещала придти. Но мы судим о человеческих поступках лишь по их приятным или неприятным для нас последствиям.

Морис появился в гостиной своей матери только две недели спустя после сцены у чайного столика. Он вошел туда поздно, и мадам Обель находилась уже там целых полчаса. Он поклонился ей холодно, сел вдали от нее и сделал вид, что слушает.

— Достойные друг друга,—говорил мужественный и красивый голос—оба соперника были созданы для того, чтобы сделать исход борьбы неизвестным и страшным. Генерал Боль, с неслыханным упорством, оставался как будто бы вросшим в землю. Генерал Мильпертли, одаренный нечеловеческой подвижностью, совершал с изумительной быстротой ряд движений вокруг своего непоколебимого противника. Сражение продолжалось с ужасным ожесточением. Мы все пребывали в крайней тревоге...

То генерал д'Эспарвье рассказывал про осенние маневры трепещущим дамам. Он говорил красноречиво и умел нравиться. Проведя затем параллель между французской военной методой и немецкой, он определял характеристические черты той и другой, подчеркнул с высокой беспристрастностью преимущества каждой из них, не побоявшись заявить, что обе имеют свои достоинства, и нарисовал даже картину, как Германия берет верх над

Францией, перед глазами удивленных, разочарованных и испуганных дам, лица которых омрачились и удлинились. Но мало-по-малу, по мере того, как генерал более ясно очерчивал две методы, французская вырисовывалась как гибкая, изящная, сильная, полная легкости, тонкого остроумия, веселости, германская же оказывалась грузной, робкой и неловкой. И мало-по-малу лица дам округлялись и освещались радостной улыбкой. Чтобы лучше успокоить этих матерей, супруг, сестер и возлюбленных, генерал доказал им, что мы можем, если только захотим, прибегнуть и к немецкой методе, тогда как французская совершенно недоступна немцам. На чем генерал и был прерван и отведен в сторонку господином Трюк де-Рюффек, основателем патриотического общества «Фехтование для всех», имевшего целью возродить Францию и обеспечить ей превосходство над всеми врагами. Туда записывали младенцев от колыбели, и Трюк де-Рюффек предложил почетное председательство генералу д'Эспарвье.

Между тем Морис делал вид, что прислушивается к очень тихому разговору одной старой дамы с аббатом Лапетит. Старая дама, измученная в последнее время траурами и болезнями, желала узнать, почему так несчастно живет на сем свете, и спрашивала об этом аббата:

— Каким образом об'ясняете вы бедствия, обрушающиеся на человечество? К чему голод, чума, наводнение, землетрясение?

— Надо же, чтобы Господь Бог вспоминал нас время от времени,—отвечал аббат Лапетит с небесной улыбкой.

Морис, казалось, очень заинтересовался этим разговором. Потом его, повидимому, очаровала мадам Филло-Гранден, молодая и довольно хорошенькая женщина, но в простоте и невинности своей лишенная всякой соли, всякой остроты. Одна очень старая дама, резкая и крикливая, выставившая напоказ свое высокомерие христианской финансистки, вскричала скрипучим голосом:

— Итак, добрейшая мадам д'Эспарвье, у вас были таки неприятности: газеты говорили намеками о кражах, совершенных в вашей богатой библиотеке, о похищенных письмах.

— Ах,—сказала мадам д'Эспарвье,—если бы можно было верить всему, что пишут в газетах.

— Но, в конце концов, вы нашли таки ваши сокровища. Все хорошо, что хорошо кончается.

— Библиотека в полном порядке,—подтвердила мадам д'Эспарвье.—В ней все в целости.

— Эта библиотека в следующем этаже, неправда ли? —спросила молодая мадам Обель, выказавшая вдруг неожиданнй интерес к книгам.

Мадам д'Эспарвье ей отвечала, что библиотека занимает весь второй этаж, и что менее ценные книги помещаются на чердаке.

— Можно было бы мне посмотреть библиотеку?

Хозяйка дома заверила, что нет ничего легче. Она позвала сына.

— Морис, покажите библиотеку мадам Обель.

Морис встал и, не говоря ни слова, поднялся во второй этаж вслед за мадам Обель. Он притворялся равнодушным, но в душе торжествовал, ибо не сомневался, что Жильберта выразила желание видеть библиотеку исключительно для того, чтобы поговорить с ним наедине. Изображая безразличие, он был готов возобновить предложения, которые на этот раз не встретили бы отказа.

Под романтическим бюстом Александра д'Эспарвье тень маленького старичка с ввалившимися глазами, со свинцовым лицом, на котором застыло привычное и цокорное выражение испуга, встретила их в молчании.

— Не беспокойтесь, господин Сарнет,—сказал ему Морис,—я только показываю библиотеку мадам Обель.

Морис и мадам Обель прошли в большой зал, где высились по четырем сторонам шкапы полные книг, увенчанные выкрашенными под бронзу бюстами поэтов, философов и ораторов древности. Все покоилось здесь в образцовом порядке, который, казалось, не был никем нарушен со дня основания библиотеки. Лишь на месте, занятом еще вчера неизданной рукописью Ришар Симона, зияла черная дыра. Невдалеке от молодой пары бледный, незаметный, немой бродил бесшумно Сарнет.

Морис обратился к мадам Обель взгляд, исполненный упрека.

— Да! Это было нехорошо с вашей стороны.

Она сделала знак, что библиотекарь может услышать. Но он ее успокоил.

— Не обращайтесь внимания. Это старый Сарьет. Он стал совершенным идиотом.

И он повторил еще раз:

— Да, это было нехорошо. Я вас ждал, ждал, и вы не явились. Вы сделали меня несчастным.

После минуты молчания, в продолжение которой слышалось лишь тихое и печальное пение астмы в бронхах старого Сариета, Морис продолжал с настойчивостью:

— Напрасно.

— Что напрасно?

— Что вы не хотите со мной столковаться.

— Вы еще не забыли, значит?

— Конечно, нет.

— Так это было серьезно?

— Самым серьезным образом.

Тронутая уверениями, данными ей таким образом, в глубине и постоянстве чувства, Жильберта обещала Морису все, в чем она отказала ему две недели назад.

Они проскользнули в углубление окна, укрывшись за огромный небесный глобус, где были выгравированы знаки зодиака и фигуры созвездий, и там, устремив взоры на Льва, Деву и Весы, в присутствии бесчисленных Библий и перед творениями Отцов Церкви, греческих и латинских, перед изображениями Гомера, Эсхила, Софокла, Эврипида, Геродота, Фукидида, Сократа, Платона, Аристотеля, Демосфена, Цидерона, Вергилия, Горация, Сенеки и Эпиктета, они обменялись обетом любви и долгим поцелуем.

После чего немедленно мадам Обель вспомнила, что у нее визиты и что ей надо куда-то мчаться: так как любовь не заставила еще ее позабыть о тщеславии. Не успели они с Морисом выйти на площадку, как вдруг услышали глухие водли и увидели Сариета, который выскочил на лестницу и кричал:

— Остановите, остановите его! Я видел, как он улетел! Он сам снялся с полки... он пролетел комнату... вот он! Вот он! Он спускается по лестнице. Держите его!.. Он вылетел сквозь дверь в сад...

— Да кто?—спросил Морис.

Сариет свесился в окно с площадки и бормотал с ужасом:

— Он летит через сад!.. Он в павильоне... Держите его! Держите!

— Но кого, кого, ради Создателя!—допытывался Морис.

— Это мой Иосиф[†] Флавий,—вскричал Сариет.—Держите его!—И он рухнулся навзничь.

— Вы теперь видите, что он спятил,—говорил Морис мадам Обель, поднимая несчастного библиотекаря.

Жильберта, немного бледная, сказала, что ей тоже показалось в направлении, которое указывал бедняга, будто что-то летит. Морис не увидел ничего, но почувствовал как будто ветер.

Он оставил Сариета попечениям Ипполита и служанки, прибежавших на шум.

Старик пробил себе голову.

— Это хорошо,—сказала служанка.—Рана избавила его, быть может, от кровоизлияния в мозг.

Мадам Обель отдала свой платочек, чтобы унять кровь и посоветовала примочку из арники.

Глава девятая,

откуда явствует, что, как сказал один древний греческий поэт, нет ничего слаще золотой Афродиты.

Хотя он обладал мадам Обель вот уже шесть месяцев, Морис еще любил ее. Правда, с наступлением лета они должны были разлучиться. За неимением денег Морису пришлось сопровождать свою мать в Швейцарию, затем вместе со всей семьей жить в имении. Жильберта провела лето в Ниоре у своей матери, а осень на маленьком пляже в Нормандии вместе с мужем. За все это время им

удалось видаться лишь три или четыре раза. Но с тех пор, как зима, благоприятствующая влюбленным, соединила их снова в городе под своим туманным плащом, Морис два раза в неделю принимал Жильберту в маленькой квартирке на улице Рима—и принимал там только ее. Ни одна женщина не внушала ему чувств столь постоянных и прочных. Его удовольствие увеличивалось тем обстоятельством, что он считал себя любимым. Он полагал, что Жильберта его не обманывала, не потому что у него была какая-либо особая причина так думать, но ему казалось справедливым и естественным для нее довольствоваться им одним. Больше всего его сердило, что она вечно вставляла его ждать и опаздывала на свидания то немного, то порядочно, а иногда и очень много.

Итак, в субботу, 30 января, с четырех часов дня, элегантно одетый в пиджаму с цветочками, Морис ждал мадам Обель в маленькой розовой комнате у яркого огня, куря восточные папиросы. Он мечтал сперва, как встретит ее безумными поцелуями и необыкновенными обаятиями. Четверть часа прошло, и он стал обдумывать ласковые, но серьезные упреки. Затем, после еще целого часа обманутого ожидания, он решил встретить ее жолодным презрением.

Наконец, она явилась свежая, надушенная.

— Нечего было и приходить,—сказал он ей горько, меж тем она клала на стол свою муфту и свой мешочек и снимала вуаль перед зеркальным шкапом.

Она стала уверять своего возлюбленного, что никогда еще не спешила так и не портила себе столько крови от нетерпения; она приводила тысячу оправданей, которые он упрямо отвергал. Но как только она догадалась умолкнуть, он перестал ее упрекать: ничто больше не отвлекало его от желания, которое она вызывала.

Созданная, чтобы нравиться и прельщать, она легко разделась, как женщина, знающая, что ей уместно быть обнаженной и прилично показывать свою красоту. Он предался любви сперва с темной яростью человека, которым повелевает инстинкт, властитель над людьми и богами. При своей хрупкой внешности Жильберта была достаточно сильна, чтобы выдержать приступы, неотврати-

мого божества. Затем он перешел к менее фатальному роду любви, согласному с обычаем Венеры ученой и с законом Эроса утонченного. К его природному пылу прибавились тогда выдумки ухов прихотливых, подобно лозе, обвивающейся вокруг тирса вакханок. Видя, что ей нравится эта игра, он продолжал ее, ибо для любящего естественно стремиться к полному удовлетворению любимого существа. Затем они оба впали в немое и гомное забытие.

Занавеси были опущены; комната была залита горячей тенью, в которой вспыхивали отблески догоравших в камине головешек. Тело и белье, казалось, сияли фосфорическим светом; зеркала шкапа и камина наподнились таинственной прозрачной глубиной. Жильберта, облокотившись на подушку, положив голову на руку, мечтала. Маленький ювелир, человек верный и очень смывленный, показал ей недавно замечательно красивый браслет с жемчугом и сапфирами, который стоил очень дорого и который теперь можно было купить за бесценок. Некая кокетка разделалась с ним в трудную для себя минуту. Это был случай, каких не скоро дождешься, и было бы досадно его упустить.

— Хочешь поглядеть его, милый? Я попрошу моего ювелира дать мне браслет, чтобы тебе показать.

Морис прямо не отклонил предложения. Но было ясно, что он питает весьма мало интереса к замечательному браслету.

— Когда маленьким ювелирам,—сказал он,—представляется выгодный случай, они оставляют его про себя и не дают им воспользоваться своим клиентам. Впрочем, драгоценности сейчас мало идут. Светские женщины их вовсе не носят. Теперь главное спорт, а драгоценности не вяжутся со спортом.

Морис говорил так несогласно с истиной оттого, что, подарив недавно своей подруге меховую шубку, он вовсе не спешил делать ей новый подарок. Не будучи скупым, он все же рассчитывал расходы. Родители давали ему не слишком много денег, и его долги возрастали с каждым днем. Исполняя слишком быстро желания своей подруги, он боялся этим породить в ней другие подобные же. Случай показался ему менее подходящим, чем Жильберте, и

он хотел сохранить за собою инициативу щедрости. Он говорил себе, что если будет делать слишком много подарков, то его, в конце концов, будут любить только за подарки.

Мадам Обель такое отношение к ее желанию не удивило и не раздосадовало: она была в достаточной мере кротка и умеренна. Она знала мужчин и считала, что следует принимать их такими, каковы они есть; она знала, что по большей части они дарят не слишком охотно, и что женщина должна уметь сделать так, чтобы ей дали.

Газовый фонарь, зажегшийся на улице, осветил щели занавесей.

— Подовина седьмого, — сказала она, — надо одеваться.

Подстрекаемый этим напоминанием бегущего времени, Морис почувствовал, как возвращаются силы и пробуждаются желания. Жильберта, белая и сияющая, с запрокинутой головой, с умирающими глазами, с полуоткрытыми губами, выпускала долгий вздох, когда вдруг, быстро выпрямившись, она закричала в ужасе.

— Что это, что это такое?

— Будь же ты спокойна, — сказал Морис, удерживая ее в объятиях.

В том состоянии, в котором он был, его не смутило бы, если бы само небо упало на землю. Но она вырвалась от него одним движением. Забившись между стеной и постелью, устремив глаза, полные ужаса, она показывала пальцем на фигуру, появившуюся в углу комнаты между камином и зеркальным шкапом. Затем, не будучи в состоянии выносить этого зрелища и готовая потерять сознание, она закрыла лицо руками.

Глава десятая,

далеко превосходящая по смелости вымыслы Данте
и Мильтона.

Морис, повернув, наконец, голову, увидел фигуру и, заметив, что она движется, испарился в свою очередь. Тем временем Жильберта пришла в себя; она решила, что ее

возлюбленный спрятал в своей комнате какую-то другую женщину. При мысли о такой измене, охваченная гневом и досадой, кипя негодованием, и глядя прямо на свою предполагаемую соперницу, она вскричала:

— Женщина... еще одна голая женщина!.. Ты принимаешь меня в комнате, куда ты приводишь с улицы твоих женщин, и когда я прихожу они даже не успевают одеться. И ты еще упрекаешь меня, что я опоздала. У тебя хватает на это наглости! Ну, живо, пускай убирается твоя любезная... Знаешь, если уж ты хотел иметь здесь дело с нами обеими вместе, то, по крайней мере, следовало спросить меня, согласна ли на это я...

Морис, с расширенными от страха глазами, шарил на почном столике револьвер, которого там никогда и не было; он шепнул на ухо своей подруге:

— Молчи же. Это вовсе не женщина... Ничего не видно... Но мне кажется, скорее это мужчина.

Она вновь закрыла руками лицо и закричала изо всех сил:

— Мужчина! Откуда он ввялся? Это вор, это разбойник. Помогите! Морис, убей его, убей его... Зажги свет... Нет, нет, не зажигай.

Она дала мысленно обет, если избегнет опасности, поставит свечку пресвятой Деве. Ее зубы стучали.

Фигура двинулась.

— Не подходите!—закричала Жильберта,—не подходите.

Она обещала вору, что бросит ему, что у нее лежало на столике—все деньги и драгоценности, если только он согласится не двинаться.

Среди этих страхов и волнений ей пришла мысль, что муж, ловко скрыв от нее подозрения, велел ее выследить, подготовить свидетелей, пригласив полицейского комиссара. В одну секунду она отчетливо увидела свое долгое и тягостное будущее, шум светского скандала, подчеркнутое всеми презрение к ней, отступничество подруг, насмешки общества и справедливые притом насмешки, потому что в самом деле глупо же так попасться. Она увидела развод, потерю общественного положения. Она увидела замкнутое и скучное существование при матери, где

никто не будет за ней ухаживать, потому что мужчины избегают женщин, не представляющих своим супружеским состоянием достаточной гарантии в безопасности. И из-за чего все это? Из-за чего это крушение, это страшное несчастье? Из-за глупостей, из-за вздора. Так вагорила в мгновение ока совесть Жильберты Обель.

— Не бойтесь,—произнес очень тихий, приятный голос.

Она немного успокоилась и нашла силу спросить.

— Кто вы?

— Я ангел,—ответил голос.—Я ангел-хранитель Мориса.

— Повторите... я не понимаю. Я прямо схожу с ума.

Морис, понявший не более ее, был в негодовании. Оправив свою пиджаму, он вскочил с постели и оказался весь в цветочках. Он сделал угрожающий жест правой рукой, вооруженной туфлей, и сказал сердитым голосом.

— Вы нахал. Извольте убираться той же дорогой, какой вы сюда пришли.

— Морис д'Эспарвье,—продолжал тихий голос.—Тот, кого вы почитаете, как создателя, поставил подле каждого верующего доброго ангела, обязанного хранить его и подавать ему благие советы. Таково распространенное мнение Отцов Церкви; оно основывается на нескольких местах священного Писания. Церковь принимает его единогласно, не кладя, впрочем, хулы на тех, кто держится противного мнения. Перед вами один из таких ангелов, ваш ангел, Морис. Мне было поручено смотреть за вашей невинностью и хранить ваше целомудрие.

— Допустим, что это так,—возразил Морис,—но, во всяком случае, вы не принадлежите к числу порядочных людей. Порядочный человек не позволил бы себе войти в спальню в ту минуту, когда... Но, в конце концов, какого чорта вы сюда забрались?

— Я принял образ, который вы видите, Морис, оттого, что, имея надобность теперь действовать среди людей, я должен был сделаться на них похожим. Небесные духи обладают способностью облекаться в форму призрачную, которая делает их видимыми и осязаемыми.

Это форма реальна, потому что она видима, а в мире нет иной реальности, кроме видимостей.

Жильберта, теперь успокоенная, поправляла волосы.

Ангел продолжал:

— Небесные духи могут, по своему выбору, принимать тот или иной пол, или же оба сразу. Но они не могут превращаться в различных существ во всякую минуту, по своему капризу и фантазии. Их метаморфозы подчинены постоянным законам, которые вы не могли бы постигнуть. Оттого я не имею ни желания, ни возможности преобразиться на ваших глазах, для вашего или для моего собственного удовольствия, в льва, в тигра, в муху, в кусочек сикоморового дерева, по примеру того молодого египтянина, история которого была найдена в гробнице, или в осла, как сделал Луций с помощью мази юной Фотиды. Мудрость, которой я владею, предопределила заранее час моего появления на земле, и ничто не могло бы ускорить или замедлить этот час.

Возжаждавший большей ясности, Морис спросил во второй раз:

— Но какого же чорта вы сюда явились?

Присоединив свой голос к голосу возлюбленного, Жильберта спросила:

— Правда! Что вам здесь надо?

Ангел отвечал:

— Смертный, выслушай меня, женщина, насторожи слух! Я открою вам тайну, от которой зависит судьба вселенной. Поднявшись против Того, Кого вы считаете творцом всего видимого и невидимого, я приготавливаю восстание ангелов.

— Не шутите этим,—сказал Морис, который еще не потерял веру и не любил шуток над святыми вещами. Но ангел возразил ему тоном упрека:

— Как могли вы подумать, Морис, что я стану шутить и провозносить пустые речи?

— Ладно!—отозвался Морис, пожимая плечами,—не решитесь же вы в самом деле восстать против...

И он показал на потолок, не смея докончить.

Что ангел сказал:

— Разве вы не знаете, что восстание уже однажды совершилось, и что великая битва была некогда дана в небе?

— Ну, это дело было давно,—ответил Морис, натягивая носки.

Ангел продолжал:

— То было до сотворения мира, но ничто не изменилось с тех пор в небесах. Природа ангелов все та же, какой она была с самого начала. То, что они сделали тогда, они могут вновь сделать теперь.

— Нет! Это совсем невозможно, это противно религии. Если бы вы были действительно ангелом, добрым ангелом, как вы уверяете, то у вас не появилось бы мысли послушаться вашего Творца.

— Вы ошибаетесь, Морис, и свидетельство самих Отцов Церкви против вас. Ориген признает в своих проповедях, что и добрые ангелы могут впасть в грех, что они грешат ежедневно и падают с неба, как мухи. Быть может, вы отвергаете этого отца (если только его можно так назвать), несмотря на все его познания в Священном Писании, потому что он не причислен к лику святых? В таком случае я напомним вам вторую главу Апокалипсиса, где Ангелы Эфесский и Пергамский укоряются в том, что дурно хранили свои Церкви. Вы укажете, пожалуй, что ангелы, о которых здесь говорит апостол, собственно говоря, епископы названных двух городов, и что он именует их так, разумея их служение. Это возможно, согласен. Но что противопоставите вы, Морис, мнению стольких вероучителей, стольких пап, которые учили, что ангелы подвержены добру и злу? Ведь это утверждает св. Иероним в своем «Послании Дамазу»...

— Милостивый государь,—сказала мадам Обель,—уйдите, пожалуйста, я вас прошу.

Но ангел не слушал ее и продолжал:

— ... Св. Августин, «Об истинной вере», глава XIII; св. Григорий, «Поучения», глава XXIV, Исидор...

— ... Дайте же мне одеться, я тороплюсь.

— ... «О высшем благе», книга первая, глава XII, Беде, «Об Иове»...

— Я вас очень прошу...

— ... Глава XIII, Дамаскин, «О вере», книга вторая, глава III. Это на мой взгляд свидетельства достаточно веские, и вам, Морис, остается только сознаться в ошибке. Вас обмануло, что вы вабыли о моей природе, которая, как и у всех прочих ангелов, свободна, деятельна и подвижна; вы же помнили один только милости и радости, в которых я, по вашему мнению, вечно пребываю. Люцифер изведal их не меньше, чем я, и, однако, он восстал.

— Но зачем вам восставать? Для чего?—спросил Морис.

— Исаия,—отвечал сын света,—Исаия уже спрашивал об этом раньше вас. *Quomodo cecidisti de coelo Lucifer, qui mane oriebaris?* Узнайте же следующее! До начала времен ангелы поднялись для завоевания неба. Прекраснейший из серафимов восстал из гордости. Мне же познание внушило теперь благородную жажду освобождения. Пребывая подле вас в доме, где находится одна из лучших библиотек в мире, я приобрел привычку к чтению и любовь к науке. В то время, когда вы, устав от дел вашей грубой жизни, спали тяжелым сном, я окружал себя книгами, я изучал, я обдумывал тексты, то в зале библиотеки перед изображениями великих людей древности, то в глубине сада, в комнате павильона, рядом с вашей.

Услышав эти слова, молодой д'Эспарвье разразился хохотом и стал бить кулаком по подушке в знак крайней веселости, которую нельзя удержать.

— Ха, ха, ха, так это вы ограбили библиотеку папы и свели с ума беднягу старого Сарнета! Вы знаете: он совсем стал идиотом.

— Стремясь овладеть высшим познанием,—отвечал ангел,—я мало обращал внимания на это низшее существо. Когда же он мешал моим изысканиям и затруднял работу, я наказывал его дерзость. Однажды зимнею ночью в зале Сфер и Философов я обрушил ему на голову тяжелый том, который он пытался вырвать из моих невидимых рук. Более недавно, подняв моей могучей рукой, образованной из столба сжатого воздуха, драгоценный манускрипт Иосифа Флавия, я причинил такой страх этому глупцу, что он выбежал на площадку лест-

ницы и пал, как падает мертвое тело (если заимствовать у Дантэ Алигьери это сильное сравнение). Он был вполне вознагражден за то, ибо вы, сударыня, отдали свой надутый платочек, чтобы унять кровь его раны... Это было в тот день; если помните, когда за небесным глобусом вы обменялись с Морисом поцелуем...

— Милостивый государь! — воскликнула, нахмутив брови, негодующая мадам Обель, — я не позволю вам...

Но она сейчас же умолкла, размыслив, что момент мало подходящ, чтобы быть слишком требовательной в смысле уважения.

Ангел продолжал с прежним спокойствием.

— Я решился исследовать основания веры. Я обратился сперва к памятникам иудейства и прочел все древне-еврейские тексты.

— Вы знаете, следовательно, древне-еврейский, — вскричал Морис.

— Еврейский язык, это мой родной язык; мы долгое время не говорили в раю ни на каком другом.

— Ах, так вы из евреев? Это, впрочем, я уже раньше мог бы заметить по вашему отсутствию такта.

Не утомившая его ответом, ангел продолжал своим мелодическим голосом:

— Я постигнул древности Востока, Грецию, Рим, я проглотил теологов, философов, физиков, геологов и натуралистов. Я узнал, я задумался и я потерял веру.

— Как? Вы не верите в Бога?

— Я верю, потому что самое мое бытие связано с его бытием, и если его уже нет, то и я обращаюсь в ничто. Я верю в него, как силены и менады верили в Диониса и по тем же причинам. Я верю в Бога иудеев и христиан. Но я отрицаю, что он сотворил мир. Самое большое — это, что он устроил незначительную часть вселенной, и все, до чего он коснулся, носит на себе печать его примитивного и недалеконидного ума. Я не считаю его ни вечным, ни бесконечным, ибо это бессмыслица верить в существо, не имеющее конца во времени и в пространстве. Я считаю его ограниченным и даже весьма ограниченным. Я не думаю больше, что он единый Бог; долгое время он сам не думал этого; он был сперва политеистом. Лишь

позднее его высокомерие и лесть обожателей сделала его монотеистом. В его идеях, впрочем, мало последовательности, и он менее всесилен, чем это думают. Одним словом это не столько бог, сколько демиург, тщеславный и невежественный. Те, кто как я, знают его истинную природу, называют его Иалдабаоф.

— Как вы сказали?

— Иалдабаоф.

— Что это такое, Иалдабаоф?

— Я вам уже сказал: это демиург, которому в вашем ослеплении вы поклоняетесь, как единственному Богу.

— Вы сумасшедший. Не посоветовал бы вам нести эту чепуху перед аббатом Патуйлем.

— Я несколько не надеюсь, мой милый Морис, рассеять густой мрак, окутывающий ваше сознание. Знайте только, что я вступаю в бой с Иалдабаофом и надеюсь его победить.

— Это вам не удастся, поверьте мне.

— Люцифер поколебал его престол, и одно время исход битвы был неизвестен.

— Как вас зовут?

— Абдиил среди ангелов и святых. Аркадий среди людей.

— Ну, мой бедный Аркадий, мне жаль, что вы кончили так плохо. Но признайтесь, впрочем, вы дурачите нас? Я еще понял бы, если бы вы покинули небо ради женщины. Любовь заставляет делать ужаснейшие глупости. Но вы не заставите меня поверить, что вы, после того как видели Бога лицом к лицу, отыскиали истину в старом хламе у Сарнета. Нет, этого я никак не могу вбить себе в голову.

— Мой дорогой Морис, Люцифер был лицом к лицу с Богом, и, однако, отказался ему служить. Что же касается истины, которая есть в книгах, то это лишь истина, позволяющая нам иногда понять, как не происходит что-либо, но никогда не открывающая нам, как что-нибудь происходит. И вот, даже этой скудной истины было достаточно, чтобы доказать, что Тот, в кого я слепо верил, не заслуживает веры, и что люди и ангелы обмануты вымыслами Иалдабаофа.

— Нет Иалдабаофа! Есть Бог, Аркадий! Одно маленькое усилие, и откажитесь вы от ваших сумасбродств, от ваших богохульств; развоплотитесь же вновь, вновь сделайте чистым духом и возвратитесь к роли ангела хранителя. Вернитесь к своим обязанностям. Я вам прощаю, но, чтобы вас не было больше видно.

— Мне хотелось бы сделать приятное вам, Морис. Я чувствую к вам какую-то нежность, ибо сердце мое слабо. Но моя участь отныне влечет меня к существам, умеющим мыслить и действовать.

— Господин Аркадий,—сказала мадам Обель,—уйдите же, я вас прошу. Меня ужасно стесняет, что я в рубашке перед двумя мужчинами. Поверьте, я к этому не привыкла.

Глава одиннадцатая,

каким образом ангел, одевшись в платье самоубийцы, оставил молодого Мориса лишенным небесного защитника.

Она сидела на постели так, что только ее точенные колени блестели в тени из-под короткой и легкой рубашки; скрещенными руками она прикрывала грудь, предоставляя взглядам лишь свои полные и круглые плечи и свои беспорядочно разметанные рыжие волосы.

— Успокойтесь,—сказало видение,—ваше положение не так непристойно, как вы говорите: вы здесь не перед двумя мужчинами, но перед одним мужчиной и одним ангелом.

Она кинула на незнакомца взор, который, проникая мрак, искал каких-то смутных, но немаловажных подтверждений. Она спросила:

— Верно ли это, что вы ангел?

Видение попросило ее не сомневаться в том и дало о себе точные сведения.

— Есть три круга небесных сил, составляющие девять чинов ангельских. В первом кругу находятся Серафимы, Херувимы и Престолы, во втором Власти, Господства и

Силы, в третьем Начала, Архангелы и Ангелы в собственном смысле слова. Я принадлежу к девятому числу третьего круга.

Мадам Обель еще сохраняла причины сомневаться и, наконец, высказала одну из них:

— У вас нет крыльев.

— Зачем мне крылья, сударыня? Стремлюсь ли я походить на ангела ваших сосудов со святой водой? Небесные вестники не всегда обременяют свои плечи этими ветвями из перьев, мерно разбивающими воздушные волны. Херувимы могут быть бескрылыми. Никаких крыльев не было у тех двух, слишком прекрасных ангелов, которые провели тревожную ночь в доме Лота, осажденном восточной толпою. Нет. Они были во всем похожи на людей, и дорожная пыль покрывала их ноги, которые патриарх омыл благочестивой рукой. Я обращаю еще ваше внимание на то, что, согласно науке о естественных преобразованиях организмов, созданной Ламарком и Дарвином, крылья птиц постепенно превращаются в передние лапы у четвероногих и в руки у двуногих. Вы помните, быть может, Морис, одно досадное явление атавизма: у мисс Кэт, вашей бонны англичанки, которая так любила вас хлопать по задку, руки были очень похожи на крылышки ошипанной курицы. Оттого можно сказать, что существо, у которого имеются одновременно и руки и крылья, есть нечто уродливое и патологическое. У нас в раю встречаются херувимы или Керубы, в форме крылатых быков, но ведь это неуклюжие изобретения Бога, который никогда не был художником. Это верно, положим, что Победы из храма Афины-Нике на афинском акрополе прекрасны и с руками и с крыльями, верно, что Победа из Брешии хороша со своими протянутыми руками и со своими длинными крыльями, спадающими на ее крепкие бедра. Но таково одно из дивных свойств греческого гения—творить гармонически-прекрасных чудовищ. Греки ни в чем не ошибались. Ваши современники ошибаются во всем.

— Вы же имеете вида бесплотного духа,—сказала мадам Обель.

— И однако, я дух, если только таковые когда-нибудь существовали. И не вам, крещеной в христианскую веру, сомневаться в этом. Некоторые Отцы Церкви, св. Юстин, Тертулиан, Ориген, Климент Александрийский полагали, что ангелы не вполне бесплотны и что они обладают телом, образованным из тончайшей материи. Святой Августин высказывает мнение, что у ангелов сменяющееся тело. Это мнение отвергнуто Церковью; следовательно, я Дух. Но что есть дух и что есть материя? Некогда их противопоставляли друг к другу, но теперь ваша человеческая наука стремится воссоединить их, как два аспекта одного и того же. Она учит, что все исходит из Эфира и все в него возвращается; движение есть единственно, что превращает небесные волны в камни и металлы; атомы, рассеянные в безграничном пространстве, образуют различными скоростями движения по различным орбитам все субстанции видимого мира...

Но мадам Обель уже не слушала его; одна мысль занимала ее, и чтобы освободиться от нее, она спросила:

— С какого времени вы здесь?

— Я вошел сюда вместе с Морисом.

Она покачала головой.

— Вот как. Это мне нравится!

Но ангел продолжал с неземным спокойствием.

— В мире нет ничего, кроме кругов, эллипсов или гипербола, и те же самые законы, которые управляют движением светил, властвуют и над этой пылинкой. В силу движения, свойственного природе моей субстанции, мое тело духовно, но оно может воспринять материальное состояние, изменив ритм слагающих его элементов.

Он сказал это и сел в кресло, на черные чулки мадам Обель.

Пробили часы.

— Боже мой, семь часов!—вскричала Жильберта.—Что я скажу мужу? Он думает, что я пью чай на улице Риволи. А сегодня мы как раз обедаем у ла-Вердельеров. Убирайтесь-ка отсюда поскорее, господин Аркадий. Мне надо одеваться, я не могу терять ни секунды больше.

Ангел ответил, что он считал бы своим долгом послушаться мадам Обель, если бы только был в состоянии по-

казаться людям в приличном виде, но что он и думать не может выйти на улицу так, без всякого одевания.

— Если бы я вышел нагой на улицу,—добавил он,— я оскорбил бы этим людей, крепко привязанных к своим старым привычкам, которых они никогда не исследуют критически. Здесь заключается основание нравов. Некогда ангелы, мятежные как и я, являлись христианам в образах гротескных и странных—черные, рогатые, покрытые шерстью, зобатые, с копытами на ногах и иногда даже с человеческим лицом на заднице. Что за вздорная мысль. Они были посмешищем людей со вкусом, пугали только старух и маленьких детей и не достигали цели.

— Это правда, что он не может выйти на улицу так, как есть,—сказала рассудительно мадам Обель.

Морис кинул небесному посланцу свою пиджаму и свои туфли. Для выхода на улицу этого было недостаточно. Жильберта стала торопить возлюбленного бежать на поиски какой-нибудь одежды. Он предложил сначала пойти к консьержу. Весьма настойчиво она разубедила его в этом. По ее мнению было безумной неосторожностью мешать консьержу в такое дело.

— Вы желаете,—вскричала она,—чтобы они знали, что...

Она указала на ангела и не докончила.

Молодой д'Эспарвье убежал на поиски старьевщика.

Тем временем Жильберта, которая не могла медлить более, не вызвав этим страшного светского скандала, зажгла свет и стала одеваться перед ангелом. Она сделала это без всякого замешательства, потому что умела приспособляться к положению вещей, и понимала, кроме того, что в таких необыкновенных обстоятельствах, когда земля и небо перепутались на ее глазах, можно было отложить в сторону стыдливость. Затем она знала себя хорошо сложеной, а свое белье отвечающим требованиям моды. Так как видение отказалось из скромности надеть пиджаму Мориса, то Жильберта не могла не заметить, что у ее сомнений было основание, и что ангелы решительно во всем походят на людей. Любопытствуя знать, было ли это сходство реальным или только кажущимся, она спро-

сила сына света, не подобны ли ангелы обезьянам, которым, как известно, чтобы любить женщин, не хватает только одного.—денег.

— Да, Жильберта,—ответил Аркадий.—Ангелы могут любить смертных. Писание свидетельствует об этом. В седьмой книге Исхода сказано: когда люди размножились на земле и когда у них родились дочери, сыны Божии увидели, что дочери рода человеческого красивы и они взяли в жены всех тех, которые им понравились.

Жильберта вдруг пожаловалась.

— Боже мой, я никак не могу застегнуть платье, у него застежки сзади.

Когда Морис вошел в комнату, он нашел ангела колено-преклоненным и зашнуровывающим башмаки грешницы. Взяв со стола муфту и мешочек, Жильберта проговорила:

— Я, кажется, ничего не забыла?.. Нет?.. До свидания, господин Аркадий, до свидания, Морис. О! И буду же я помнить этот день!

И она исчезла, как сон.

— Вот!—сказал Морис, бросая ангелу узел с тряпьем.

Молодой человек, увидя в окне у старьевщика жалкие лохмотья рядом со старыми кларнетами и клистирными трубками, купил за восемнадцать франков обноски какого-то бедняги, который одевался в черное и окончил жизнь самоубийством. С природной величавостью ангел принял эту одежду и облачился в нее. На нем она приобрела неожиданное изящество.

Он сделал шаг к двери.

— Итак, вы меня покидаете,—сказал ему Морис.— Это решено? Боюсь, чтобы вы не пожалели в один прекрасный день об этой выходке.

— Я не должен оглядываться. Прощайте, Морис.

Морис робко сунул ему в руку пять золотых.

— Прощайте, Аркадий.

Но когда ангел вышел уже за порог, в тот самый момент, когда от него не было видно уже ничего, кроме мелькнувшей в дверях пятки, Морис позвал его.

— Аркадий!.. Я не подумал!.. Ведь у меня теперь нет больше ангела хранителя.

— Это правда, Морис, у вас его теперь нет.

— Но что же со мной будет? Ведь должен же быть ангел хранитель. Скажите, не будет ли мне от этого серьезных неудобств, не опасно ли это—лишиться своего ангела хранителя?

— Прежде чем ответить вам, Морис, я вас спрошу, хотите ли вы, чтобы я говорил согласно верованиям, которые были также и моими, согласно учению Церкви и католической религии, или только согласно натуральной философии?

— Смеюсь я над вашей натуральной философией. Отвечайте мне согласно религии, в которую я верю и которую я исповедую, в которой я хочу жить и умереть.

— Хорошо! Мой дорогой Морис, утрата вами ангела хранителя лишит вас, вероятно, некоторой духовной помощи, некоторых Божиих даров. Я передаю вам отношение к этому Церкви. У вас не будет поддержки, опоры, утешителя, который вел бы вас и укреплял на пути спасения. У вас будет меньше силы противостоять греху. У вас и без того было ее немного. Одним словом, в плане духовном вы будете лишены крепости и радости. Прощайте, Морис. Когда вы увидите мадам Обель, передайте ей, что я прошу меня не забывать.

— Вы уходите?

— Прощайте.

Аркадий исчез, и Морис, глубоко сев в кресло, долго сидел так, склонив на руки голову.

Глава двенадцатая,

где рассказывается, как ангел Мирар, нося милости и утешения в квартал Елисейских полей в Париже, увидит певицу из кафе-концерта по имени Бушотта и ее полюбил.

По улицам, полным рыжеватого тумана, прорезанного желтыми и белыми полосами света, в котором дымилось лошадиное дыхание и мелькали быстрые огни автомоби-

лей, ангел пустился бежать и, смешавшись с черной, беспрерывно текущей волной пешеходов, пересек весь город от севера к югу, до пустынных бульваров левого берега. Невдалеке от старых стен Порт Руайяля маленький ресторанчик бросал каждый вечер на мостовую дрожащий свет своих влажных от испарений стекол. Остановив здесь шаги, Аркадий проник в зал, полный теплых и жирных запахов, приятных беднякам, измученным голодом и холодом. Оглянувшись кругом, он увидел русских нигдистов, итальянских анархистов, изгнанников, заговорщиков, революционеров всех стран и народов, увидел старые живописные головы, с которых шевелюра и борода ниспадали, как потоки со скалы, каскадами, увидел молодые лица, исполненные девственной твердости, темные и зловещие взгляды, бледные глаза бесконечной кротости на изуродованных лицах, и в одном углу увидел двух русских женщин, одну очень красивую, другую безобразную, но совершенно одинаковых в их одинаковом презрении, как к красоте, так и к безобразию. Не найдя лица, которого искал, так как ни одного ангела не было в зале, Аркадий сел за свободный мраморный столик.

Под влиянием голода ангелы едят так же, как и земные создания, и тогда пища, под влиянием их внутренней теплоты, перерабатывается в небесную субстанцию. Увидя троих ангелов под дубом мамврийским, Авраам предложил им пироги, испеченные Сарой, целого теленка, масла и молока, и они вкусили. Лот, принимавший двух ангелов в своем доме, велел испечь пресные хлеба, и они вкусили. Аркадий получил от засаленного лакея жесткий, как дерево, бифштекс, и вкусил его. Он мечтал тем временем о сладком досуге, о спокойствии, об увлекательных научных занятиях, брошенных им, и о тяжелем бремени, взваленном теперь на себя, о грядущих трудах, усталостях, опасностях, и его душа была печальна, а сердце смутно. Когда он кончал скромную трапезу, молодой человек, незначительный на вид и плохо одетый, вошел в залу и, obeжав взглядом столы, приблизился к ангелу и назвал его именем Абдила, потому что сам он был тоже небесный дух.

— Я знал, Мирар, что ты придешь на мой зов,—сказал Аркадий, называя небесного собрата тем именем, которое тот носил когда-то в раю.

Но имя Мирар уже давно было забыто на небесной родине с тех пор, как носивший его архангел покинул службу у Бога. Он назывался на земле Теофилом Белэ и, чтобы зарабатывать хлеб насущный, давал уроки музыки маленьким детям, а по ночам играл на скрипке в различных притонах.

— Так это ты, милый Абдиил,—ответил Теофиль,—итак, мы встретились в этом грустном мире!.. Я счастлив тебя увидеть здесь. И, однако, мне тебя жаль, ибо нам живется здесь очень трудно.

Но Аркадий утешил его.

— Друг, твоё изгнание тоже окончится. У меня великие замыслы, я хочу посвятить в них тебя и привлечь к ним.

И ангел хранитель молодого Мориса, заказав два кофе, раскрыл собеседнику свои замыслы, свои планы. Он рассказал, как, очутившись на земле, он предался изысканиям, мало обычным для небесных духов, постигнув при этом все теологии, космогонии, системы миров, теории о веществе и новейшие исследования о превращении и потере энергии. Изучая природу, он, по его словам, находил ее в постоянном противоречии с поучениями властелина, которому служил. Этот властелин, жадный до хвалы, которого он столько времени обожал, представлялся ему теперь невежественным, неумным и жестоким тираном. Он отрекся от него, произнес хулу на него и горел желанием вступить с ним в борьбу. Его намерением было вновь поднять восстание ангелов. Он проповедывал войну и надеялся на победу.

— Но самое важное прежде всего,—прибавил он,—узнать наши силы и силы противника.

И он спросил, многочисленны ли и сильны ли на земле враги Иалдабаофа.

Теофиль поднял на своего собрата изумленный взгляд. Казалось, он не понимал речей, которые были к нему обращены.

— Милый соотечественник, — сказал ему он, — я отозвался на твое приглашение, потому что оно исходило от старого товарища. Но я не знаю, чего ты ждешь от меня, и я боюсь, что не смогу помочь тебе ничем. Я не занимаюсь политикой, я не изображаю из себя реформатора. Я не мятежный дух, не вольнодумец и не революционер, как ты. В глубине души я остаюсь верным моему небесному Творцу. Я поклоняюсь Повелителю, которому не служу более, и я оплакиваю дни, когда, прикрывшись крыльями, вместе с множеством других сынов света я образовывал пламенное кольцо вокруг Его преславного престола. Любовь, только грешная любовь, заставила меня отпасть от Бога. Я покинул небо, чтобы пойти за дочерью человеческой. Она была красива и пела в кафешантанах.

Они встали. Аркадий проводил Теофиля, который жил на другом конце города, на углу бульвара Рошешуар и улицы Стенкерк. Проходя по опустевшим улицам, возлюбленный певицы рассказал собрату о своей любви и горести.

Его падение, тому назад два года, было внезапным. Принадлежа к восьмому кругу третьей иерархии, он был обязан разносить милости верным Церкви, которые еще были довольно многочисленны во Франции, в особенности среди высших чинов армии и флота.

— В одну летнюю ночь, рассказывал он, когда я спустился, чтобы распространять утешения и отпущения грехов среди благочестивых лиц квартала Этуаль, мои глаза, хотя и привыкшие к бессмертным блистаниям, были поражены разноцветными огнями, усеивавшими Елисейские Поля. Большие канделябры, обозначавшие под деревьями входы в кафе и рестораны, придавали листе драгоценный оттенок изумруда. Длинные гирлянды свешившихся жемчужин окружали сады, где под открытым небом, перед веселым оркестром, звуки которого смутно долетали до меня, теснились толпы мужчин и женщин. Ночь была душная; мои крылья устали двигаться. Я спустился в один из этих садов и сел невидимый среди публики. В это мгновение женщина появилась на сцене, одетая в короткое, усыпанное блестками, платье. Отсветы

рампы и краска, которая покрывала ее лицо, позволяли разглядеть лишь ее глаза и улыбку. Ее тело было гибко и сладострастно. Она танцевала и пела... Аркадий, я всегда любил музыку и танцы, но голос и вкрадчивые движения этого существа повергли меня в неведомое дотоле волнение. Я бледнел и краснел, мои глаза затмилась, язык пересох во рту; я не мог шевельнуться.

И Теофиль рассказал, стенаая, как, охваченный желанием к этой женщине, он не возвратился на небо, но, приняв человеческий образ, стал жить земной жизнью, ибо сказано было: в те времена сыны Божии увидели, что дочери человеческие красивы...

Падший ангел, утративший вместе с лицемерием Бога свою невинность, Теофиль сохранял еще, однако, простоту ума. Надев лохмотья, снятые с выставки еврей-старьевщика, он отправился к той, кого любил. Она называлась Бушотта и занимала маленькую квартирку на Монмартре. Он бросился к ее ногам и сказал ей, что она очаровательна и что пение ее восхитительно, что он любит ее безумно, что он бросил ради нее своих близких и свою родину, что он музыкант и что ему нечего есть. Растроганная такой молодостью, такой наивностью, такой бедностью и такой любовью, она накормила его, одела и полюбила.

После долгих и трудных поисков он нашел уроки сольфеджио и заработал кое-какие деньги, которые и принес своей подруге, ничего не оставив себе. С тех пор она его разлюбила. Она стала презирать его за то, что он зарабатывает так мало, и стала выказывать ему равнодушие, усталость и отвращение. Она осыпала его упреками, насмешками и оскорблениями. Однако, она оставила его при себе, привыкнув к домашним ссорам, вспоминая прежних еще худших своих сожителей, а главное, ведя вне дома жизнь очень занятую, деловую и тяжкую—артистки и женщины. Теофиль любил ее, как в первую ночь, и очень страдал.

— Она переутомляется,—говорил он своему небесному собрату,—и портит ее характер, но я уверен, что она меня любит. Я надеюсь скоро дать ей возможность немного отдохнуть.

И он стал длинно рассказывать об оперетте, над которой работал и которую рассчитывал поставить в каком-нибудь из парижских театров. Один молодой поэт написал ему либретто. То была история Алины, королевы Голконды, по сказке XVIII века.

— Я там рассеял,—говорил Теофиль,—массу мелодий. Я пишу музыку прямо из сердца. У меня в сердце неисчерпаемый источник мелодий. К несчастью теперь любяют ученую обработку, трудное письмо. Мне ставят в упрек, что я слишком певуч, слишком прозрачен, что я не украшаю искусственно стиль, не прибегаю к гармонии в поисках мощных эффектов и сильных контрастов. Гармония, гармония! Она, без сомнения, имеет свои достоинства, но она ничего не говорит сердцу. Только мелодия увлекает нас, восхищает и вызывает на устах улыбку, на глазах слезы.

При этих словах он сам улыбнулся и заплакал. Затем он продолжал, волнуясь.

— Во мне бьет целый фонтан мелодий. Но оркестровка, вот где зарыта собака! В раю, ты сам помнишь, Аркадий, мы знаем из инструментов лишь арфу, водяной орган и цитру.

Аркадий слушал рассеянно. Он думал о планах, которые переполняли его душу и сердце.

— Не знаешь ли ты кого-нибудь из возмущившихся ангелов?—спросил он.—Что до меня, то я знаю только одного, князя Истара, с которым обменялся несколькими письмами и который предложил мне разделить с ним мансарду, пока я не найду квартиры в этом городе, где, думается мне, квартиры очень дороги.

Из восставших ангелов Теофиль не знал никого. Когда он встречал кого-нибудь из прежних своих собратьев, он пожимал ему руку, потому что был верен в дружбе. Иногда видался с Истаром. Но он избегал этих дурных ангелов, которые смущали его резкостью взглядов и разговоры с которыми ему надоедали.

— Итак, ты меня не одобряешь?—спросил стремительный Аркадий.

— Друг, я не одобряю тебя. Я ничего не понимаю в идеях, которые тебя волнуют. И я не думаю, чтобы было

хорошо для артиста заниматься политикой. Довольно и своего искусства.

Он любил свое искусство и надеялся когда-нибудь пробиться вперед, но театральные нравы его возмущали. Он не видел шанса поставить свою пьесу, не взяв одного, двух, или, может быть, трех сотрудников, которые, не работая, поставят под ней свою подпись и разделят с ним гонорар. Скоро Бушотта не найдет себе ангажемента. Когда она являлась в какой бы то ни было балаган, директор начинал с вопроса, сколько паев берет она себе в деле. По мнению Теофиля, это были плачевные нравы.

Глава тринадцатая,

где мы услышим прекрасного архангела Зиту, излагающего свои гордые замыслы, и увидим крылья Мирара, изъеденные молью в стенном шкапу.

Беседуя так, два ангела достигли бульвара Рошешуар. При виде ресторана, который бросал на туманную улицу золотой свет, Теофиль вспомнил вдруг архангела Итуриила, который, в облике женщины, прекрасной и бедной, жил в скверной меблированной комнате на Монмартре и приходил каждый вечер читать газеты в этот ресторан. Музыкант встречал его там не раз. Архангел носил женское имя Зита. Теофиль ни разу не полюбостествовал узнать взгляды этого архангела. Но он слыл русской нигилисткой и, вероятно, принадлежал, как и Аркадий, к атеистам и революционерам. Теофиль слышал об этом существе странные вещи: говорили, что оно был андрогинном, в котором начала, пассивное и активное, сочетались в устойчивом равновесии, и что оно было, таким образом, совершенно, находя в самом себе полное и вечное удовлетворение, и несчастно в своем счастливом неведении желаний.

— Однако,—добавил Теофиль,—я в этом сильно сомневаюсь. Я думаю, что это женщина и притом подверженная любви, как все, что дышит в этом мире. Впрочем..

ее даже поймали как-то, когда она делала знаки любви здоровому простолюдину.

Он предложил своему спутнику познакомить его с Зитой. Ангелы застали ее одну за чтением. При их приближении она подняла большие глаза, в расплавленном золоте которых мелькали искорки. Ее брови образовывали на лбу суровую складку, как у Аполлона Пифийского, ее нос был обрисован идеально прямой линией, ее крепко сжатые губы придавали всему лицу надменную гримасу. Ее рыжие волосы с огненным отливом вились под черной шляпой, к которой были небрежно приколоты крылья большой хищной птицы; темное платье лежало широкими бесформенными складками. Она опирала свой подбородок на маленькую, не знающую ухода руку.

Аркадий, который уже когда-то слышал об этом могучем архангеле, спешил засвидетельствовать ему глубокое уважение и полное доверие, изложив немедленно свои успехи в познании и освобождении, свои занятия в библиотеке д'Эспарвье, свои философические чтения, свои научные исследования, свои работы по экзегезу, свой гнев и свое презрение к раскрытому обману демиурга, свое добровольное изгнание на землю и свой план поднять восстание в небесах. Готовый идти на все против жестокого властелина, к которому питал теперь неутолимую ненависть, он выразил глубокую радость по поводу встречи с Итуриилом, с духом, способным дать совет и поддержать его в великом начинании.

— Вы, я вижу, еще новичок в революции,—сказала ему Зита с улыбкой.

Тем не менее, она не усомнилась ни в искренности, ни в силе возмеченной им решимости, и поздравила его с отвагой мысли.

— Этого как раз и недостает всем нашим,—сказала она.—Они не мыслят.

И почти тотчас же прибавила.

— Да и что могло бы отточить мысль в стране, где климат мягок и жизнь легка? Даже здесь, где нужда заставляет думать, нет ничего более редкого, чем мыслящее существо.

— И все же,—ответил ангел хранитель Мориса,—люди создали науку. Надо сделать так, чтобы она проникла

в небо. Когда ангелы будут иметь понятие о физике, о химии, об астрономии, о физиологии, когда изучение материи научит их видеть миры в одном атоме и один атом в мирадах солнц, когда они увидят себя затерянными среди этих двух бесконечностей, когда они взвешают и измеряют светила, проанализируют их вещество и вычислят их орбиты, они поверят, что эти миры повинуются силам, которых никакой ум не может определить, или что у каждого из них есть свой гений, свой местный бог, и они поймут, что боги Альдебарана, Бетельгейзе и Сириуса больше, чем Иалдабаоф. Когда, вслед затем, они обратят глубокий взор к маленькому миру, с которым они сами связаны, и вскрыв земную кору будут наблюдать медленную эволюцию флоры и фауны и начатки человеческого рода, который в первобытных пещерах и свайных хижинах не знал другого Бога, кроме себя самого,—когда они откроют, что соединенные узами всемирного родства с растениями, животными и людьми, они проходили последовательно ряд форм органической жизни от самых простых и грубых, пока не сделались прекраснейшими из сынов Солнца,—тогда они признают, что Иалдабаоф, незначительный дух маленького мирка, затерянного в пространстве, обманывал их, когда уверял, что вызвал их к жизни из небытия, лгал им, называя себя Бесконечным, Вечным и Всемогущим,—они поймут, что далекий от способности творить миры, он даже не знает ни их законов, ни их числа, они заметят, что он во всем подобен им, и начнут презирать его и поколеблют его тиранию и низвергнут его в геену огненную, куда низвергнул он тех, кто был лучше его.

— Хорошо, если бы было по вашему,—сказала Зита, сдувая дым своей папироски.—Однако же, те знания, на которые вы рассчитываете, чтобы освободить небеса, не уничтожили религиозного чувства на земле. В тех странах, где зародились и где введены в школьное обучение эта физика, эта химия, эта астрономия, эта геология, которые, по вашему, освободят мир, христианство сохранило почти всю свою власть. Если положительные знания имеют столь малое влияние на верование людей, мало похоже, чтобы они оказали большее влияние на взгляды

ангелов. Нет ничего более сомнительного, чем действительность пропаганды наукой.

Аркадий протестовал:

— Как! Вы отрицаете, что наука уже нанесла смертельные удары Церкви? Возможно ли это? Церковь думает об этом иначе. Той науки, в действии которой вы сомневаетесь, Церковь боится, раз преследует ее. Она осуждает все ее выводы, начиная от диалогов Галилея и кончая маленькими учебниками Олара. И это не без основания. Некогда вмещавшая в себе все, что было крупного в человеческой мысли, Церковь управляла не только телами, но и душами, достигая единства огнем и мечом. Теперь власть ее не более как тень, и избранные умы отвернулись от нее. Вот до чего довела ее наука.

— Пожалуй.—ответил прекрасный архангел.—Но как это медленно! С какими превратностями. Ценою скольких усилий и скольких жертв!

Зита не осуждала окончательно пропаганду наукой, но она не ожидала от нее быстрого и верного действия. По ее мнению, дело было не в том, чтобы просветить ангелов, но в том, чтобы их освободить. По ее мнению, сильное действие на каких бы то ни было индивидуумов можно сказать, лишь пробудив их страсти и воззвав к их интересам.

— Убедить ангелов, что они покроют себя славой, свергнув тирана, и что они будут счастливы освободившись, вот самый верный способ действия; что касается меня, я его всецело принимаю. Это не легко, конечно, потому что царство небесное представляет собой военную автократию, и там не существует общественного мнения. Не взирая на то, я не отчаиваюсь создать некоторое движение. Могу сказать, не хвалясь, что никто не знает так, как я, различные классы ангельского общества.

Бросив папироску, Зита подумала немного, затем сквозь стук костяных шаров, сталкивающихся на бильярде, звон стаканов, короткие восклицания игроков, ведущих счет очков, и монотонные отзывы лакеев на требования посетителей, она расклассифицировала все небесное население.

— Не следует рассчитывать на Власть, Силы и Господства, которые составляют мелкую небесную буржуазию. Мне нечего вам это доказывать, ибо вы, также как и я, знаете эгоизм, низость и трусость средних классов. Что касается высших должностных лиц, министров и генералов, Престолов, Херувимов и Серафимов, то вы их знаете тоже: они не помешают. Будем сильнейшей стороной, и они будут с нами. Ибо, хотя автократию и трудно свергать, но зато раз она свергнута, все, что составляло ее же силу, обращается против нее самой. Хорошо было бы подготовить армию. Как бы ни была она верна, она всегда поддается искусной анархической пропаганде. Но самая главная и самая трудная роль выпадает на долю ангелов вашей категории, Аркадий, ангелов хранителей, которые живут на земле в таком огромном количестве. Они занимают низшие ступени иерархии, недовольны по большей части своей участью и более или менее пропитаны идеями века.

Она уже сговорилась с ангелами хранителями кварталов Монмартра и Клиньянкура. Она замыслила грандиозный план сообществом духов, обитающих на земле с целью завоевания неба.

— Для выполнения моего плана,—сказала она,—я поселилась во Франции. Не оттого, что я имела бы глупость считать себя более свободной в республике, чем в монархии. Напротив, нет страны, где индивидуальная свобода уважалась бы менее, чем во Франции. Но народ здесь равнодушен к делам религии, вот почему я могу чувствовать себя здесь спокойнее, чем где бы то ни было.

Она пригласила Аркадия присоединить свои усилия к ее усилиям, и они расстались у дверей ресторана, когда железный занавес, визжа, уже спускался над входом.

— Прежде всего,—сказала Зита,—надо, чтобы вы узнали садовника Нектария. Я вас поведу как-нибудь в его деревенское жилище.

Теофиль, который дремал во все время их разговора, стал умолять своего друга зайти к нему выкурить папиросу. Он жил совсем близко на углу маленькой улицы Стенкерк, которую видно как только выйдешь на бульвар.

Аркадий увидел бы Бушотту; она ему наверно понравится. Они взошли на пятый этаж. Бушотта еще не вернулась. На пианино стояла открытая коробка с сардинками. Красные чулки змеились по креслам.

— Здесь тесно, но славно,—сказал Теофиль.

Взглянув в окно, в красноватую ночь, полную светов, он добавил:

— Отсюда видно *Sacré Coeur*.

Положив руку на плечо Аркадия, он повторил несколько раз:

— Я очень рад тебя видеть.

Затем, увлекая товарища своей прежней славы в коридорчик, ведущий в кухню, он поставил свечу, вынул из кармана ключ, открыл им в стене шкаф и, приподняв занавеску, обнаружил два белых больших крыла.

— Видишь,—сказал он,—я их сохранил. Время от времени, когда я один, я гляжу на них, мне это приятно.

И он вытер свои покрасневшие глаза.

После нескольких мгновений взволнованного молчания, поднеся свечу к длинным перьям, утратившим местами свой пух, он пробормотал:

— Их моль поела.

— Надо посыпать перцем,—заметил Аркадий

— Я сыпал,—вздыхнул ангел-музыкант.—Я сыпал и перцем, и камфорой, и солями. Но ничего не помогает.

Глава четырнадцатая,

в которой появляется Керуб, трудящийся на счастье человечества, и которая кончается необыкновенным образом—чудом флейты.

Первую ночь по своему воплощению Аркадий переночевал у ангела Истара на чердаке узкой и темной улицы Мазарини, вьющейся в тени старинного Института Францис. Истар, который ожидал его, отодвинул к стене надтреснутые реторты, ржавые котелки, отбитые бутылки и сломанные печи, составлявшие всю его обстановку, и, бросив прямо на пол свою одежду, чтобы растянуться на ней, предоставил гостю кровать из досок с соломенным матрацем

Небесные духи отличаются по наружному виду согласно с кругом и чином, к которому они принадлежат, и согласно собственной их природе. Они все прекрасны, но по разному, и далеко не все одинаково являют взору мягкие округлости и смеющиеся ямочки младенческого тела, отливающего перламутром и розовым цветом. Не у всех вечная юность отмечена той двойственной прелестью, которую греческое искусство в своем упадке воплотило в тончайших по разработке мраморах и разнеженные и туманные образы которой столько раз робко изображала христианская живопись. Среди ангелов есть такие, у которых вьются густые и длинные бороды, у которых под кожей напрягаются могучие мускулы, похожие на клубки змей. У некоторых из них нет вовсе крыльев, у других есть два крыла; четыре или шесть, третьи же состоят единственно из пары крыльев. Есть ангелы и не из последних, повторяющие облик легендарных существ, например, кентавров мифологии, есть и такие, которые имеют вид движущейся колесницы или огненных колес.

Член самого высокого круга небесной иерархии, Истар, принадлежал к чину херувимов или керубов, выше которых помещаются только серафимы. Как все ангелы этого разряда, он имел некогда на небесах туловище крылатого быка, увенчанное головою бородатого и рогатого человека и снабженное атрибутами щедрого плодородия. Превосходивший своею мощью и величиной всякое земное существо, он мог, встав на ноги и распростерши крылья, покрыть своей тенью шестьдесят архангелов. Таков был Истар на своей родине; он блистал там силой и красотой. Его сердце было непреклонно и душа полна доброты. Он любил некогда своего господина, считая его добрым, и служил ему верно. Но храня порог повелителя, он беспрестанно думал о наказании мятежных ангелов и о проклятии Евы. Его мысль была медленна и глубока. Когда, по прошествии длинного ряда веков, он убедился, что Иалдабаоф породил вместе со вселенной страдание и смерть, он перестал поклоняться ему и служить. Любовь его превратилась в ненависть, почитание в презрение. Он извергнул ему в лицо свое возмущение и бежал на землю.

Приняв человеческий образ и размеры, обычные для сынов Адама, он сохранил, однако, некоторые черты своей первоначальной природы. Его большие глаза на выкате, крючковатый нос, толстые губы, обрамленные черной бородой, спускавшейся кольцами ему на грудь,—все это напоминало тех керубов престола Иеговы, которых нам довольно верно передают крылатые быки Ниневии. Он носил на земле, как и в небесах, имя Истар, и, хотя вовсе лишенный тщеславия, свободный от каких бы то ни было социальных предрассудков, он, стремясь во всем к искренности и правде, не пожелал скрывать высокое положение, которое от рождения занимал в небесной иерархии и, заменив звание керуба соответствующим земным титулом, стал называться князем Истаром. Скрывшийся к людям, он проникся к ним пламенной нежностью. В ожидании часа освобождения небес, он задумывал спасение обновленного человечества и спешил ускорить гибель этого проклятого мира, чтобы воздвигнуть на его пепелище, при звуках лиры, светлый град радости и любви. Будучи химиком на службе у продавца искусстванных удобрений, он жил нищенски, сотрудничал в революционных газетах, выступал с речами на собраниях и был однажды присужден, как антимилитарист, к нескольким месяцам тюрьмы.

Истар принял сердечно своего собрата Аркадия, одобрил его решение порвать с преступной кликой и рассказал ему о падении еще полсотни сынов Неба, которые теперь образуют в районе Валь-де-Грас колонию, проникнутую наилучшим духом.

— Ангелы сыплются, как град, над Парижем,—сказал он со смехом.—Каждый день какой-нибудь новый чин святой обители валится нам на голову, и скоро у Султана Облаков останутся в качестве визирей и гвардейцев одни голозадые малыши его курятников.

Убаюканный этими хорошими известиями, Аркадий заснул полный радости и надежды.

Он пробудился на рассвете и увидал князя Истара склонившимся над своими печами, реторами и баллонами. Князь Истар работал над счастьем человечества.

Каждое утро Аркадий, просыпаясь, видел князя Истара совершающим свое дело нежности и любви. Иногда керуб, присев на корточки и зажав руками голову, тихо бормотал какие-то химические формулы, иногда, встав во весь рост, как темный облачный столб, просовывал голову, руки и грудь в слуховое окно и выставлял на крышу свои котлы с расплавленной смесью, боясь обыска, который все время ему угрожал. Движимый огромным состраданием к несчастным того мира, где оказался в изгнании, небезразличный, быть может, и к шуму, который надедало здесь его имя, опьяненный своим подвигом, он взял человечество под защиту и, забыв цель, поставленную при падении на землю, он не думал более об освобождении ангелов. Аркадий, который думал, напротив, только о том, как войти победителем в покоренные небеса, упрекал керуба за это забвение родины. Князь Истар признавался с громким, наивным и диким хохотом, что он, действительно, не отдает предпочтения ангелам перед людьми.

— Я стараюсь,—отвечал он своему небесному собрату,—поднять Францию и Европу, оттого что уже занялась заря того дня, который увидит торжество социальной революции. Приятно бросать семена в эту глубоко разрыленную почву. Французы перешли от феодализма к монархии и от монархии к финансовой олигархии; они легко перейдут и от финансовой олигархии к анархии.

— Какое заблуждение,—возражал ему Аркадий,—верить в быстрый и решительный переворот в социальном порядке Европы. Старое общество еще молодо в полноте своей силы. Средства защиты, которыми оно располагает, чудовищны. Пролетариат, напротив, едва успел наметить пока еще чисто оборонительную организацию и не выказывает в борьбе ничего, кроме слабости и беспорядочности. На нашей небесной родине совсем иное дело: под нерушимой внешностью все прогнило; достаточно двинуть плечом, чтобы опрокинуть всю эту постройку, которая стоит в неподвижности миллиарды веков. Дряхлая администрация, дряхлая армия, дряхлые финансы—

все это столь же заплесневело, как русское или персидское самодержавие.

II Аркадий заклинал керуба стремиться сперва к помощи своим братьям, более несчастным в пуховых облаках, среди чаш райского напитка и звона лир, чем люди, согбенные над скупой землей: ибо люди уже познали справедливость, ангелы же купаются в беззаконии. Он умолял освободить Князя Света и его соратников, пораженных небесными громами, восстановить их в утраченных некогда почестях.

Истар поддавался уговорам. Он обещал обратить убеждающую горячность своих речей и превосходные формулы своих взрывчатых веществ на пользу небесной революции.

Он обещал:

— Хорошо, с завтрашнего дня,—говорил он.

Но завтра он продолжал вести антимилиитарскую пропаганду где-нибудь в Исси-ле-Мулино. Подобно титану Прометею, Истар любил людей.

Подчиняясь всем нуждам, которым подвержено пожелание Адама, Аркадий оказался без всяких ресурсов для удовлетворения их. Керуб устроил его в одну типографию на улице Вожирар через знакомого ему надсмотрщика. Благодаря своему небесному дарованию, Аркадий скоро был в состоянии набирать и быстро сделался хорошим наборщиком.

Весь день он проводил в жужжащей типографии, стоя с компостером в левой руке, а правой быстро выбирая из ящика маленькие свинцовые буквы и располагая их в должном порядке, согласно припиленному перед глазами оригиналу. После того, вымыв руки под краном, он бежал в маленький ресторанчик и там обедал, раскрыв перед собой газету на мраморном столике.

Перестав быть невидимым, он не мог более проникать в библиотеку д'Эспарвье и утолять из этого неиссякаемого источника свою ненасытную жажду познания. Он ходил читать по вечерам в библиотеку Сент-Женевьев на горе того же имени, прославленной просвещением. Но здесь ему выдавали лишь книги общедоступные, засаленные

исписанные смешными надписями и с вырванными страницами.

Вид женщин приводил его в волнение, и он вспоминал мадам Обель и то, как блестили ее точеные колени в беспорядке постели. Но хотя он был красив, никто не любил его, потому что он был беден и носил платье рабочего. Он заходил к Зите, и ему доставляло некоторое удовольствие гулять с ней в воскресенье по пыльным дорогам вдоль заросших жирной травой укреплений. Они проходили мимо кабачков, огородов, беседок, излагая и обсуждая самые грандиозные замыслы, какие когда-либо рождались на сей земле; подчас в соседстве ярмарочных балаганов музыка карусели аккомпанировала их словам, которые грозили небу.

Зита повторяла не раз:

— Истар честен, но это младенец. Он верит в благое начало всего сущего. Он затевает разрушение старого мира и успокаивается на мысли о естественной анархии, чтобы отделаться от заботы создать порядок и гармонию. Вы, Аркадий, вы верите в науку, вы воображаете, что люди и ангелы способны понимать, в то время как на самом деле они способны только ощущать и чувствовать. Запомните, что вы не добьетесь ничего, обращаясь к их разумению: надо взывать только к их выгоде и к их страстям.

Аркадий, Истар, Зита и трое или четверо других ангелов, посвященных в заговор, собирались иногда в маленькой квартирке Теофиля Белэ, где Бушотта угощала их чаем. Не зная, что то были мятежные ангелы, она не навидела их инстинктивно и боялась их, будучи христианкой по воспитанию, хотя и довольно запущенному. Один князь Истар ей нравился: ей нравились в нем доброта и какое-то природное благородство. Под ним трещал диван, рушились кресла, и чтобы делать заметки, он отрывал клочки бумаги у партитур, рассовывая их по карманам, вечно набитым брошюрами и бутылками. Музыкант видел с горечью рукопись своей оперетты «Али-

на, Царица Голконды», всю оборванную таким образом. Князь Истар имел, кроме того, привычку давать на сохранение Теофилю Белэ всевозможные механические приборы и химические вещества, оставляя у него какие-то железные сооружения, начинку снарядов, порошки, жидкости, распространявшие удушливый запах. Теофиль Белэ запирает все с предосторожностями в шкаф, где хранились его крылья, и этот склад причинял ему немалое беспокойство.

Аркадий переносил с трудом презрение собратьев, оставшихся верными. Когда они встречали его в своих святых странствиях, они высказывали ему мимоходом жестокую ненависть или сожаление, более жестокое, чем ненависть.

Он посещал отпавших ангелов, о которых ему рассказывал князь Истар, и был встречен ими наилучшим образом. Но как только он заводил речь о завоевании неба, они открыто выражали ему затруднение и неудовольствие, которое он им причинял. Аркадий увидел, что они не желали никакого нарушения своих привычек, своих занятий, своих интересов. Ложность их суждений, узость их ума возмущали его; соперничество и зависть, которая была распространена между ними, делала невозможным соединение их в общем деле. Заметив, как изгнание уродует характеры и искажает умы, он почувствовал, что бодрость его слабеет.

Однажды вечером, когда он признался в этом Зите, она сказала:

— Пойдем к Нектарию. Нектарий владеет тайной целить усталости и печали.

Она увела его в лес Монморанси и остановилась на пороге маленького белого домика, к которому примыкал огород, опустошенный зимой, где в сумраке вечера блестя стекла теплицы и треснутые колокола дынь.

Нектарий открыл дверь посетителям и, усмирив лай большого дога, стерегущего сад, провел их в низкую комнату, согретую изразцовой печью. У выбеленной стены, на полке из сосновой доски, рядом со связками лука и кучками семян, лежала флейта, готовая запеть. На круглом ореховом столе были горшок с крошеным табаком, труб-

ка, бутылка с вином и стаканы. Садовник предложил каждому из гостей по соломенному стулу и сам сел на скамеечку подле стола.

То был крепкий старик; густые седые волосы вились на его голове; у него был выпуклый лоб и слегка приплюснутый нос, лицо его было красно, борода на конце раздваивалась. Большой пес улегся у ног хозяина, положил на лапы свою черную и короткую морду и закрыл глаза. Садовник налил гостям вина. Когда они отхлебнули из стаканов и обменялись несколькими словами, Зита сказала Нектарию:

— Прошу вас, сыграйте нам на флейте. Вы сделаете удовольствие другу, которого я вам привела.

Старик согласился тотчас же. Он поднес к своим губам свирель из буксуса, так грубо сработанную, что казалось он сделал ее сам, и начал несколькими странными музыкальными фразами. Затем потекли богатые мелодии, среди которых трели сверкали, как брильянты и жемчуга на бархате. Под искусными пальцами, одухотворенная творческим дыханием, деревенская флейта пела серебристым голосом. Она не давала слишком резких высоких нот; тембр ее был ровен и чист. Казалось, что то пели соловей и Музы, вся природа и весь человек. И старик высказывал, располагал и развивал свои мысли на языке музыки, полном смелости и очарования. Он говорил о любви, о страхе, о тщетных расприх, о побеждающем смехе, о спокойных светах разума, о стрелах иронии, поражающих своими золотыми концами чудовищ Невежества и Ненависти. Он говорил также о Радости и Страдании, склонивших над землей свои головы близнецов и о желании, творящем миры.

Всю ночь была слышна флейта Нектария. Уже пастушеская звезда поднималась над побледневшим горизонтом. Зита, обнимая колени руками, Аркадий, уронив на руки лоб и полуоткрыв губы, слушали в глубокой неподвижности. Жаворонок, пробудившийся на соседнем песчаном поле, привлеченный неведомыми звуками, быстро поднялся в воздух, продержался в нем несколько мгновений, затем упал, как камень, в сад музыканта. Седние воробьи, покинув дыры в старых стенах, помести-

лись стайкой на закраине окна, откуда лились звуки, приятные им не менее, чем зерна овса и ячменя. Сойка, вылетевшая из леса впервые, сложила свои сапфировые крылья на облетевшем вишневом деревце сада: Перед отдушиной большая черная крыса, еще мокрая от жирной воды сточных канав, присела в изумлении на задние лапы, растопырив свои короткие передние конечности. Хорек, обитатель сада, устроился подле нее. Спустившись с крыши, старый домашний кот, унаследовавший от своих диких предков серую шерсть, полосатый хвост, могучие бедра, отвагу и свирепость, толкнул мордой приотворенную дверь, приблизился неслышными шагами к флейтисту и, важно усевшись, насторожил уши, изодранные в ночных боях. Белая кошечка лавочника последовала за ним, втягивая в себя воздух полный звуков, затем изогнув спину и закрыв голубые глаза, стала слушать в упоении. Мыши, выползшие из подполья, окружили их целой толпой, не боясь ни когтей, ни зубов, неподвижно застыв и сложив от наслаждения на груди свои розовые лапки. Пауки, покинув свои паутины, дрожа на длинных ногах, собирались на потолке, зачарованные. Маленькая серая ящерица, проскользнув на порог, осталась там завороженная, и на чердаке можно было видеть летучую мышь, висевшую, зацепившись когтем, головой вниз, теперь наполовину пробуждавшуюся от зимнего сна, раскачивавшуюся в ритм неслышанной флейте.

Глава пятнадцатая,

где видно, как Морис жалел даже в объятиях своей возлюбленной об утраченном ангеле, и где говорится, как аббат Патуйль отвергнул, как преступную и вздорную, всякую мысль о новом восстании ангелов.

Прошло две недели со времени появления ангела в квартирке на улице Рима. В первый раз Жильберта явилась раньше Мориса на свидание. Морис был мрачен. Жильберта раздражительна. Природа обрела в их глазах скучное однообразие. Взгляды, которыми они, вяло обме-

нивались, обращались беспрестанно к углу между зеркальным шкапом и окном, где явилась некогда бледная фигура Аркадия и где не было больше ничего, кроме голубого кретона обивки.

Не называя его (в этом не было нужды), мадам Обель спросила:

— Ты не встречал его больше?

Медленно, печально Морис повернул голову справа налево и слева направо.

— Ты, кажется, жалеешь об этом?—продолжала мадам Обель.—Признайся, однако: он тебя страшно напугал, и тебя возмутила его некорректность.

— Это правда, он вел себя некорректно,—согласился Морис, без всякого неудовольствия.

Сидя посредине постели, полуголая, уткнувшись подбородком в колени и охватив ноги руками, Жильберта взглянула с острым любопытством на своего возлюбленного.

— Что же Морис, тебе уже совсем все равно быть со мной здесь наедине? Тебе нужен ангел, чтобы вдохновиться. Знаешь, это печально в твоём возрасте!

Морис, казалось, не слышал и спросил серьезно:

— Жильберта, чувствуешь ли ты около себя присутствие твоего ангела хранителя?

— Я? Нисколько. Я об этом никогда не думала... Впрочем, я верую все-таки. Во-первых, те, кто не верит, те, как скоты. Во-вторых, без религии нельзя быть порядочной; это невозможно.

— Да, пожалуй, так.—сказал Морис, глядя на лиловые полоски своей пиджамы без цветочков.—Когда ангел хранитель есть, о нем и не думаешь. А вот когда его нет, тогда вдруг почувствуешь свое одиночество.

— Итак, ты скучаешь без...

— То-есть, не скучаю, а...

— Да, да! Скучаешь... Ну, мой милый, утрата такого ангела хранителя, как этот, не слишком большая беда. О, грош ему цена, твоему Аркадию. В тот знаменитый день, когда ты покупал для него тряпье, он ухитрился без конца застегивать на мне платье, и я отлично почувствовала, как его рука... Одним словом, не слишком доверяй ему...

Морис зажег сигаретку и задумался. Они поговорили о шестидневных велосипедных гонках на зимнем велодроме и о неделе авиации в Брюссельской автомобильном клубе, не найдя в этой беседе никакого развлечения. Тогда они прибегли к любви, как к самому легкому развлечению, и им удалось забыться в достаточной мере, когда вдруг, в тот самый момент, в котором Жильберта должна была являть чувства и положения, свидетельствующие о наибольшей взаимности, она неожиданно привстала и воскликнула:

— Боже мой! Морис, как это было глупо с твоей стороны сказать мне, что мой ангел хранитель меня сейчас видит. Ты не можешь себе представить, как эта мысль меня стесняет!

Морис, раздосадованный, призвал несколько грубым образом свою подругу к спокойствию. Она заявила, что у нее есть свои взгляды на вещи, которые и препятствуют ей быть участницей любви вчетвером, если считать ангелов.

Морис жаждал увидеть Аркадия и не знал других мыслей. Он горько упрекал себя за то, что, расставаясь, потерял его след. День и ночь думал он, как его найти. На всякий случай он поместил в «почтовом ящике» большой газеты следующее об'явление: «Морис Аркадию. Вернитесь». Дни шли, но Аркадий не возвращался.

Однажды утром, в семь часов, Морис отправился в Сев-Сюльпис на мессу аббата Патуйля, и когда священник выходил из ризницы, он подошел к нему и попросил его выслушать. Они спустились вместе со ступеней крыльца и стали прогуливаться под ясным небом вокруг фонтана на площади. Несмотря на тревогу своей совести и трудность вызвать доверие к столь необыкновенному случаю, Морис рассказал, как его ангел хранитель явился ему и возвестил свое ужасное намерение покинуть его и заняться подготовкой нового восстания небесных духов. И молодой д'Эспарвье попросил у почтенного аббата совета, как ему найти небесного покровителя, без которого он не мог более существовать, и как возвратить ангела к христианской вере. Аббат Патуйль ответил тоном ласко-

вого сожаления, что его дорогое дитя наверное грезит, что за реальность здесь принята болезненная галлюцинация и что нельзя верить, будто добрые ангелы могут восстать против Бога.

— Вот и доказательство,—добавил он,—что нельзя безнаказанно вести рассеянную и беспорядочную жизнь. Кто думает иначе, тот ошибается... Избыток развлечений мутит разум и колеблет сознание. Дьявол завладевает чувствами грешника, чтобы проникнуть к нему в душу. Это он действует на вас, Морис, грубейшим обманом.

Морис настаивал, что он вовсе не был жертвой галлюцинации, что он не грезил, что он видел собственными глазами и слышал собственными ушами своего ангела хранителя. Он упорствовал:

— Господин аббат, одна дама, которая была со мной и которую нет нужды называть, тоже видела его и слышала его слова. И она даже ощущала прикосновение пальцев этого ангела, когда он... Одним словом, она ощущала его пальцы... Поверьте же мне, нет ничего более реального, более подлинного, чем это явление. Ангел был молод, очень красив, со светлыми волосами. Его тело в тени было как будто окутано каким-то молочно-белым светом. Он говорил тихим и ясным голосом.

Аббат прервал его:

— Уже это одно, дитя мое, свидетельствует, что вы грезили. По мнению всех демонологов, злые ангелы имеют голос хриплый и скрипучий, как ржавый замок, и даже тогда, когда им удастся придать своей внешности некоторое подобие красоты, они не могут подделаться под чистый и прекрасный голос добрых духов. Это обстоятельство, удостоверенное многочисленными свидетельствами, не подлежит никаким сомнениям.

— Но, господин аббат, ведь я же его видел! Совершенно голый, он уселся прямо в кресло на дамские черные чулки. Чего же вам еще надобно?

Аббат Патуйль остался непоколебим и перед этим доказательством.

— Повторяю вам, дитя мое, все эти прискорбные заблуждения и эти грезы глубоко расстроенной души сле-

дует отнести на счет весьма печального состояния вашей совести. И, мне кажется, я знаю то случайное обстоятельство, которое окончательно вывело из равновесия ваше расшатанное воображение. Этой зимой вы, находясь в очень дурном расположении духа, вместе с господином Сарием и дядей Газтаном, посетили однажды здесь в церкви капеллу Ангелов, где производилась тогда реставрация. Я недаром говорил, что живописцы должны как можно строже придерживаться правил христианского искусства, что их надлежит обязывать должному уважению к святому Писанию и его проверенным истолкователям. Эжен Делакруа не подчинил свой буйный талант требованиям традиции. Он все делал из головы и написал в этой капелле изображения, отдающие серой, как уже было про них когда-то сказано, композиции неистовые, страшные, которые вместо того, чтобы внушать людям мир, благость и созерцательность, повергают их души в смятение и тревогу. Лица ангелов возбуждены гневом; черты их сумрачны и зловещи. Это и впрямь Люцифер со своими сообщниками, замышляющие мятеж. И вот, дитя мое, эти-то изображения, подействовав на ваш мозг, ослабленный и расстроенный беспорядочной жизнью, и внесли в вашу душу смятение, в котором она сейчас пребывает.

Морис возразил на это:

— О, нет, господин аббат, вовсе нет! Не думайте же, что меня взволновала живопись Делакруа. Ведь я на нее почти и не смотрел. Искусство такого рода меня совершенно не трогает.

— Но поверьте мне, мой дорогой мальчик, нет ничего истинного, ничего действительного во всем, что вы мне рассказали. Ваш ангел хранитель не являлся вам.

— Господин аббат, — настаивал Морис, для которого свидетельство чувств было непререкаемым, — ведь я же видел, как он зашнуровывал башмаки одной даме и надевал на себя штаны самоубийцы.

И, топая ногой по асфальту, Морис взывал поверить его словам к небу, земле, всей природе, башням Сен-Сюльпис, стенам семинарии, фонтану, уличной уборной, киос-

ку извозчиков и такси, и станции автобусов, к деревьям, прохожим, собакам, воробьям, цветочнице и ее цветам.

Аббат спешил закончить беседу.

— Заблуждение, грех и обман все это, дитя мое! Вы христианин, думайте же по-христиански. Христианин не может допустить, чтобы его искушали пустые видения. Вера хранит его от искушений и ложных чудес: пусть верят им вольнодумцы! Нет такого вздора, который не могли бы они слушать. Но христианин владеет оружием, которое может рассеять дьявольское навождение—крестным знамением. Успокойтесь же, Морис, вы не утратили вашего ангела-хранителя. Он вечно печется о вас. Вы сами должны облегчить ему это тяжкое бремя. До свидания, Морис. Собирается дождь, я уже чувствую как ломит большой палец на ноге.

И аббат Патуйль удалился, держа под мышкой молитвенник и прихрамывая с достоинством, которое предвещало в нем будущего епископа.

В тот самый день, облокотясь на парапет, окаймляющий Монмартрскую лестницу, Аркадий и Зита созерцали дымы и туманы, вздымавшиеся над огромным городом.

— Может ли постигнуть ум,—сказал Аркадий,—сколько страданий и горя содержит большой город? Я полагаю, что если бы кто мог себе это представить, тот в ужасе от этого зрелища рухнул бы, как пораженный молнией.

— И, однако,—ответила Зита,—все, что дышит в этой геенне огненной, любит жизнь. Здесь великая тайна!

— Они несчастны, пока существуют, но им страшно расстаться с жизнью; в небытии они не ищут утешения; они не предвкушают в нем даже отдыха. Их неразумие заставляет бояться этого ничто, и они населяют его призраками. Взгляните на эти фронтоны, купола, шпицы и колокольни, поднимающиеся из тумана и увенчанные сверкающими крестами. Люди обожают демиурга, который устроил для них жизнь хуже смерти и смерть, худшую, чем эта жизнь.

Зита долго оставалась задумчивой и, наконец, заговорила:

— Я должна, Аркадий, сделать вам признание. Не жажда справедливости более справедливой или порядка более мудрого привела некогда Итурила на землю. Честолюбие, любовь к интриге, желание богатства и почестей сделали невыносимым для меня небесный покой, и я горела мечтой слиться с волнениями людского рода. Я сошла на землю и с помощью искусства, ведомого лишь немногим из ангелов, достигла того, что мое тело, меняя под и возраст, позволило мне испытать самые различные и самые удивительные судьбы. Сотни раз я занимала место в ряду любимцев века, князей роскоши и властелинов народа. Я не назову вам, Аркадий, громких имен, которыми я тогда называлась. Знайте только, что в разные века я царила в науках, в искусствах, в могуществе, роскоши и красоте над всеми народами мира. Наконец, несколько лет тому назад, путешествуя по Франции под видом знаменитой иностранки и блуждая однажды вечером в лесу Монморанси, я услышала флейту, которая говорила о печалих неба. Ее чистый и страдальческий голос разодрал мне душу. Я никогда еще не слышала ничего столь прекрасного. Глаза мои наполнились слезами и в горле теснились рыдания, когда я подошла ближе и увидала на поляне старика, похожего на фавна, который играл на деревенской свирели. То был Нектарий. Я бросилась к его ногам, облобызала его руки, его божественные уста, и убежала...

С тех пор, сознав ничтожество земных величий, устав от туманной пустоты человеческих дел, униженная воспоминанием о моем огромном и напрасном труде, я поставила более возвышенную цель самолюбию, я подняла глаза к небесной родине и дала обещание вернуться туда, неся с собой свободу. Я рассталась с моими титулами, моим именем, моим состоянием, моими друзьями и толпой моих обожателей и, превратившись в неведомую никому Зиту, стала работать в тишине и уединении над освобождением небес.

— И я также услышала флейту Нектария,—сказал Аркадий.—Но кто же этот старый садовник, вкладывающий

в простую свирель столь трогательный и столь прекрасный голос?

— Вы это скоро узнаете,—ответила Зита.

Глава шестнадцатая,

которая выводит на сцену поочередно ясновидящую Миру, Зефирину и фатального Амедея и которая иллюстрирует на ужасном примере Саргета ту мысль Эврипида, что Юпитер лишает мудрости тех, кого хочет погубить.

Разочарованный, что не мог просветить ум аббата, известного своей ученостью, и лишенный надежды сыскать своего ангела на путях истинной веры, Морис решил прибегнуть к оккультным знаниям и спросить совета у ясновидящей. Он, без сомнения, обратился бы прежде всего к мадам де-Теб; но он уже обращался к ней в своих первых любовных затруднениях, и она тогда ответила ему столь благоразумно, что он перестал считать ее колдуньей. Он попытался найти помощь у одной модной сомнамбулы, мадам Мира.

Ему приводили не мало примеров поразительной провидительности этой ясновидящей. Тем не менее говорили, что он должен пред'явить мадам Мира какой-либо предмет, который носил бы на себе или до которого касался тот отсутствующий, на которого хотели привлечь ее прозревший взор. Перебирая в уме, до каких предметов касался ангел в день своего воплощения, Морис вспомнил, что, пребывая в райской наготе, Аркадий уселся в кресло на черные чулки мадам Обель и что затем он помог этой даме одеться. Морис попросил у Жильберты что-нибудь, что могло пригодиться для ясновидящей, но она не могла предоставить ему ничего, кроме себя самой. Ибо ангел оказался тогда по отношению к ней весьма нескромным и слишком проворным, для того, чтобы можно было предупредить все его поползновения. Услышав это признание, несколько, впрочем, не новое для него, Морис вознегодовал на ангела, называя его именами самых

презренных животных и поклялся поддать его под зад коленом, если только он еще раз попадется ему где-либо. Но вскоре ярость его обратилась против мадам Обель. Он обвинил ее в том, что она сама вызвала все дерзости, на которые теперь жаловалась, и он приложил к ней в своем гневе все зоологические символы бесстыдства и безнравственности. Любовь же к Аркадию возгорелась в его сердце с новой силой и чистотой, и покинутый юноша, протирая руки, преклонив колена, призывал своего ангела с рыданиями и слезами.

В бессонные ночи Морис надумал, что талисманом для ясновидящей могла послужить одна из книг, которые перелистывал ангел до своего появления. Вот почему однажды утром он поднялся в библиотеку и обратился с приветствием к Сарриету, который все продолжал каталогизировать под романтическим взглядом Александра д'Эспарвье. Сарриет улыбался, смертельно бледный. Теперь, когда невидимая рука не переворачивала более книг, порученных его заботам, теперь, когда все в библиотеке пришло в порядок и успокоилось, Сарриет был счастлив, но сила его уменьшалась с каждым днем; от него оставалась лишь тень, легкая и утешенная.

«От горя прошлого средь счастья умирают».

— Господин Сарриет,—сказал Морис,—помните ли вы время, когда ваш книжный храм переворачивался вверх дном каждую ночь, когда ваши книжки расшвыривались, разбрасывались, разлетались в разные стороны и валялись в канавах на улице Палатина. Это было хорошее время! Так вот, покажите мне, пожалуйста, те книги, которые вели себя хуже всего.

Эти слова повергли Сарриета в мрачное оцепенение, и Морису пришлось повторить фразу трижды, прежде чем старый библиотекарь понял его и вытащил, наконец, очень древний иерусалимский Талмуд, как особенно часто попадавший в таинственные руки. Апокрифическое Евангелие, состоявшее из двадцати листиков папируса, также много раз покидало свое место; весьма часто, по видимому, перелистывалась и переписка Гассенди.

— Но,—прибавил Сарриет,—книга, которую чаще всего брал таинственный посетитель, это маленький Лукре-

ций в красном сафьяне с гербом Филиппа де-Вандома, великого приора Франции, с собственноручными заметками Вольтера, который, как известно, был близок к Тамплю в молодости. Страшный посетитель, который доставил мне столько хлопот, положительно не расставался с этим Лукрецием, и то была, если так выразиться, его настольная книга. Он понимал толк, потому что это прямо брильянт. Увы! на странице 137 чудовище оставило чернильное пятно, которое, пожалуй, не удалось бы считать всем химикам на свете.

Сарьет испустил глубокий вздох. Он пожалел, что столько наговорил, когда молодой д'Эспарвье вдруг потребовал дать ему этого Лукреция. Напрасно ревнивый хранитель ссылался, что книга в починке у переплетчика и не может быть выдана. Морис сделал знак, что на этом его не проведешь. Он решительно проник в залу Сфер и Философов и заявив, усевшись в кресло:

— Я жду.

Сарьет предложил другое издание латинского поэта. Есть много изданий, говорил он, более верных и предпочтительных поэтому для изучения. Он предлагал Лукреция Барбу, Лукреция Кутелье или, еще лучше, Лукреция во французском переводе. Морис мог бы остановить свой выбор на переводе барона Кутюра, правда, немного устарелом, на переводе Лагража, на переводе изданий Нивара и Панкука или, наконец, обратиться к переводам академика Понжервиля—одному в стихах, другому в прозе, но одинаково изящным.

— Мне нет надобности в переводах,—гордо воскликнул Морис.—Дайте мне Лукреция Вандома.

Сарьет медленно приблизился к шкапу, где хранилось сокровище. Ключи зазвенели в его дрожащей руке; он поднес их к замку, но тотчас же отдернул и предложил Морису дешевого Лукреция в издании Гарнье.

— Очень удобен для чтения,—сказал он с зазывающей улыбкой.

Но по молчанию, которым было встречено это предложение, он понял, что всякое сопротивление тщетно. Он медленно извлек книгу с полки и, уверившись, что на

ней нет ни пылинки, положил ее, весь дрожа, на стол перед правнуком Александра д'Эспарвье.

Морис стал ее перелистывать и, дойдя до страницы 137, посмотрел на пятнышко лиловых чернил размером с горошину.

— Вот,—сказал Сардет, не сводивший глаз с Лукреция,—вот след, который оставили на книге эти невидимые чудовища...

— Как? По вашему их было несколько?—воскликнул Морис.

— Этого я не знаю. Но я не уверен, следует ли мне стирать это пятно, которое, как чернильная клякса, сделанная Полем Луи Курье на флорентийском манускрипте, является своего рода литературным документом.

Едва старик успел произнести эти слова, как развучал звонок входной двери, шум шагов и чей-то громкий голос послышался в соседнем зале. Сардет бросился туда и наткнулся на старую Зефирину, подругу папа Гинардона, которая с разметанными, как гнездо змей, космами, с пылающим лицом, с вздымающейся грудью, с животом, похожим на пуховое одеяло, поднятое ужасной бурей, задыхалась от горя и ярости. И сквозь всхлипыванья, рыдания, стоны, вздохи и всяческие подобные звуки, которые, исходя из ее существа, являли собой все голоса, порождаемые на земле волнением живых существ и смятением природы, она кричала:

— Он убежал, он убежал, злодей! Он убежал вместе с ней. И он очистил все, забрал все и оставил меня с одним франком семьдесят сантимов в кошельке!

И она изложила длинно и беспорядочно, что Мишель Гинардон бросил ее, чтобы поселиться с Октавией, дочерью будущицы. Она извергала на изменника брань за бранью.

— Человек, которого я поддерживала деньгами более пятидесяти лет. У меня же есть и деньжонки, и связи, и все такое! Я вытащила его из нужды, и вот как он мне отплачивает. Хорош, этот ваш друг! Бездельник! Его надо одевать как младенца... пьяница! Гнусное существо! Вы его еще не знаете, господин Сардет... Ведь это мошенник. Он подделывает всяких Джотто и Фра Анджелико и Греко,

не моргнув глазом и продает их торговцам картинами, тоже и Фрагонаров и Бодуэнов, да... Это развратник, который не верует в Бога! И это хуже всего, господин Сарьет, потому что без страха Божия...

Еще долго Зефирина распространялась в изобличениях. И когда ей уже не хватало голоса, Сарьет воспользовался этим, чтобы успокоить ее и вернуть ей надежду. Гинардон возвратится: не забывают пятидесяти лет согласия и любви...

Эти кроткие увещания подняли новую бурю, и Зефирина поклялась, что она не забудет никогда оскорбления, которое только что ей нанесли, что она не пустит к себе злодея. И если он на коленях приползет просить у нее прощения, то она оставит его издыхать у ее ног.

— Вы не понимаете, значит, господин Сарьет, что я его презираю, ненавижу, что он мне отвратителен?

Шестьдесят раз подряд выказала она эти непреклонные чувства и шестьдесят раз поклялась, что не пустит к себе Гинардона, что не может его выносить даже на портрете.

Сарьет не стал бороться с решением, которое после таких уверений он считал непоколебимым. Он не осуждал Зефирины, он даже одобрял ее. Открыв перед покинутой более возвышенные горизонты, он изобразил ей шаткость человеческих чувств, поощрил ее отречение и посоветовал ей благочестивую покорность воле Божьей.

— Потому что, по правде говоря,—сказал он,—ваш друг так мало достоин привязанности...

Он не мог окончить. Зефирина кинулась на него и свирепо потрясла его за ворот сюртука.

— Мало достоин привязанности,—прохрипела она, задыхаясь,—мало достоин, он. Мишель... А! мой милый, найдите-ка еще другого такого ласкового, такого веселого, такого остроумного, такого как он, вечно молодого, вечно... Мало достоин привязанности. Хорошо видно, что вы ровно ничего не понимаете в любви, вы, старая пошва...

Воспользовавшись тем, что Сарьет был, как видно, очень занят, Морис д'Эспарье сунул в карман малень-

кого Лукреция и прошел нарочно мимо потрясенного библиотекаря, простившись с ним издала движением руки.

Снабженный этим талисманом, он помчался на площадь Терн, к мадам Мира, которая приняла его в красной с золотом гостиной, где не оказалось ни летучей мыши, ни жабы, ни иного какого-либо атрибута старинной магии. Мадам Мира, дама уже на возрасте, в платье цвета сливы, с напудренными волосами, имела очень приятный вид. Она говорила с изяществом и претендовала на способность открывать сокровенное исключительно с помощью науки, философии и религии. Она потрогала сафьяновый переплет и, полузакрыв глаза, старалась разглядеть латинское заглавие и герб, в которых не понимала ничего. Привыкнув, чтобы ей представляли кольца, платки, письма, волосы, она не могла постигнуть, какого рода лицу должна была принадлежать эта странная книга. С привычной и машинальной хитростью она скрыла свое действительное удивление под удивлением притворным.

— Это странно...—пробормотала она,—очень странно... Я различаю лишь смутно... Я вижу женщину...

Противнося это магическое слово, она взглянула украдкой, какое впечатление произвело оно, и прочла на лице своего клиента непредвиденное разочарование. Заметив, что ошиблась, она переменила тотчас же предсказание.

— Но она вдруг исчезла... Это очень, очень странно... Я различаю смутно какую-то неопределенную форму, какое-то туманное существо...

И уверившись, что на этот раз ее слова попали в цель, она распространилась о двойственности видимого ею лица, о дымке, которой оно окутано.

Видение понемногу обрисовывалось яснее и яснее перед взглядами мадам Мира, которая следила за ним шаг за шагом.

— Большой бульвар... площадь со статуей... пустынная улица, лестница. Там, в голубоватой комнате... это молодой человек, его лицо бледно и озабоченно. Есть вещи, которые он как будто сожалеет и которых он не совершил бы, если бы это было еще возможно...

Но действие пророчества было слишком велико. Усталость помешала ясновидящей продолжать свои трансцендентные поиски. Она истощила последние силы, чтобы порекомендовать своему клиенту остаться в единении с Богом, если он желает найти то, что потерял, и успеть в своих намерениях.

Морис положил, уходя, золотой на камине и удалился взволнованный, потрясенный и убежденный, что мадам Мира обладала сверхъестественными способностями, к сожалению, недостаточными.

Внизу лестницы он вспомнил, что оставил маленького Лукреция на столе у пифии и, подумав, что старый маинак не переживет утраты этой книжки, вернулся за ней. При входе в отческий дом перед ним выросла горестная тень. То был Сарнет, попросивший жалобным, как ноябрьский ветер, голосом своего Лукреция. Морис небрежно вытащил его из кармана пальто.

— Не убивайтесь, господин Сарнет. Вот оно, ваше сокровище!

Библиотекарь унес, прижимая к груди, возвращенный ему брильянт и тихонько положил его на синее сукно стола, обдумывая, куда можно было бы спрятать его повернее и перебирая в своем уме проект за проектом. Но кто из нас может похвастаться своей мудростью? Невелико предвидение человеческое и ошибочны человеческие расчеты. Удары судьбы неотвратимы, и никто не может избежать своей участи.

Предосторожности и советы рассудка бессильны против рока. Несчастные мы, ибо эта слепая сила, управляющая планетами и атомами, образует из наших превратностей порядок вселенной. Наши бедствия необходимы в гармонии миров. Тот день был днем переплетчика, одним из двух дней в году, приходившихся под знаком Тельца и под знаком Весов. В тот день с утра Сарнет готовил отправку в переплет; он расставлял на столе книги, недавно приобретенные и найденные заслуживающими кожаного или картонного переплета, а также те, которые нуждались в починке, составив тщательнейшим образом их подробное описание. Ровно в пять часов слу-

жащий от Леже Массие, переплетчика с улицы Аббэ, старый Амедей, являлся в библиотеку д'Эспарвье и после двойной проверки, произведенной Сарриетом, сваливал все книги, отправлявшиеся к его хозяину, на кусок холста, после чего завязывал его четыре угла и поднимал мешок себе на плечи. Уходя, он прощался с Сарриетом, говоря:

— Мое почтение.

И спускался по лестнице.

Все это точно так же произошло и на сей раз. Но Амедей, которому подвернулся под руку Лукреций, лежавший на столе, невинно сунул его в свою связку и унес с прочими книгами, так что Сарриет даже не заметил этого. Библиотекарь ушел из залы Сфер и Философов, совершенно позабыв о книге, отсутствие которой еще сегодня было для него источником такого жестокого беспокойства. Строгие судьи, пожалуй, увидят в этом непростительный промах. Но не лучше ли сказать, что судьба решила так. То, что мы именуем случайностью и что составляет на самом деле закон природы, совершило это маленькое происшествие, последствия коего оказались ужасными, по мнению людей.

Сарриет отправился обедать в кофейню Quatre-Evêques и прочитал там свою газету. Он был спокоен и ясен душой. Лишь на другой день, войдя в залу Сфер и Философов, он вспомнил о Лукреции и, не видя его на столе, стал искать его повсюду и не мог найти нигде. Ему не пришло в голову, что Амедей мог захватить книгу нечаянно. Ему почудилось возвращение невидимого посетителя, и его охватила страшная тревога.

Злосчастный хранитель, услышав какой-то шум на площадке, открыл дверь и увидел маленького Леона, который в кепи с галуном, крича «Да здравствует Франция», бросал половые щетки, суконки, метелки и мастику Ипполита в воображаемых врагов. Мальчиж любил устраивать свои воинственные игры на этой площадке, более чем в какой-либо иной части дома, и иногда он пробирался даже в библиотеку. Сарриет заподозрил его в том, что он унес Лукреция и обратил его в метательное оружие; строгим голосом библиотекарь потребовал от не-

го книгу. Мальчик сказал, что не брал книги, и Сарьет прибегнул к обещаниям.

— Леон, если ты мне принесешь красненькую книжечку, я тебе дам шоколаду.

Мальчик задумался. Вечером, когда Сарьет спускался по лестнице, он встретил Леона, который сказал ему:

— Вот она, книга.

И протянув ему растрепанную «Историю Грибулля», он потребовал свой шоколад.

Несколько дней спустя Морис получил по почте проспект розыскного агентства, управляемого бывшим служащим префектуры, которое обещало быстроту и секретность исполнения. Он нашел по указанному адресу озабоченного и мрачного господина в усах, который потребовал задаток и обещал вести поиски лично.

Бывший служащий префектуры написал ему вскоре, уведомляя, что им начаты требующие больших расходов поиски, и требуя новый денежный взнос. Морис не дал денег и решил искать сам. Собразив не без основания, что ангел должен был водиться с бедняками, потому что у него не было денег, и с изгнанниками всех стран, в качестве революционера, он обегал все меблированные комнаты в районе Сент-Иана, Ла-Шапель, Монмартра и итальянской заставы, все притоны, где спят вповалку, все кабаки, где подают рубцы и где дают рюмку разноцветной смеси за три су, и все погреба рынков и дядю Моми. Морис побывал в ресторанчиках, где питаются анархисты и нигилисты. Он встречал там женщин, переодетых мужчинами, и мужчин, переодетых женщинами, встречал мрачных и зловещих юношей и восьмидесятилетних старцев с голубыми глазами, которые смеялись как дети. Он искал, расспрашивал, был принят за сыщика, получил удар ножа от одной очень красивой женщины и уже на следующий день продолжал свои поиски в кабаках, меблированных комнатах, публичных домах, притонах, в балаганах и буфетах за стенами укреплений, у старьевщиков и среди анадшей.

Видя его похудевшим, возбужденным, молчаливым, его мать тревожилась.

— Надо его женить,—говорила она,—как жаль, что у мадемуазель де-ла-Вердьер нет хорошего приданого.

Аббат Патуйль не скрывал своего беспокойства.

— Наш мальчик,—говорил он,—переживает нравственный кризис.

— Я думаю скорее,—отзывался Ренэ д'Эспарвье,—что он находится под влиянием какой-нибудь скверной женщины. Надо найти ему занятие, которое поглотило бы его и льстило его самолюбию. Я попробую устроить его секретарем комитета охранения деревенских церквей или адвокатом-консультантом союза католических ремесленников.

Глава семнадцатая,

в которой узнают, что Софар, столь же алчущий золота, как сам Маммон, предпочел своей небесной родине Францию, благословенную землю сбережения и кредита, и которая еще раз показывает, что имущий страшится всяческих перемен.

Аркадий тем временем вел жизнь скромную и трудовую. Он работал в типографии на улице Сен-Бенуа и жил в мансарде на улице Муфтар. Когда его сотоварищи устроили стачку, он оставил типографию и посвятил свои дни пропаганде, которую вел столь успешно, что присоединил к сторонникам восстания более пятидесяти тысяч тех ангелов хранителей, которые, по мнению Зиты, были недовольны своим положением и пропитаны идеями века. Но ему не доставало денег, двигателя освобождения, и он не располагал в достаточной мере временем, чтобы просвещать сынов неба. Подобным же образом князь Истар из-за недостатка денег изготовлял меньше бомб, чем следовало, и притом менее блестящего качества. Правда, он делал много карманных бомбочек. Он наполнял ими квартиру Теофиля и забывал их ежедневно на диванах кафе. Но хорошая, удобная, элегантная бомба, могущая вместе с тем уничтожить несколько больших домов, стоит от двадцати до двадцати пяти тысяч франков. И у князя Истара было всего лишь две бомбы такого сорта.

Одинаково желавшие добыть денег, Аркадий и Истар отправились вместе искать поддержки к знаменитому финансисту Макс Эвердингену, который руководит, как известно всякому, самым большим кредитным учреждением Франции и всего света. Немногим, однако, известно, что Макс Эвердинген не рожден женщиной, что он павший ангел. Такова тем не менее истина. Он именовался в небе Софаром и был казначеем Иалдабаофа, большого любителя золота и драгоценных камней. При исполнении своих обязанностей Софар возгорелся такой любовью к богатству, которую нельзя удовлетворить в обществе, не знающем ни биржи, ни банков. Его сердце пылало горячей любовью к богу иудеев, которому он и оставался верен долгие века. Но в начале XX столетия христианской эры, обратив с высоты небес взоры на Францию, он увидел, что в этой стране, под именем республики, образовалась плутократия и что под видом демократического управления крупные финансисты пользовались здесь верховной властью без всякого надзора и ограничения. С тех пор пребывание в Эмпирее стало для него невыносимым. Он стремился к Франции, как к своему избранному отечеству, и однажды, захватив с собой все драгоценности, какие мог, спустился на землю и поселился в Париже. Этот корыстный ангел сделал здесь большие дела. После материализации в лице его не осталось ничего небесного: оно воспроизводило во всей чистоте семитический тип и было покрыто теми морщинами и складками, которые бороздят лица банкиров и которые мы находим еще у «мелня» Квентина Маткиса. Его дебют был скромн, его успехи безумны. Он женился на очень некрасивой женщине, и в своих детях они оба могли видеть себя, как в зеркале. Дворец барона Макса Эвердингена, который возвышается на холмах Трокадеро, набит битком разными достопримечательностями христианской Европы.

Барон принял Аркадия и князя Истара в своем рабочем кабинете, одной из самых простых комнат дворца. Ее потолок украшен фреской Тьеполо, перенесенной из какого-то венецианского палаццо. В кабинете стоит бюро регента Франции, Филиппа Орлеанского. Там находится множество шкапов, витрин, картин и статуй.

Аркадий окинул взглядом стены.

— Как это так, о, брат мой Софар,—сказал он,—как это вы, хранящий в себе еще израелитское сердце, так худо исполняете веление вашего Бога, Который сказал: не сотвори себе кумира и всякого подобия. Я вижу здесь Гудоновского Аполлона и Гебу Лемуана, и несколько бюстов Каффъери. И как Соломон в старости, вы, о, сын Божий, вы поместили в вашем жилище чужеземных идолов, ибо таковы эта Венера Буше, этот Юпитер Рубенса и эти нимфы, обаянные кисти Фрагонара красноморданным вареньем, которое течет по их смеющимся ягодицам. И вы сохраняете, Софар, в одной этой витрине скипетр святого Людовика, шестьсот жемчужин из ожерелья Марии Антуанетты, императорский плащ Карла Пятого, тиару, украшенную Гиберти для папы Мартина V Колонна, шпагу Бонапарта... Что еще?

— Безделицы!—улыбнулся Макс Эвердинген.

— Милейший барон,—сказал князь Истар,—у вас есть даже кольцо, которое Карл Великий надел на палец одной фее и которое считалось пропавшим... Но обратимся к нашему делу. Мой друг и я пришли попросить у вас денег.

— Конечно!—ответил Макс Эвердинген.—Всем нужны деньги, но для различных целей. Для чего, именно, вам нужны деньги?

Князь Истар ответил просто.

— Чтобы устроить революцию во Франции.

— Во Франции?—повторил барон,—во Франции? Ну, так знайте же, я вам не дам денег на это, можете быть спокойны.

Аркадий не скрыл, что он ожидал от своего небесного собрата большей щедрости и более широкой помощи.

— Наш план,—объяснил он,—весьма обширен. Он обнимает небо и землю. Он продуман во всех подробностях. Мы устроим сперва социальную революцию во Франции, в Европе, на всей земле и затем внесем войну в пределы неба и установим там мирную демократию. Но, чтобы овладеть твердынями неба, чтобы диспровергнуть Гору, чтобы взять приступом небесный Иерусалим, нужна огромная армия, нужны колоссальные материалы, чудо-

вищные средства борьбы, нужны электрофоры неслыханной до сей поры мощности. Мы не можем добыть себе всего этого. Революцию же в Европе можно устроить гораздо дешевле. Наше намерение начать с Франции.

— Вы сумасшедшие,—вскричал барон Эвердинген,— сумасшедшие и глупцы. Послушайте меня: нет ни одной реформы, которую следовало бы совершить во Франции. Здесь все совершенно, закончено, неизменяемо. Вы слышите: неизменяемо!

И чтобы придать больше силы своему утверждению, барон Эвердинген стукнул три раза кулаком по бюро Филиппа Орлеанского.

— Наши взгляды не сходятся,—кратко заметил Аркадий.—Я, как и князь Истар, находим, напротив, что здесь все следовало бы изменить. Но к чему спорить? И поздно спорить. Мы пришли говорить с вами, о, мой брат Софар, от имени пятисот тысяч небесных духов, решивших завтра же начать всемирную революцию.

Барон Эвердинген кричал, что все они сорвались с цепи, что он не даст ни одного су, что преступно и безумно подымать руку на удивительнейшую вещь в мире, на то, что делает землю более прекрасной, чем небеса—на финансы.

Он говорил, как поэт и пророк, его сердце трепетало святым энтузиазмом, он указывал на французское Сбережение, добродетельное Сбережение, целомудренное и чистое Сбережение, подобное деве из Песни Песней, идущей из деревенских глубин в сельском наряде к жениху, который ее ждет, к могучему и блистательному Кредиту. И он указывал на Кредит, счастливый дарами своей супруги, изливающий на все народы мира потоки золота, которые, просачиваясь тысячью невидимых ручейков, возвращаются еще более обильные на благословенную почву, их породившую.

— Благодаря Сбережению и Кредиту, Франция сделалась новым Иерусалимом, который светит всем нациям Европы, и короли являются лобызать ее ноги. И это вы хотите разрушить! Вы нечестивцы и святотатцы!

Так говорил ангел финансист. Невидимая арфа сопровождала его слова, и его глаза метали молнии.

Между тем, Аркадий, небрежно облокотясь на бюро Регента, развернул перед взором барона план почвы, подпочвы и неба Парижа, на котором красными крестами были отмечены пункты, где бомбы будут одновременно заложены в погреба и подвемелья, брошены на улице, скинуты флотилией аэропланов. Все финансовые учреждения и, в особенности, банк Эвердингена и его отделения были отмечены красными крестами.

Финансист пожал плечами.

— Оставьте! Вы бедняки и бродяги, преследуемые всеми полициями мира. У вас нет ни гроша. Каким образом достанете вы столько снарядов.

В виде ответа князь Истар достал из кармана маленький медный цилиндр, который он изящным жестом предложил барону Эвердингену.

— Видите,—сказал он,—этот простой цилиндрик? Мне достаточно было бы уронить его здесь на пол, чтобы мгновенно обратить в кучу дымящихся развалин ваш огромный дворец со всеми обитателями и зажечь пожар, который пожрал бы весь квартал Трокадеро. У меня их десять тысяч; я изготавливаю три дюжины в день.

Финансист попросил керуба убрать бомбу в карман и сказал примирительным тоном.

— Послушайте, друзья мои. Отправляйтесь тотчас же устраивать революцию в небе и оставьте в покое эту страну. Я подпишу вам чек. Вы достанете с его помощью все, что вам нужно, чтобы атаковать небесный Иерусалим.

И барон Эвердинген уже комбинировал в своем уме великопечное дело с электрофорами и военными поставками.

Глава восемнадцатая,

где начинается рассказ садовника, развертывающий перед нами судьбы мира в рассуждении столь же величественном и великолепном по взглядам, сколь узки и скучны рассуждения о всеобщей истории Боссюета.

Садовник усадил Аркадия и Зиту в глубине сада, в беседку, заросшую диким виноградом.

— Аркадий, — сказала Зита, — Нектарий пробудит, быть может, сегодня в твоей памяти то, что ты горишь желанием знать. Попроси его начать рассказ.

Аркадий попросил, и старый Нектарий, отложив в сторону свою трубку, начал такими словами:

— Я знал его: то был прекраснейший из Серафимов. Он блистал умом и отвагой. Его обширное сердце вмещало все качества, рожденные гордостью: искренность, мужество, постоянство в испытании, упрямую надежду. В то время, которое было до времен, в полуденном небе, где горят семь магнетических звезд, жил он во дворце из бриллиантов и золота, звучащем каждую минуту от шума крыл и песен торжества. Ягве на своей горе завидовал Люциферу.

Вы оба знаете, что ангелы, как люди, чувствуют в себе семя любви и ненависти. Способны иногда они на благородные решения, но слишком часто повинуются выгоде и уступают страху. Тогда, как и теперь, они себя являли неспособными к высоким мыслям, и страх перед Творцом была единственная добродетель. Люцифер, который ненавидел все низкое, презирал эту толпу покорных духов, наполнявшую правдники и игры, но тех, что оживлял дух дерзкий, беспокойная душа, тех, что воспламеняла дикая любовь к свободе, дарил он дружбой, за которую платили ему обожанием. Они во множестве покидали Гору Господню и оказывали Серафиму почести, которых желал лишь себе Другой.

— Я принадлежал к чину Власти, и мое имя Аласиил было не бесславно. Чтобы успокоить дух, терзаемый ненасытимой жадной все знать, все понимать, я наблюдал природу вещей, я изучал свойства камней, воздуха и воды, я исследовал законы, которые управляют материей, как грубой, так и тонкой, и, после долгих размышлений, понял, что вселенная образовалась совсем не так, как предполагаемый ее создатель старался нас уверить. Узнал я, что все, что существует, существует само собою, не по капризу Ягве, что мир себе Творец и Дух, себе свой Бог. С тех пор я стал презирать Ягве за его ложь и лишь за то, что он был врагом всего находимого мной нужным и благим: свободы, любознательности и сомнений. Эти чувства

приблизили меня к Серафиму. Я преклонялся перед ним, любил его; я жил в его сиянии. Когда, наконец, оказалось, что надо сделать выбор между ним и Тем Другим, я перешел на сторону Люцифера; я был полон гордости служить ему, желанья разделить его судьбу.

Как скоро война оказалась неминуемой, он стал готовиться к ней с неустанной энергией и со всей изобретательностью расчетливого ума. Обратив Престоли и Власти в Халибов и Циклопов, он добыл из гор, окружающих его владения, железо, которое он предпочитал золоту, и выковал оружие в пещерах Неба. Затем он собрал в пустынных равнинах полуночи мириады Духов, вооружил их и обучил. Хотя все это он приготавливал в тайне, однако, замысел его был слишком обширен, чтобы вскоре же о нем не был предупрежден противник.

Можно сказать, что Другой уже давно это предвидел и ожидал, потому что он устроил из своего жилища твердыню, из ангелов образовал ополчение, себе же самому дал имя Бога Воинств. Он приготовил свои громы. Более половины небесных сынов остались верны ему, он видел вокруг себя толпу послушных душ и терпеливых сердец. Архангел Михаил, не знавший страха, стал во главе этих послушных войск.

Как только Люцифер увидел, что армия его не может ни увеличиться в числе, ни в качестве улучшиться, он бросил ее на врага и, обещая своим ангелам богатства и славу, во главе их двинулся к горе, которая несет на своей вершине престол вселенной. Три дня мы пожирали полетами эфирные равнины. Над нашими головами развевались черные знамена восстания. Уже Гора Господня нам розовой казалась в восточном небе, и наш вождь уже измерял глазами ее блистательную ограду. Под сапфировыми стенами расположились вражеские войска, которые блестели золотом и драгоценными камнями, тогда как мы шли покрытые бронзой и железом. Их алые и голубые знамена развевались по ветру и искры загорались на остриях их копий. Скоро обе армии были отделены друг от друга только узким промежутком, полоской ровной пустынной местности, вид которой заставлял содрогать-

ся даже самых храбрых при мысли, что там в кровавой схватке, решатся судьбы.

Ангелы, вы знаете, не умирают. Но когда медь, железо, острый алмаз или пламенный меч разрушают их нежное тело, они испытывают более жестокие страдания, чем люди могут испытать, потому что плоть их более тонка; если же затронуть какой-либо существенный орган, они падают без движения, медленно разлагаются, затем собираются в туманные пятна и носятся долгие годы в холодном эфире. И когда, наконец, в них снова входит дух вместе с формой, у них не все остается в памяти о прошлой жизни. Поэтому весьма естественно, что ангелы боятся страданий и что самые храбрые из них трепещут от мысли потерять свет и сладкие воспоминания. Если бы было иначе, то ангельское племя не знало бы ни красоты борьбы, ни славы жертвы, и те, кто сражались в эмпиреях, до начала Времен, за или против Бога Воинств, давали бы друг другу без чести лишь притворные битвы, и я тогда не мог бы сказать вам, дети, с заслуженной гордостью: я там был.

Люцифер дал знак к бою и бросился в него первым. Мы обрушились на неприятеля, надеясь его сломить тотчас и с первого же натиска захватить священную твердыню. Воины ревнивого Бога, менее пылкие, но не менее стойкие, чем наши, оставались непоколебимыми. Архангел Михаил руководил ими со спокойствием и твердостью великого сердца. Три раза мы пытались прорвать их линии, и три раза они выставляли против наших железных грудей пламенеющие острия копий, способных пронзить самые крепкие латы. Миллионами падали светлые тела. Наконец, наше правое крыло прорвало левое крыло врага, и нам поворотили спину Начала, Власти, Силы и Престола, которые бежали, сверкая пятками, в то время как ангелы третьего круга летели, потеряв голову, над ними и осыпали их снегом перьев, смешавшихся с дождем кровавым. Мы пустились преследовать их среди обломков колесниц и груд брошенного оружия и еще ускорили их проворное бегство... Вдруг наш слух поражает буря криков, вздымается, близится, полная отчаянных рычаний и победных кликов: правое крыло врага,—гигантские ар-

хангелы Всевышнего,—устремились на наш левый фланг и смяли его. Нам пришлось бросить преследование и поспешить на помощь к расстроенным войскам. Наш князь летит туда, восстанавливает бой. Но левое крыло врага, которое мы не успели разбить до конца, не чувствуя больше против себя ни стрел, ни копий, воспрянуло духом, повернулось и снова бросилось на нас.

Ночь остановила нерешительное сражение. Меж тем, как под покровом тьмы, в тишине, прерываемой изредка стоном раненых, войска отдыхали, Люцифер готовил день второй. Перед зарей трубы трубят пробуждение. Наши воины захватывают неприятеля в час молитвы, рассеивают его и начинается долгая бойня. Когда все пали или бежали, архангел Михаил, один, окруженный многими четырехкрылыми пламенными соратниками, еще сопротивлялся натиску неисчислимых войск. Они отступили, не поворачивая спины, и Михаил еще хранил в лице бесстрашие.

Солнце было на трети своего пути, когда мы начали взбираться на Гору Господнюю. То был трудный подъем; пот струился по нашим лицам, яркий свет слепил нас.

Легкие крылья едва могли нести нас, обремененных латами, но надежда давала нам другие крылья, что подымали нас.

Прекрасный Серафим лучезарной рукой все выше и выше указывал нам путь. Целый день мы поднимались на крутую гору, которая оделась к вечеру в лазурь, розы и опал. Полчище звезд появилось на небе, как отражение нашего оружия. Молчанье бесконечное парило над головами. Мы шли опьяненные надеждой. Вдруг в потемневшем небе брызнул свет, загремел гром, и с высоты облачной горы небесный огонь пал. Наши каски, наши латы сплавилась от жара, и щиты разбивались под глыбами, брошенными невидимой рукой. Люцифер в урагане огня хранил свою гордость. Напрасно поражал его гром с удвоенной силой, он стоял, бросая вызов врагу. Наконец, гром небесный, поколебав гору, сбросил нас в беспорядке вниз, вместе с огромными глыбами сапфира и рубина, и, потеряв сознание, мы покатались в течение времени, которого никто не мог измерить.

Отнулся я в жалобных сумерках. И когда мои глаза привыкли к густой темноте, я заметил вокруг себя своих соратников, лежащих тысячами на сернистой земле, куда падал свинцовый свет. Мои глаза различали лишь серные дымящиеся кратеры и отравленные болота. Горы льда и моря мрака закрывали горизонт. Медное небо давило нас. И ужас этого места был так велик, что мы варыдали, скорчившись, облокотившись на колени, сжав щеки кулаками.

Но скоро, подняв глаза, я увидел Серафима, воздвигавшегося предо мной, как башня. На его прежнее великолепие скорбь наложила темное и пышное убранство.

— Товарищи,—сказал он нам,—нам надо поздравить друг друга и радоваться, потому что вот мы освобождены от небесного рабства. Здесь мы свободны, и лучше в аду свобода, чем рабство в небе *). Мы не побеждены, раз у нас осталась к победе воля. Уже поколеблен нами престол завистливого Бога, и нами будет он разрушен. Встаньте, товарищи, горе сердца!

Тотчас же на его призыв мы стали громоздить гору на гору, втащили на высоту приспособления, которые стали метать раскаленные скалы в обитель Божью. Небесное воинство не ожидало этого, и из победного стана раздались стоны и крики ужаса. Уж думали войти мы победителями в нашу высокую отчизну, но Гора Господня оделась светом, и гром, упав на наше сооружение, испепелил его.

После этой новой неудачи Серафим погрузился на некоторое время в раздумье, охватив голову руками. Наконец, он показал свое потерневшее лицо. Теперь это был Сатана, еще более грозный, чем Люцифер. Верные ангелы стеснились вокруг него.

— Друзья,—сказал он нам,—если мы еще не победили, то это значит, что мы недостойны и неспособны победить. Узнаем то, чего нам не хватало. Господствовать над природой, покорить царство вселенной и сделаться Богом можно только через познание. Нам надо овладеть промом и молнией, и к этому мы должны приложить непрерывные усилия. Ибо не слепое мужество (не было ни

*) „Better to reign in Hell, than serve in Heaven“. *Paradise Lost*, book 1.
254.

кого храбрее вас в эти дни) покорит небесную твердыню, а изучение и размышление. И в этом немом обиталище, куда мы низвергнуты, станем же думать, станем отыскивать скрытые причины вещей. Будем изучать природу, исследуем ее со всем пылом и победительным желанием, постараемся проникнуть в ее бесконечное величие и бесконечную малость, раскроем, когда она бесплодна и когда она плодоносна и как дает она тепло и холод, радость и горе, жизнь и смерть, как собирает и разделяет она свои элементы, как творит и прозрачный воздух, которым дышим, и алмазные и сапфирные горы, откуда мы были свергнуты, и божественный огонь, который обуглил нас и гордые мысли, которые волнуют наш дух. Покрытые глубокими ранами, терзаемые пламенем и льдом, воздадим благодарность судьбе, которая позаботилась открыть нам глаза, и возрадуемся ей и нашей участи. Только через страдание, данное нам первым соприкосновением с природой, нам суждено познать ее и покорить. Когда она нам подчинится, богами станем. Но если даже она и навсегда скроет от нас свои тайны, откажет нам в помощи и не откроет тайну молнии, все равно мы должны радоваться, что узнали страдание, раз оно пробудило в нас новые чувства, более драгоценные и более сладостные, чем все те чувства, которые испытывали мы в вечном блаженстве, раз оно вдохнуло в нас любовь и жалость, незнакомые небесам.

Эти слова Серафима претворили наши сердца и открыли нам новые надежды.

Безграничное желание познать и любить переполняло нам грудь.

Тем временем земля рождалась. Ее бесконечные туманные очертания с часу на час сжимались и крепились.

Воды, которые питали водоросли, кораллы, раковины носили на себе легкие стаи моллюсков, и не покрывали уже больше ее всю целиком. Руслу рек прорезали ее, и уже показались континенты там, где во влажном иле ползали чудовищные амфибии. Затем горы покрылись лесами, и разные племена зверей начали пастись на мхах и на траве, питаться ягодами кустарников и жолудями дубов.

Затем появился в пещерах и убежищах под скалами

тот, кто мог острым камнем убивать диких зверей и хитростью приручать древних обитателей лесов, долин и гор. Трудно было начало человеческого царствования. Он был слаб и гол. Редкая шерсть плохо предохраняла его от холода. Его руки оканчивались когтями, слишком мягкими, чтобы бороться против когтей диких зверей; но его большой палец давал ему возможность легко схватывать самые разнообразные предметы, отсутствие силы возмещалось ловкостью. Не отличаясь существенно от остальных животных, он был способнее, чем кто другой, наблюдать и сравнивать. Так как он извлекал из своей гортани разнообразные звуки, то он изобрел способ обозначать особыми изменениями голоса каждый предмет, который поражал его чувства, и эта последовательность различных звуков помогла ему определять и сообщать свои мысли. Его несчастная доля и его беспокойный дух внушили к нему симпатию побежденных ангелов, которые угадали в нем дерзновенность, подобную их собственной, и ростки той самой гордости, которая явилась причиной их мучений и их славы. Они явились в большом количестве жить около него на этой молодой земле, где их легко носили крылья. Им нравилось изощрять его ум и воспитывать его талант. Они научили его одеваться в шкуры диких зверей и наваливать камни перед входом в пещеры, чтобы не было доступа тиграм и медведям. Они показали ему, как добывать огонь, вертя палку в сухих листьях, и как хранить священное пламя на камне очага. Под влиянием изобретательных демонов, человек осмелился переезжать реки в выдолбленных стволах деревьев, он придумал колесо, жернов и телегу; соха разодрала землю плодоносной раной, и зерно дало тем, кто его растирал, божественную пищу. Он вылепил из глины утварь и сделал из кремня различные орудия. Так, живя все время среди людей, мы утешали их и наставляли. Мы не всегда им были видимы, но по вечерам на поворотах дорог мы являлись им в образах часто странных и смешных, иногда величавых или прекрасных; мы по желанию принимали облик то лесного или водяного чудовища, то почтенного старца, прелестного ребенка или

женщины с широкими бедрами. Порой нам случалось смеяться над ними в своих песнях или испытывать их ум какойнибудь живою шуткой. Иные из нас, несколько буйного нрава, любили мучить их женщин и детей, но мы всегда готовы были придти на помощь этим младшим братьям.

Благодаря нашим стараниям, их способности развились настолько, чтобы впасть в заблуждение и ложно сопоставлять вещи. Считая, что магическая связь соединяет образ с реальностью, они покрывали фигурами животных стены своих пещер и вырезали из слоновой кости фигурки оленей и мамонтов, чтобы обеспечить себе добычу, изображенную в этих фигурах. Века проходили с бесконечной медленностью в младенчестве их гения. Мы посылали им во сне счастливые мысли, подсказывая, как об'езжать лошадей, холостить волов, учить собак, стеречь овец. Они постепенно создали семью, племя. Както на одно из их кочующих племен напали свирепые охотники. Тотчас же молодые люди этого племени устроили из повозок изгородь, куда они укрыли женщин, детей, стариков, волов и все имущество, и через повозки забросали нападающих тяжелыми камнями. Так был основан первый город. Рожденный слабым и осужденный на убийство законом Ягве, человек закалил свое сердце в боях; войне обязан своими высшими добродетелями. Он освятил своею кровью священную любовь к родине, которая должна будет, если только человек до конца исполнит свое назначение, охватить и успокоить в мире всю землю. Один из нас, Дедал, дал человеку топор, отвес и парус. Таким образом, мы сделали существование смертных менее суровым и менее трудным. Они построили на озере деревни тростниковые, где могли вкушать раздумчивый покой, неведомый другим обитателям земли, и когда они научились утолять голод без особо тяжких усилий, мы вдохнули в их грудь любовь к красоте.

Они воздвигли пирамиды, обелиски, башни, колоссальные статуи, которые улыбались сурово и строго, и детородные символы. Научившись нас узнавать или, по крайней мере, угадывать, они почувствовали к нам страх и дружбу. Самые мудрые из них следили за нами со свя-

щенным ужасом и раздумывали над нашими поучениями. В своей благодарности народы Греции и Азии посвящали нам камни, деревья, тенистые рощи, приносили нам жертвы, пели гимны; мы стали для них, наконец, богами, и они называли нас Горусом, Изидой, Астартой, Зевсом, Палладой, Кибелой, Деметрой и Триптолемом. Сатане они поклонялись под именами Диониса, Эвана, Якка и Ленея. Он проявлял в своих явлениях столько силы и красоты, сколько доступно вместить разуму человека. Его глаза имели нежность лесных фиалок, на его губах горел рубин вскрытых гранат; пух более нежный, чем бархатистость персика, покрывал его щеки и подбородок; его белокурые волосы, лежавшие венцом и мягко связанные на макушке, были плющем увиты. Он чаровал диких зверей и, проникая в глубину лесов, привлекал к себе все непокорные души, все, что ютилось в деревьях и выглядывало сквозь ветки искристыми зрачками, всех яростных и сторожких существ, питавшихся горькими ягодами, в чьей мохнатой груди билось дикое сердце, лесных полулюдей, которым он оказал добро и ласку и которые следовали за ним, опьяненные радостью и красотой. Он посадил лозу и научил смертных давить гроздья, чтобы добывать вино. Великолепный и благотворящий, проходил он землю, последуемый длинным cortejem. Чтобы сопровождать его, я принял форму козлоногого: на лбу у меня торчало два рога, мой нос был приплюснут и уши заострены; два желвака, как у козы, свисали с моей шеи; сзади мотался козлиный хвост, и лохматые ноги оканчивались черными, раздвоенными копытами, которые размеренно стучали по земле.

Дионис совершал свое триумфальное шествие. Я прошел вместе с ним Лидию, Фригийские поля, сожженные равнины Персии, покрытую инеем высокую Мидию, счастливую Аравию и богатую Азию, море которой омывало цветущие города. Он подвигался на колеснице, запряженной львами и рысями, при звуках флейты, кимвалов и тимпанов, изобретенных для его мистерий. Вакханки, Фиады и Менады, опоясанные леопардовыми шкурами, потрясали тирсами, увитыми плющем. Он вел за со-

бой сатиров, во главе веселой толпы которых шел я, Силенов, Панов и Кентавров. Под его ногами рождались цветы и плоды и, ударяя тирсом в скалы, он заставлял бить из них светлые источники.

Во время сбора винограда он посещал Грецию, и сельяне сбегались к нему навстречу, испачканные зеленым и красным соком растений, с лицами, закрытыми масками из дерева, из коры или из листьев, держа в руках глиняные чаши и предаваясь сладострастным пляскам. Их жены, подражая спутницам Бога, с венками из зеленого плюща на головах, подвязывали на свои гибкие бедра шкуры оленей и коз. Девушки вешали себе на шею гирлянды из фиг, пекли пшеничные лепешки и носили фаллус в мистической корзине. Виноградари же, испачканные винным суслом, стоя в своих повозках, обменивались с прохожими шутками и бранью, создавая трагедию.

Не сладкой дремотой, конечно, на берегу ручья, потяжким трудом Дионис научил обрабатывать поля и выращивать сочные плоды. И в то время, как он обдумывал, как из племени диких обитателей леса сделать расу, знакомую с лирой и подчиняющуюся справедливым законам, не раз по его челу, горящему восторгом, проходила тень меланхолии и темного безумия. Но глубокое знание и дружба к людям позволила ему превозмочь все препятствия. О, прекрасные дни, божественные! О, заря жизни! Мы водили Вакханалии по косматым вершинам гор, по золотистым берегам морей. Наяды и Ореады мешались в наши игры. Афродита при нашем приближении поднималась из пены волн, чтобы нам улыбнуться.

Глава девятнадцатая

Продолжение рассказа.

Когда люди научились возделывать землю, пастбища, воздвигать стены вокруг священных Твердынь и отличать богов по их красоте, я удалился в эту благостную страну, окруженную густыми лесами и орошаемую Стиμφалом, Ольбием, Эримантом и горделивым Кратисом, несущим ледяные воды Стикса; здесь, в свежей долине, у

подножья горы, заросшей ежевикой, оливками и пиниями, под тенью платанов и белых тополей, на берегу ручья, который с нежным журчанием течет среди густых мастичников, я пел пастухам и нимфам о рождении мира, возникновении огня, о прозрачном воздухе, воде и земле. Я рассказывал им, как жили первые люди, жалкие и нагие, в лесах, прежде чем изобретательные демоны научили их искусствам, и я слагал им фиазы Бога и пел о том, как матерью Диониса считают Семелу, оттого, что его благотворная мысль в грозе родилась.

Этот народ, излюбленный Демонами, эти счастливые греки, не без усилия нашли порядок и искусства. Их первым храмом была хижина из лавровых веток; первым изображением богов—дерево, их первым алтарем—грубый камень, обогранный кровью Ифигении. Но в короткое время они довели мудрость и красоту до такой степени, к какой никто ни до, ни после них не мог приблизиться. Как создалась Аркадия, это единственное чудо на земле? Отчего священная земля Ионии и Аттики взростила этот несравненный цветок?

Оттого, что там не было ни священства, ни догмы, ни откровений, и никогда не знали завистливого бога. Из своего собственного гения, из собственной красоты, Эллин создал своих богов, и, подымая глаза к небу, он видел там свой образ. Все вещи он мерил по себе и дал своим храмам совершенные пропорции: все было—лишь грация, гармония, равновесие и мудрость; все было лишь достойно бессмертных, которые там обитали и которые под счастливыми именами, под совершенными формами, воплощали гений человека. Колонны, поддерживающие там мраморные архитравы, фризy и карнизы, имели в себе нечто человеческое, что делало их достойными почтения, и можно было видеть иногда, как например в Афинах и Дельфах, прекрасных молодых девушек, могучих и улыбающихся, поддерживающих крыши святилищ и сокровищниц. О, великолепие, гармония, мудрость!

Дионис решил направиться в Италию, где его звали Вакхом народы, жаждавшие спрятать его тайнства.

И взошел на его корабль, разукрашенный виноградными ветвями, и высадился под взглядами двух братьев

Елены в устье желтого Тибра. Уже, благодаря урокам Бога, жители Лациума умели обрывать вяз с виноградной лозой.

Мне полюбилось жить у подножья сабинских гор, в долине, заросшей листвою и орошаемой чистыми источниками. Я срывал в дугах вербену и мальву. Светлые оливковые деревья, искривлявшие свои изъеденные временем стволы, приносили мне маслянистые плоды. Там я учил людей с квадратными головами, не обладавших, как греки, быстрым умом, но сердце которых было твердо, душа терпелива и которые чтили богов. Мой сосед, возвратившийся в деревню римский солдат, в продолжение пятнадцати лет сгибал свою спину под тяжестью доспехов и следовал за орлом Рима по горам и иорям, и видел, как бежали враги царственного народа. Теперь он водил по бороздам двух рыжих волов, имевших между широкими рогами по белой звездочке. В это время под тростниковой крышей целомудренная строгая жена толкла в бронзовой ступке чеснок и пекла бобы на священном камне очага. А я, его друг, садился невдалеке под дубом и увеселял его труд звуком флейты и улыбался его маленьким детям, в час, когда уж солнце удлиняет тени, и они возвращались из леса, нагруженные ветками. У входа в сад, где зрели груши и тыквы, цвели лилии и рос всегда зеленый акант, стоял Приап, вырезанный из ствола фигового дерева, грозил вору своим чудовищным членом, а тростник на его голове, колеблемый ветром, пугал вороватых птиц. В новолуние благочестивый Колон приносил своим ларам, увенчанным миртом и розмарином, горсть соли и ячменя.

Я видел, как выросли его дети и дети его детей, которые сохранили в своем сердце первоначальную набожность и никогда не забывали ни приносить жертву Вакху, Диане, Венере, ни возлиять чистое вино и возлагать цветы источникам. Но мало-по-малу они утрачивали первобытное трудолюбие и простоту. Я слышал, как они жаловались, когда поток, разлившийся от обильных дождей, заставлял их выстроить плотину, чтобы защищать отцовские поля. Тяжелое сабинское вино уже утомляло их разборчивый вкус: они шли пить греческие вина в соседние

таверны и там забывали время, смотря в виноградных беседках на танцы флейтистки, искусно двигавшей под звуки кротала боком точеным. Колоны предавались приятному отдыху под шопот листвы и ручьев, но сквозь тополя еще были видны, поднимавшиеся по краям священной дороги, огромные гробницы, статуи, алтари, и грохот повозок слышался все чаще на истертых дорожных плитах. Молодое вишневое деревцо, привезенное одним петераном, возвестило нам о далеких завоеваниях консулов, а оды, распевавшиеся под звуки лиры, рассказывали нам о победах Рима, владыки мира.

Все страны, по которым проходил великий Дионис, превращая диких зверей в людей и заставляя цвести деревья и поля на пути Менад, вкушали теперь римский мир. Питомец волчицы, солдат и землекоп, друг побежденных народов, проводил дороги, начиная от берегов туманного Океана и до крутых склонов Кавказа; во всех городах воздвигались храмы Августу и Риму, и так велика была всемирная вера в латинский закон, что в ущельях Фессалии и на косматых берегах Рейна раб, изнемогая под непосильной тяжестью, восклицал: «Цезарь»! Но зачем надо, чтобы на этом несчастном земном шаре все увядало и умирало, и чтобы самые прекрасные вещи были самыми эфемерными? О, чудесные дочери Греции! О, Наука, о, Мудрость, о, Красота, о, прекрасные божества, вы заснули летаргическим сном, прежде чем могли бы подвергнуться оскорблениям варваров, которые в северных болотах и пустынных степях уже мчались верхом без седел на своих маленьких косматых лошаденках, готовые устремиться на вас!

Милый Аркадий, в то время, как терпеливый легионер раскидывал свой лагерь на берегах Фаза и Танаиса, женщины и жрецы Азии и чудовищной Африки наводнили Вечный Город и смущали своими чарами сынов Рема. До сих пор гонитель пылких духов демонов, Ягве, был известен в мире, на создание которого он претендует, лишь несколькими жалким сирийским племенам, бывшим долгое время такими же жестокими, как он, и влачившимися от одного рабства к другому. Воспользовавшись римским миром, который обеспечивал повсюду свободу

торговли и путешествий и покровительствовал обмену товаров и идей, этот старый Бог стал готовить дерзкое завоевание Вселенной. Впрочем, он был не единственный, кто отважился на это предприятие. В то же самое время целое полчище богов демиургов, демонов, как Митра, Тамуз, добрая Изиды, Евбулос, мечтали овладеть успокоенным миром. Из всех этих богов Ягве, казалось, был менее всех способен к победе. Его невежество, его жестокость, его пышность и азиатская роскошь, его презрение к законам, его претензия быть невидимым, должны были оскорблять этих эллинов, этих латынн, воспитанных Дионисом и Музами. Он чувствовал сам, что неспособен покорить сердца свободных людей и их утонченные умы, и он прибег к хитрости. Чтобы привлечь сердца, он придумал басню, и хотя она далеко не была так искусна, как мифы, которыми мы украшали воображение наших античных учеников, она все же могла тронуть слабые умы, встречающиеся в густой толпе. Он объявил, что люди, совершив против него однажды грех, наследственный грех, несут за то наказание в этой и в будущей жизни (смертные безрассудно верят, что их бытие продлится и в преисподней). Коварный Ягве вбил им в голову, что он послал на землю своего собственного сына, чтобы искупить своею кровью грехи людей. Невероятно, чтобы страдание искупало грех, и еще менее вероятно, чтобы невинный мог расплачиваться за виновных. Страдания невинного ничего не возмещают и лишь прибавляют зло ко злу. Тем не менее нашлись достаточно жалкие существа, чтобы обожать Ягве и его сына-Искупителя и объявить эту тайну, как благую весть. Мы должны были ожидать этого безумия. Разве мы не видели много раз смертных, когда они еще были нищи и наги, простирающимися перед всеми призраками страха, и, вместо того, чтобы следовать поучениям добрых демонов, повинующимися приказаниям злых демиургов? Ягве лукавством уловил души, как сеть. Но он не достиг от того всех благ и всей славы, которых ожидал. Не он, но его Сын приобрел поклонение людей и дал свое имя новому культу. Сам же Ягве пребывал на земле почти неизвестным.

Глава двадцатая.

Продолжение рассказа.

Новое суеверие распространилось сначала в Сирии и Африке; оно завоевало морские гавани, кишачие грязною толпою, и проникло в Италию, заражая сперва куртизанок и рабов и сделав быстрые успехи среди городской черни. Но в продолжение долгого времени оно совсем не тревожило сельских жителей. Как и прежде, земледельцы посвящали Диане сосну, которую они орошали каждый год кровью молодого кабана, приносили в жертву Ларам свинью, чтобы сделать их благосклонными, и воздавали Вакху, благодетелю людей, приношение в виде козленка ослепительной белизны; если же они были бедны, то всетаки у них находилось для покровителей очага, виноградаря и поля немного вина и муки. Мы внушили им, что достаточно коснуться алтаря чистой рукой, и что боги радуются и скромному приношению. Между тем, царство Ягве возмещалось в сотне мест безумствами. Христиане жгли книги, разрушали храмы, города, производили разрушение повсюду, вплоть до пустыни. Там тысячи этих несчастных, обратив свою ярость на самих себя, раздирали себе грудь железными острьями. И со всех концов земли, как хвала, подымались к Богу стоны добровольных жертв.

Мое тенистое убежище не могло надолго избежать ярости этих одержимых.

На верхушке холма, возвышающегося над оливковой рощей, которую каждый день веселил звук моей флейты, стоял с первых дней римского мира маленький мраморный храм, круглый, как хижины предков. У него не было вовсе стен; на высоком цоколе семи ступеней располагались шестнадцать колонн с капителями из аканта, поддерживая купол, покрытый белой черепицей. Этот купол покрывал статую Амура, натягивающего свой лук—работу афинского скульптора. Дитя, казалось, дышало; радость играла на его устах; все части его тела были гибки и гар-

моничны. Я почитал это изображение могущественнейшего из богов и научил поселян приносить ему в жертву чашу, увенчанную вербеной и наполненную двухлетним вином.

Однажды, когда я сидел, по своему обыкновению, у ног божества, обдумывая наставления и песни, к храму приблизился незнакомый человек, свирепого вида, с косматой бородой, перешагнув одним прыжком все мраморные ступеньки и с дикой радостью воскликнул:

— Погибни, отравитель душ, и пусть вместе с тобою погибнут радость и красота.

Сказав это, он выхватил из-за пояса топор и поднял его над изваянием. Я остановил его руку, повалил на землю и стал топтать своими копытами.

— Демон,—кричал он мне с мрачной отвагой,—дай мне свергнуть этого идола, и тогда можешь меня убить!

Я не внял его жестокой просьбе; надавив всей тяжестью ему на грудь, которая трещала у меня под коленом, и, сжав обеими руками его шею, я задушил нечестивца.

В то время, как он лежал с багровым лицом и высунутым языком у ног улыбающегося бога, я поспешил омыться в священном источнике. Затем, покинув эту землю, сделавшуюся добычей христиан, я прошел всю Галлию и достиг берегов Соны, куда некогда Дионис принес виноградную лозу. Христианский Бог еще не был возведен этим счастливым племенем. Они почитали за красоту густой бук, почтенные ветви которого падали до самой земли, и вешали на них шерстяные повязки. Они почитали также священные источники и ставили глиняные изображения в сырые гроты. Они приносили маленькие сыры и чаши молока нимфам леса и гор. Но скоро апостол печали был послан и к ним новым Богом. Он был на вид суше вяленой рыбы. Истощенный постами и бдениями, он проповедывал с неиссякаемым жаром какие-то темные таинства. Он любил страдание и считал его благом; его гнев обрушивался на все, что красиво, счастливо и радостно. Священное дерево упало под его топором. Он ненавидел нимф за то, что они прекрасны, бросал им проклятия, когда их круглые бедра сверкали вечером

сквозь листву деревьев, и чувствовал отвращение к моей певучей флейте. Бедняга думал, что существуют известные формулы, чтобы обращать в бегство бессмертных демонов, живущих в свежих пещерах, в чаще лесов и на вершинах гор. Он думал победить нас несколькими каплями воды, над которыми произносил слова и делал какие-то жесты. Нимфы, чтобы отомстить, являлись ему по ночам и возбуждали в нем пламенные желания, которые этот несчастный считал преступными; потом они убегали, разнося по полям свой звонкий смех, меж тем, как их жертва терзалась с разгоряченным телом на своем ложе из листьев. Так смеются божественные Нимфы над заклинателями и вышучивают злых и их грязное целомудрие.

Апостол не сделал столько зла, сколько хотел, потому что он поучал души простые и послушные, и такова уж ограниченность большинства людей, что они выводят мало последствий из правил, которые им вбивают в голову. Лесок, где я жил, принадлежал галлу из сенаторской фамилии, который хранил еще остатки латинского изящества. Он любил молодую отпущенницу и делил с ней пурпурное ложе, вышитое нарциссами. Рабы возделывали его виноградник и сад; он был поэтом, воспевал, по примеру Авзония, Венеру, текущую своего сына розами. Хотя он был и христианином, он приносил мне молоко, плоды и овощи, как местному гению. Взамен того, я услаждал его отдых звуками флейты и посылал ему счастливые сны. На деле эти мирные галлы знали очень немногое об Ятве и его Сыне.

Но вот, на горизонте зажглись пожары, и пепел, гонимый ветром, посыпался на дужайки нашего леса. Поселение потянулось по всем дорогам длинными вереницами телег, гоня перед собою стада. Крики ужаса подымались по деревням: «Бургунды»!.. Первый всадник является с копьём в руке, одетый с ног до головы в сверкающую бронзу, с длинными рыжими волосами, двумя косами, падающими ему на плечи. Затем второй, затем двадцатый и тысяча таких, свирепых, покрытых кровью. Они убивали стариков, детей, насиловали женщин вплоть до глубоких старух, седые волосы которых прилипали к их подошвам

с мозгом новорожденных младенцев. Мой молодой галл и его молодая отпущенница обагрили своею кровью вышитое нарциссами ложе. Варвары зажигали храмы, чтобы жарить целых быков, разбивали амфоры и пили вино, в гризи залитых погребов. Их жены сопровождали их, полунагие, теснясь в военных колесницах. Когда еенат и народ городов и главы Церкви погибли в пламени, бургунды начали просыпать свой хмель под аркадами Форума. И две недели спустя можно было видеть, как один из них улыбался в густую бороду маленькому ребенку, которого на пороге дома держала на руках его белокурая жена, другой зажигал свой кузнечный горн и мерно выбивал железу, третий шел под дубом собравшимся товарищам о богах и героях своего племени, иные выставляли для продажи упавшие с неба камни, рога зубров и амулеты. И прежние обитатели этой страны, успокоенные, мало-по-малу выходили из лесов, куда они попрятались, начинали поправлять свои сожженные хижины, распахивать поля и подрезать виноградники. Началась опять жизнь, но те времена были самые печальные, какие только пережило человечество. Варвары наводнили всю империю. Их нравы были грубы и, так как они питали чувства мести и корысти, то поверили в искупление грехов. Сказка о Ягве и его Сыне понравилась им, и они крепко ей поверили тем легче, что ей их научили те римляне, которых они считали выше себя, чьим искусством и нравами втайне они восхищались. Увы, Греция и Рим приобрели в них лишь ничтожных наследников. Всякое знание было утрачено. Тогда считалось огромным достоинством цет у аналая, те же, кто помнил несколько фраз из Библии, считались удивительными талантами. Были и тогда поэты, как были птицы, но их стихи хромали на все четыре ноги. Античные демоны, добрые гении человечества, лишенные почестей, изгнанные, преследуемые, жили, спрятавшись в лесах, где они показывались иногда людям, принимая на себя, чтобы их боялись, страшный облик — красную, зеленую или черную кожу, огненные глаза, огромный рот с кабаньими клыками, рога, хвост сзади и иногда человеческое лицо на животе. Нимфы оставались попрежнему прекрасны, и варвары, не зная ни одного из

нежных имен, которые они носили прежде, называли их феями, приписывали им капризный нрав и привычку к шалостям; боялись их и любили.

Мы были унижены, гонимы; тем не менее, мы не теряли мужества и, сохраняя веселый нрав и приветливый дух, оставались в эти жестокие времена истинными друзьями людей. Заметив, что варвары становились, мало-помалу, менее сумрачны и менее жестоки, мы умудрились вступить с ними в общение, являясь им под разнообразными видами. Мы побуждали их ловкими подходами с тысячею всяких предосторожностей не считать старого Явве непреложным Богом, не повиноваться слепо его предписаниям и не бояться его угроз. Когда надо было, мы пускали в ход искусство магии. Мы не переставали убеждать их изучать природу и искать остатки античной мудрости. Эти северные войны, несмотря на свое глубокое невежество, были способны к некоторым ремеслам. Они верили, что на небе происходят битвы героев; звук арфы вызывал у них слезы; их дух был, может быть, более способен на великие дела, чем дух вырождавшихся галлов и римлян, чьи земли они захватили. Они не умели обтесывать камень и полировать мрамор, но они вывезли порфир и колонны из Рима и Равенны; их предводители брали себе для печатей геммы, выгравированные греками в дни красоты. Они воздвигали стены из кирпичей, искусно расположенных елочкой, и научились строить довольно недурные церкви с карнизами, опирающимися на страшные головы, и тяжелыми капителями, на которых чудовища пожирали друг друга.

Мы научили их письменности и наукам. Один наместник их Бога, Герберт, получил от нас уроки физики, арифметики, музыки, и про него стали говорить, что он продал нам душу.

Текли века, а нравы оставались дикими. Мир был в огне и крови.

Преемники этого прилежного Герберта, не довольствуясь, что владеют душами (прибыль от этого легчевеснее воздуха), захотели владеть и телами. Они потребовали власти над всем миром по праву, которое они будто бы унаследовали от рыбака с Тивериадского озера.

Один из них думал одну минуту, что одержал верх над гяжелым германцем, преемником Августа. Но, в конце концов, духовные властители должны были поделить с мирскими народы, растерзанные их взаимной борьбой. Эти народы слагались среди ужасного хаоса. Всюду только и было, что войны, голод, резня.

Так как они приписывали своему Богу бесчисленные бедствия, которые сыпались на них, то они называли его всеблагим, не из противоположения, а оттого, что лучшим, по их мнению, был тот, кто сильнее дрался. В тот век насилия, чтобы обеспечить себе трудолюбивый досуг, я предпринял решение, которое может удивить вас, но которое было мудро.

Между Соной и гребнем Шароле, где пасутся быки, есть лесистый холм, полого спускающийся в дуга; орошенный свежим ручьем. Там стоял монастырь, известный во всем христианстве. Я спрятал под рясу козлиные ноги и сделался монахом этого аббатства, где жил спокойно вдали от вооруженных людей, друзей или врагов, бывших одинаково несносными. Человек, впадший в детство, должен был снова всему учиться. Брат Лука, сосед мой по келии, изучавший нравы животных, учил, что ласка zaczynaет своих детенышей через ухо. Я собирал в полях травы, чтобы лечить больных, которым до того времени, под видом лечения, прикладывали мощи святых. В аббатстве жило несколько демонов, подобных мне, и я узнавал их по раздвоенным копытам и по приветливым речам. Мы соединили наши усилия, чтобы прояснить темные умы монахов.

В то время, как под стенами монастыря дети играли в веревочку, наши монахи предавались другой игре, такой же бесцельной, которой, однако, забавлялся и я вместе с ними; потому что надо же было как-нибудь убить время, и в этом, если подумать, и состоит единственное назначение жизни. Наша игра была игрой слов, которая доставляла удовольствие нашим умам, грубым и тонким в одно и то же время; она возжигала споры и колебала все христианство. Мы разделились на два лагеря. Один утверждал, что прежде, чем появились Яблони, уже существовало Яблоко, что прежде чем были попугаи уже

был Попугай, что прежде чем были сластолюбцы и обжоры-монахи, был Монах, было Сластолюбие и было Обжорство, что, прежде чем были в этом мире ноги и вады, удар под зад коленом уже существовал предвечно в лоне Божиим. Другой лагерь утверждал, что, напротив, яблоки дали человеку идею яблока, попугаи идею попугая, монахи идею монаха вместе с идеей сластолюбия и обжорства, и что удар под зад коленом стал существовать только с тех пор, как его должным образом дали и получили. Спорившие распалялись, и дело доходило до рукопашной. Я принадлежал ко второму лагерю, который более подходил к моим убеждениям и который, действительно, был осужден на Суассонском Соборе.

Между тем, не довольствуясь драками между собой, вассал против сюзерена и сюзерен против вассала, рыцари выдумали идти сражаться на восток. Они говорили, насколько я вспоминаю, что идут освобождать гроб Сына Божьего. Они говорили это; но их жадные до приключений, корыстолюбивые души толкали их в далекие земли на поиски женщин, рабов, золота, мирры и ладона. Эти походы, надо ли говорить, были неудачны, но наши дикие соотечественники выносили из них понятие о восточных ремеслах и искусствах и вкус к роскоши. С этих пор нам стало легче заставлять их трудиться и вести их на путь творчества. Мы выстроили дивно-прекрасные храмы, со смело изломленными арками, стреловидными окнами, высокими башнями, тысячами колоколенок и острых шпилей, которые, поднимаясь к небу Ягве, возносили одновременно и молитвы смиренных, и угрозы гордых; все это было настолько же нашей работой, насколько делом рук человеческих, и странно было видеть трудящимися вместе над постройкой собора людей и демонов, обтесывающих и полирующих камни, украшая их рельефами листьев и трав, фигурами дев и святых, химерами диковинных змей, рыб с ослиными головами, обезьян, чешущих себе ягодицу; сюда каждый вставлял свой собственный дух, то строгий, то шуточный, то величавый, то причудливый, то смиренный, то дерзкий, образуя из всего гармоническую путаницу, очаровательный гимн радости и печали, торжествующее вавилонское

столпотворение. Под нашим влиянием ювелиры, мастера чеканки и эмали, творили чудеса, и все искусства роскоши расцвели сразу: лионские шелка, аррасские ковры, реймские полотна, руанские сукна.

Купцы потянулись на своих кобылах по ярмаркам, везя куски бархата и парчи, кружева, золототканые материи, драгоценности, серебряную утварь и книги с миниатюрами. Веселые актеры расставляли свои подмостки в самых храмах или на общественных площадях и представляли, смотря по необходимости, события на небе, на земле или в аду. Жейщины наряжались в великолепные платья и беседовали о любви. Весной, когда небо голубело, простых и знатных охватывало желание резвиться в полях, пестревших цветами. Скрипачи настраивали свои инструменты; рыцари, дамы и девицы, горожане и горожанки, поселяне и поселянки, держась за руки, водили хороводы. Но внезапно Война, Голод и Чума врывались в круг, и Смерть, вырвав скрипку из рук музыканта, заводила свой танец. Пожары уничтожали деревни и монастыри, солдаты вешали на придорожных дубах крестьян, которые не могли уплатить выкупа, или привязывали к деревьям беременных женщин, и волки ночью приходили и пожирали их плод во чреве.

Бедные люди теряли всякий разум. Порой, когда восстанавливался снова мир и возвращалось доброе время, без всякой причины они вдруг, под влиянием безумного страха, бросали свои дома и шли толпами, полунагие, раздирая железными крюками грудь, распевая песнопения... Я не виню Ягве и его Сына во всем этом зле, много дурного совершалось помимо него и даже против него. Но в чем я узнаю волю Всеблагого Бога (как они его называли) это в общем, установленном его священнослужителями и утвержденном ими для всего христианства, — сжигать под звон колоколов и пение псалмов мужчин и женщин, которые под внушением демонов исповедовали какие-либо особые мнения относительно этого Бога.

Глава двадцать первая.

Продолжение и конец рассказа.

Кавалось, что наука и мысль погибли навсегда, и что земля не должна более никогда познать мир, радость и красоту.

Но однажды, у римских стен, работники, копая землю на краю древней дороги, нашли мраморный саркофаг, на стенках которого были высечены изображения Амура и триумфы Вакха. Когда подняли крышку, то увидели девушку, чье лицо сияло поразительной свежестью. Ее длинные волосы были распущены по белым плечам, и она улыбалась во сне. Толпа граждан, взволнованных восторгом, подняла погребальное ложе и отнесла его в Капитолий. Народ толпами стекался смотреть на невыразимую красоту римской девушки и стоял, притихнув, ожидая пробуждения божественной души, заключавшейся в этом прекрасном теле. В конце концов, город так взволновался этим зрелищем, что папа, боясь, не без основания, как бы не родилось языческое поклонение этому лучезарному телу, велел унести его ночью и тайно похоронить. Напрасная предосторожность! Тщетные старания! Античная красота, после стольких веков варварства, явилась на мгновение перед глазами людей, и этого было достаточно, чтобы ее образ, запечатленный в их сердцах, внушил им горячее желание любить и знать. С тех пор звезда христианского Бога стала меркнуть и клониться к своему закату. Смелые мореплаватели открыли земли, где жили многочисленные народы, не знавшие старого Ятве, и можно было подозревать, что и он их также не знал, потому что не давал им знать ни о себе, ни о своем Сыне-искупителе. Польский каноник доказал вращение земли, и люди увидели, что старый израильский демиург не только не создал вселенной, но даже и не подозревал ее устройства. Писания древних философов, ораторов, юристов и поэтов были извлечены из монастырской пыли и, переходя из рук в руки, вдохновляли умы на любовь к

мудрости. Наместник завистливого Бога, сам папа, не верил больше в Того, Кого он замечал на земле. Он любил искусства, и у него не было иных забот, кроме собирания античных статуй и возведения великолепных зданий, где воскресали ордена Витрувия, восстановленные Браманте. Мы легко вздохнули. Уже истинные боги, вызванные из своего долгого изгнания, вернулись на землю. Они находили снова храмы и алтари. Папа Лев, положив к их ногам свой перстень, свои три венца и ключи, тайно воздавал им жертвенные курения. Уже Полигимния, облокотясь, возобновила золотую нить своих размышлений; уже в садах чистые Грации и Нимфы водили пляски с Сатирами; земля, наконец, вернула себе радость. Но вот, о, несчастье, о, горькая судьба, о, печальнейший случай, вот появляется немецкий монах, раздутый пивом и теодогией, восстает против этого возрождающегося язычества, ему грозит, его громит, встает один против главы Церкви и, подняв народы, зовет их к реформе, которая спасает то, что должно было погибнуть. Тщетно самые искусные из нас пытались отвести его от этой затеи. Один изворотливый демон, которого на земле зовут Вельзевулом, насел на него, то запутывая его противоречивыми аргументами, то дразня его жестокими насмешками.

Упрямый монах швырнул ему в голову чернильницей и продолжал свою жалкую реформацию. Что еще сказать вам? Этими крепкими руками был вновь сколочен, законопачен и спущен на воду потерпевший крушение корабль Церкви. Иисус Христос обьявлял этому монаху тем, что его авария отсрочена, может быть, больше чем на десять веков. С тех пор дела пошли все хуже и хуже. За этим толстым капуцином, пьяницей и забиякой, явился длинный тощий женевский учитель, полный духом древнего Ягве, который старался возратить мир к отбратительным временам Иисуса Навина и Судей израильских; то был маниак, холодно-яростный еретик, сожигавший еретиков, и самый жестокий враг Граций.

Эти бешеные апостолы и их забесившиеся ученики заставили даже таких демонов, как я, даже рогатых дьяволов, пожалеть о том времени, когда Сын со своей Девственной Матерью царили над народами, ослепленными

великолепием: кружевом мраморных соборов, сиянием цветных стекол, ярко раскрашенными фресками, где развертывались тысячи чудесных историй, богатым шитьем, сверкающей эмалью рак и мощехранилищ, золотом крестов и сосудов, блистанием созвездий свечей в тени сводов, гармоническим рокотом органов. Все это, конечно, было не Парфенон и не Панафиней, но это ласкало глаз и сердце, это было еще нечто от красоты.

Но проклятые реформаторы не терпели ничего ласкового или красивого.

Вообразите их: черные рои, облипающие порталы, кололи, выступы, карнизы, колоколенки, с тем, чтобы сбивать нелепыми молотками каменные изображения, которые демоны высекали некогда вместе с художниками, всех этих довольно славных на вид святых старцев и милых святых женщин, а также трогательных идолов Матери-Девы, прижимающих к груди сосунка. Ибо, по правде говоря, в самый культ ревнивого Бога проникло немного язычества. Эти проклятые еретики искореняли идолопоклонство.

Я и мои товарищи делали все, чтобы помешать их ужасной работе; я, например, имел удовольствие сбросить их несколько дюжин вниз с высоты порталов и галлерей прямо на паперть, куда и брызнул их зараженный мозг.

Хуже всего было то, что католическая Церковь реформировалась в свою очередь и стала еще злее, чем когда-либо. В милой Франции богословы и монахи ополчились с неслыханной злобой на любящих знание демонов и ученых мужей. Мой настоятель оказался одним из самых яростных врагов всякой литературы.

С некоторого времени его стали беспокоить мои ночные занятия, а может быть, к тому же он заметил тайком мои копыта.

Святоша обыскал мою келью и нашел там бумагу, чернила, только что отпечатанные греческие книги и флейту Пана, висевшую на стене. По этим признакам он признал во мне нечто дьявольское, велел бросить меня в темницу, где меня кормили бы хлебом страха и водой горечи, если

бы я не убежал в огонь и не спрятался под защиту лесов, среди Нимф и Фавнов.

Зажженные повсюду костры распространяли запах горелого мяса. Всюду пытки, мучения, раздробленные кости, вырванные языки. Дух Ягве никогда еще до сих пор не внушал подобные зверства. И, однако, не напрасно люди приподняли крышку античного саркофага и созерцали Римскую Деву. Среди этого ужаса, когда паписты и реформаторы соперничали между собой в жестокости и насилии, среди всяческих пыток и казней, дух человеческий воспринимал силу и мужество. Он осмеливался глядеть в небеса и видеть там не старого семита, опьяневшего от мести, но ясную и сияющую Венеру Уранию.

Тогда родился новый порядок вещей, тогда начались великие эпохи. Не отрицая открыто бога предков, лучшие умы предались его двум смертельным врагам, Науке и Разуму, и аббат Гассенди отодвинул его потихоньку в далекую пропасть первых причин. Благодетельные демоны, которые наставляют и утешают несчастных смертных, подсказывали передовым умам того времени разного рода рассуждения, искусные комедии и повести. Женщины изобрели беседу в обществе, переписку, благовоспитанность; нравы восприняли мягкость и благородство, неизвестные предшествующим эпохам. Один из лучших умов того рассудительного века, любезный Бернье, однажды писал Сент-Эвремону: «Великий грех лишать себя удовольствий». И этой одной фразы достаточно, чтобы понять успехи разума в Европе. Я не хочу сказать, что эпикурейцев не было и раньше, но раньше у них не было сознания своего духа, как теперь у Бернье, Шапеля и Мольера. Теперь даже ханжи умели понимать природу. И Расин, сколь ни был он лицемером, умел так же хорошо, как и какой-нибудь доктор, атеист вроде Гюи Пате-на, к различным состояниям органов отнести страсти, которые волнуют людей.

Даже в моем аббатстве, куда я вернулся после испытания и где ютились только невежды и ничтожества, один молодой монах, менее косный, чем другие, поведал мне, что Святой Дух изъясняется на весьма плохом греческом языке, наверное, чтобы унижить ученых.

И, однако, теология и споры о вере еще свирепствовали в этом разумном обществе. Вблизи Парижа, в одной тенистой долине, можно было видеть отшельников, которые называли себя учениками Святого Августина и отстаивали с достойным уважения упорством то убеждение, что Бог Писания поражает того, кто его боится, щадит того, кто им пренебрегает, совершенно не считается с делами благочестия и предает гибели, если ему это захочется, самых верных своих рабов, ибо его справедливость не похожа на нашу и его пути неисповедимы. Раз вечером я встретил одного из отшельников в саду, где он размышлял среди грядок капусты и салата. Я склонился перед ним свой рогатый лоб и шепнул ему такие дружеские слова:

— Да хранит вас старый Ягве! Вы его хорошо знаете. О! как вы его хорошо знаете и как вы поняли его нрав!

Святой человек распознал во мне ангела тьмы, счел себя обреченным и умер тотчас от ужаса.

Следующий век был веком философии. Развился дух исследования, пропало благоговение; церковная проповедь ослабела, и дух человеческий нашел новые силы. Нравы приобрели неизвестную до того легкость. Напротив, монахи моего ордена становились все более и более невежественными и грязными, и монастырь не мог предоставить мне более никаких преимуществ теперь, когда воспитанность царствовала в городах. Я не мог оставаться в монастыре. Закинув подальше рясу, я надел на свой рогатый лоб пудренный парик, спрятал под белыми чулками козлиные ноги и, взяв в руку трость, наполнив карманы газетами, пустился в свет, посещал модные гуляния и часто показывался в кафе, где собирались литературные люди. Меня принимали в гостинных, где, как счастливое познство, стояли кресла, охватывавшие формы тела, и где мужчины и женщины рассуждали тонко и умно. Даже метафизики заговорили вдруг ясно. Я снискал в городе большой авторитет в вопросах экзегетики и, не хвастаясь, скажу, что мне принадлежит большая часть в завещании кюрэ Мелье и в «Объяснениях Библии» капелланов короля Прусского.

В это время со старым Ягве случилась забавная и неприятнейшая история. Один американский квакер при помощи детского змея похитил у него молнию.

Я жил в Париже и был на том ужине, где говорилось, что надо удушить последнего священника кишками последнего короля. Франция была в брожении; разразилась, наконец, ужасная революция. Эфемерные главари переворотного вверх дном государства властвовали террором среди неслыханных опасностей. Они были по большей части менее жестоки и менее безжалостны, чем короли и судьи, поставленные Ягве у власти, однако, они показались более жестокими, потому что судили во имя человечности. К несчастью, они слишком легко могли смятаться и впадали в чувствительность. Чувствительные же люди раздражительны и подвержены припадкам ярости. Они были добродетельны и хранили добрые нравы. Это значит, что они считали моральные обязанности точно определенными и судили человеческие действия не по их естественным последствиям, но на основании отвлеченных принципов. Из всех пороков, которые могут погубить государственного человека, самый пагубный это—добродетель: она толкает на преступление. Чтобы полезно трудиться на благо людей, нужно быть выше всякой морали, как был божественный Юлий. Бог, которому так доставалось в последнее время, мало что проиграл, в конце концов, от появления этих новых людей. Он нашел среди них покровителей, и ему поклонялись под именем Высшего Разума. Можно даже сказать, что террор отвлёк в сторону философию и был на руку старому демиургу, который, казалось, олицетворял добрый порядок, общественное спокойствие, безопасность личности и имущества.

Меж тем, как свобода рождалась среди бурь, я жил в Отейле и был завсегдатаем у мадам Гельвециус, где собирались люди, думавшие обо всем свободно.

Это было редкостью, даже и после Вольтера. Тот самый человек, который встречает смерть без трепета, не имеет мужества выражать свое мнение о нравах, если оно необычно. То же человеческое уважение, которое толкает его на смерть, заставляет его склоняться перед обществен-

ным мнением. Я наслаждался тогда беседами с Вольнеем, Кабанисом и Траси. Ученики великого Кондильяка, они относили к ощущениям начало опытных знаний. Они называли себя идеологами, были честнейшими людьми в мире и приводили в негодование вульгарные умы тем, что отрицали их бессмертие. Ибо самый обыкновенный человек, который и с этой-то жизнью не знает что делать, хочет еще другую, которая никогда бы не кончилась. В тревожное время наше маленькое философское общество было несколько раз обеспокоено, под тихой сенью Отейля, патрулями патриотов. Кондорсе, наш великий друг, подвергся аресту. Я также был заподозрен друзьями народа, которые, несмотря на мой сельский вид и грубое платье, сочли меня за аристократа, и я должен признаться, что независимость мысли есть самая гордая из всех аристократий.

Однажды вечером, когда я следил за дриадами Булонского леса, сверкающими среди листвы, как луна, появляющаяся на горизонте, я был арестован, как подозрительное лицо, и брошен в темницу. Это была простая ошибка; но тогдашние якобинцы, по примеру монахов, чье место они заняли, ставили очень высоко добродетель послушания. После смерти мадам Гельвециус наше общество стало собираться в салоне мадам Кондорсе. Бонапарт не пренебрегал беседовать с нами иной раз.

Признав в нем великого человека, мы сочли его за идеолога, такого же, как и мы. Наше влияние в стране было довольно сильно. Мы действовали в его пользу и подталкивали его к Империи, чтобы явить миру нового Марка Аврелия. Мы рассчитывали на него, чтобы установить всеобщий мир; он не оправдал наших ожиданий, и мы имели слабость поставить ему в вину нашу ошибку.

Бесспорно, он превосходил многих живостью своего ума, глубиной скрытности и способностью действовать.

Совершенным типом завоевателя делало его то, что он жил весь целиком в настоящем и не понимал ничего вне ближайшей и мгновенной действительности. Его гений был обширен и легок. Его ум, огромный по объему, но обычный и вульгарный, охватывал все человечество, не возвышаясь над ним. Он думал то же, что думал ка-

ждый гренадер его армии. Но он думал это с неслыханной силой. Он любил азартную игру и забавлялся тем, что искал судьбу, бросая сотни тысяч пигмеев друг против друга—забава ребенка величиной с этот мир. Он был слишком умен, чтобы не вовлечь в свою игру старого Ягве, еще могущественного на земле и похожего на него духом насилия и стремлением к господству. Он ему пригрозил, подлил, обласкал его и запугал. Он заключил в тюрьму его наместника, от которого потребовал с ножом у горла помазания, дающего силу царям со времен древнего Саула; он восстановил полностью культ Демиурга, пропел ему *Te Deum* и через него объявил себя Богом на земле в маленьких катехизисах, распространенных по всей Империи. Оба они соединили свои громы, и то была изрядная трескотня.

В то время, как забавы Наполеона переворачивали всю Европу, мы радовались собственной мудрости, несколько опечаленные тем, что эра философии открывается резней, бедствиями и войнами. Хуже всего было то, что дети века, впад в самое прискорбное расстройство ума, создали живописное и литературное христианство, свидетельствующее о слабости душевной, поистине невероятной; в конце концов, они впали в романтизм. Война и романтизм ужасные бичи человечества. Как жаль было видеть этих людей, питающих детскую и в то же время яростную любовь к ружьям и барабанам. Они не понимали, что война, которая воспитывала сердца и основывала города во времена невежественные и варварские, не приносит победителю ничего, кроме развалин и нищеты, и не является ничем иным, как глупым и отвратительным преступлением теперь, когда народы соединены между собой общностью искусств, науки и торговли. О, бессмысленные европейцы, мечтающие перерезать друг другу горло теперь, когда одна и та же цивилизация объемлет их и объединяет.

Я отказался общаться с этими безумцами; я удалился в это селение и стал садовником. Персики моего сада напоминают мне золотистую от солнца кожу Менад. Я сохранил к людям старинную дружбу, остатки восхищения и много жалости, и я ожидаю, возделывая свой сад, того

дня, еще далекого, когда вновь придет великий Дионис, сопровождаемый фавнами и вакханками, восстановит на земле радость, красоту и водворит золотой век. Веселый, пойду я за его колесницей. Но кто знает, увидим ли мы людей в этом грядущем триумфе? Кто знает, не изживет ли их истощенное племя до тех пор своих судеб и не возникнут ли иные существа из пепла и обломков того, что было когда-то человеком и его творчеством? Кто знает, не завладеют ли землей крылатые существа?

Но и тогда роль добрых гениев не будет еще сыграна: они научат искусству и наслаждению пернатое племя.

Глава двадцать вторая,

где видно в антикварной лавке преступное счастье Гинардона, нарушенное ревностью одной великой возлюбленной

Папа Гинардон, как Зефирина правильно сообщила Сарриету, перевез редкости, картины, мебель и древности, собранные у него на чердаке на улице Принцессы, который он называл своей мастерской, и расставил все это в нанятой им на улице Курсель лавке, куда он переселился и сам, бросив Зефирину, после пятидесяти лет совместной жизни, без единого матраца, единой сковороды и единого су, если не считать франка и семидесяти сантимов, находившихся в портмоне бедной женщины. Гинардон открыл магазин старинных картин и редкостей и водворил туда молодую Октавию.

Выставка производила хорошее впечатление: здесь можно было видеть фламандских ангелов в зеленых мантиях манеры Жерара Давида, Саломею школы Луини, Святую Варвару—раскрашенное дерево французской работы, лиможские эмали, богемское и венецианское стекло, урбинские блюда; здесь можно было увидеть английское кружево, которое Зефирина, во времена своей блистательной молодости, получила, если только можно ей верить, от императора Наполеона III. Внутри поблескивало в тени золото, и здесь и там вырисовывались фигуры Хри-

ста, апостолов, патрицианок и нимф. Один холст был повернут к стене и показывался лишь знатокам, которые редки; то было повторение «Качелей» Фрагонара, вещь-ца столь свежая, что казалось—краски ее еще не обсохли. Сам Гинардон говорил это. Комод лилового дерева в глубине магазина хранил в своих ящиках особые редкости,—гуаши Бодуэна, книги с рисунками XVIII века, миниатюры.

На мольберте покоился вадернутый тканью шедевр, чудо, алмаз, жемчужина,—Фра Анжелико, очень нежный, весь золотой, розовый и голубой, «Венчание Девы», за которого папа Гинардон просил сто тысяч франков. На стуле Людовика XV, перед ампирным рабочим столиком, на котором стояла ваза с цветами, сидела молодая Октавия с вышиванием в руках; она оставила свои живописные лохмотья в каморке на улице Принцессы, и из горячего темного Рембрандта превратилась в светлого, сияющего и прозрачного Вермеера Дельфтского, к удовольствию знатоков, посещавших Гинардона. Спокойная и целомудренная, она оставалась одна весь день в лавке, в то время как старик мастерил на чердаке Бог весть какие картины. Он спускался к пяти часам и вел разговоры с завсегдатаями.

Самым обычным из них был граф Демезон, высокий, худой, желтый и сторбленный человек.

Узенькие полоски окаймляли его глубоко впалые щеки, расширяясь книзу и падая, наконец, целым снежным потоком на его подбородок и грудь. Он погружал в эту бороду беспрестанно свою длинную исхудалую руку с золотыми перстнями. Оплакивая в продолжение двадцати лет свою жену, унесенную в расцвете молодости и красоты туберкулезом, он посвятил свою жизнь поискам сношений с мертвыми и собиранию плохих картин в своем одиноком доме. Его доверие к Гинардону было безгранично. Господин Бланмениль, директор большого кредитного общества, появлялся в лавке не менее часто. Это был человек лет пятидесяти, свежий и добродушный, весьма мало интересующийся искусством, посредственный, может быть; знаток, но его привлекала юная Октавия, восседавшая посреди лавки, как птичка в клетке.

Бланмениль не замедлил вступить с ней в дружбу, которой не замечал только один Гинардон, ва отсутствием опыта, потому что старик был еще молод в своей любви к Октавии. Газтан д'Эспарвье заходил иногда из любопытства к Гинардону, в котором подозревал изумительного подделывателя.

Господин Трюк-де-Рюффек, этот великий мастер шпаги, явился однажды к старому антиквару и поделился с ним своими планами. Трюк-де-Рюффек устраивал ретроспективную выставку холодного оружия в пользу Воспитательного Дома для маленьких мароканцев и просил Гинардона ссудить несколько наиболее драгоценных экземпляров его коллекции.

— Сначала мы думали,—сказал он,—устроить выставку, которая называлась бы «Шпага и Крест». Ассоциация этих двух слов дает вам достаточно понять дух, который руководит нашим начинанием. Идея в высшей степени патриотическая и христианская заставила нас соединить шпагу, символ чести, с крестом, знаком спасения. Предприятие находится под высоким покровительством военного министра и монсеньора Кашпо. Осуществление, к сожалению, представляет трудности и должно быть несколько отложено... Сейчас мы устраиваем выставку Шпаги. Я составил заметку, которая раз'ясняет смысл этой выставки.

Говоря это, господин Трюк-де-Рюффек извлек из кармана маленький портфель, набитый бумагами; и, отыскав среди всяческих протоколов дуэлей и пригласительных карточек маленький измаранный клочок бумаги, прочитал:

«Вот... Шпага это суровая девственница. Это по преимуществу французское оружие. В эпоху, когда национальное чувство после очень долгого ослабления загорается ярче, чем когда-либо» и т. д.... Вы понимаете?..

И он возобновил свою просьбу дать ему какуюнибудь хгошую вещь, чтобы поставить ее в первом ряду на выставке в пользу маленьких мароканцев, состоящей под почетным председательством генерала д'Эспарвье.

Гинардон очень мало занимался оружием; он торговал преимущественно картинами, рисунками и книгами.

Но его никогда нельзя было заставить враспдох. Он отыскал рапиру в стиле Людовик XIII—Наполеон III и протянул ее устройтедю выставки, который с некоторым почтением стал осматривать ее в благоразумном молчании.

— У меня есть еще получше,—произнес антиквар.

И он притащил из задней комнаты валявшийся там обычно вместе с палками и зонтами огромный меч, украшенный лилиями,—оружие поистине королевское. То был меч Филиппа-Августа, который носил какой-нибудь актер Одеона при постановке Агнессы де-Мерани в 1846 году. Гинардон поставил его острием в землю, как водруженный крест, сложил благочестиво руки на эфесе и имел сам такой же дышащий верностью вид, как и этот меч.

— Покажите его на вашей выставке.—сказал он,— Красавец стоит того. Его имя Бувин.

— Если я его продам,—спросил Трюк-де-Рюффек, покручивая свои огромные усы,—вы дадите мне маленькие коммиссионные?..

Несколько дней спустя Гинардон показал графу Демезон и господину Бланменилю, с таинственным видом, вновь открытого Греко, поразительного Греко последней манеры. Картина изображала святого Франциска Ассизского, который, стоя на скале Альверны, возносился к небу, как дымящийся столб, так что его чудовищно узкая голова, уменьшенная расстоянием, погружалась в облака. Одним словом, настоящий, самый настоящий, слишком настоящий Греко. Оба знатока со вниманием рассматривали это произведение, в то время, как Гинардон выхвалял черную глубину и великолепную экспрессию картины. Он подымал руки, чтобы показать, как Теотокопули, выйдя из Тинторетто, превзошел его на сто локтей.

— Это был целомудренный, чистый, могучий, мистический, апокалиптический талант.

Граф Демезон объявил, что Греко его любимый художник. Бланмениль в глубине души восхищался не в полной мере.

Открылась дверь, и появился Гаэтан д'Эспарвье, которого вовсе не ждали.

Он бросил взгляд на святого Франциска и сказал:

— Чорт!..

Бланмениль, желая поучиться, спросил, что думает он об этом художнике, который теперь в такой чести. Газтан, не заставив себя долго просить, ответил, что он не считает Греко за сумасшедшего и сумасброда, как его считали прежде, и что он предполагает скорее у него неправильность глаза, заставлявшую его искажать фигуры в картинах.

— Страдая астигматизмом и страбизмом,—продолжал Газтан,—он рисовал то, что видел и как видел.

Граф Демезон неохотно принял такое натуралистическое объяснение, которое, напротив, очень понравилось своей простотой Бланменилю.

Гинардон, задетый, воскликнул:

— Вы, может быть, скажете, господин д'Эспарвье, что и святой Иоанн страдал астигматизмом, потому что он видел жену, облеченную в солнце и увенчанную звездами, с луной под ногами, или зверя с семью головами и десятью рогами и семь ангелов, одетых в льняные одежды, которые несли семь чаш, наполненных гневом Бога живого?

— В конце концов,—заклучил Газтан,—можно восхищаться Греко, раз у него было столько таланта, чтобы навязать другим свое болезненное видение. К тому же, уродуя человеческие фигуры, он удовлетворяет души, любящие страдание, а таких гораздо больше, чем кажется.

— Милостивый государь,—вставил граф Демезон, проводя своей длинной рукой по бороде,—следует любить тех, кто нас любит. Страдание любит нас и привязывается к нам. Надо его любить, чтобы перенести жизнь; в том-то жила и благость христианства, что оно поняло это... Увы! во мне нет веры, и это меня приводит в отчаяние.

Старик подумал о той, которую он оплакивал двадцать лет, и тотчас же забылся; его мысль без сопротивления последовала за образом нежного и печального безумия.

Изучив, говорил он, психические науки и произведя с помощью медиума опыты над природой и бытием души, он достиг изумительных результатов, которые все-таки его не удовлетворяли. Он дошел до того, что видел душу умершей в образе студенистой и прозрачной массы, ко-

торая несколько не напоминала по форме ту, которую он любил. И что было самое тяжелое в сотни раз повторенных им опытах, это то, что студенческая масса, выделявшая из себя какие-то крайне чувствительные волокна, непрерывно приводила их в движение, ритм коего, очевидно, служил для передачи знаков, но смысла этих знаков, этих движений совершенно нельзя было разгадать.

Пока длился этот рассказ, Бланмениль подсел к молодой Октавии, спокойной, молчаливой, опустившей глаза.

Зефирина не покорилась судьбе и не собиралась отдать своего возлюбленного недостойной сопернице. Часто по утрам она приходила с корзинкой в руках, бродила вокруг антикварной лавки и в ожесточении и отчаянии сердца, волнуемая противоречивыми чувствами, мечтала то облить изменника кислотой, то броситься к его ногам и покрыть слезами и поцелуями его обожаемые руки. Однажды, когда Зефирина выжидала таким образом своего столь любимого и столь преступного Мишеля, она увидела в окне молодую Октавию, работающую за столом; на котором умирала роза в хрустальном стакане, и вдруг пришла в ярость; она сломала свой зонтик о белокурую голову соперницы, называя ее тварью и сукон. Октавия в ужасе убежала за полицией, тогда как Зефирина, обезумевшая от горя и любви, обрабатывала своим старым зонтом «Качели» Фрагонара, Святого Франциска Греко, всех мадонн, всех нимф и апостолов, сбивая кусками золото с Фра Анжелико и неистово крича:

— Все эти картины, все эти Греко, Беато Анжелико, Фрагонары, Жерар Давиды и Бодуэны, да Бодуэны, все, все, все написаны Гинардоном, подлецом и негодяем. Этого Фра Анжелико я видела, когда он писал его на моей гладильной доске, а этого Жерара Давида он состряпал на старой вывеске акушерки. Я еще разделаюсь с тобой, скотина, и с твоей потаскушкой, как разделалась с твоими мерзкими картинами!

И схватив за фалды какого-то старого любителя, который спрятался, дрожа от страха, в самый темный угол комнаты, она сделала его свидетелем всех злодейств Гинардона, поддельвателя и клятвопреступника. Потребо-

залась полиция, чтобы вытащить ее из опустошенного магазина. Когда ее вели к комиссару, окруженную огромной толпой любопытных, она подымала к небу воспаленные глаза и кричала; рыдая:

— Но вы не знаете совсем Мишеля! Если бы вы его знали, вы поняли бы, что нельзя жить без него. Мишель! Он прекрасный, он добрый, он чудесный. Это Бог, это любовь! Я его люблю! Я его люблю! Я его люблю! Я знавала высоких особ, герцогов, министров и еще выше того... Никто из них не достоин вычистить башмаки Мишелю. Добрые господа, верните его мне!

Глава двадцать третья,

где читатель увидит замечательный нрав Бушотты, которая не поддается насилию, но уступает любви. Пусть же не говорят после этого, что автор ненавистник женщин.

Выйдя от барона Макса Эвердингена, князь Истар зашел съесть устриц и выпить бутылку белого вина в кабачок на Рынке. Затем, соединяя в себе осторожность и силу, он направился к своему другу, Теофилю Белэ, чтобы спрятать в шкаф музыканта бомбы, напоявшие его карманы. Автора Алины, королевы Голкондской, не было дома.

Керуб застал Бушотту разучивающей перед зеркальным шкапом роль. Молодая актриса должна была играть главную роль в оперетке Апаши, репетировавшей тогда в большом Мюзик-Холле, роль женщины, увлекающей непристойными движениями прохожего в засаду и затем с садистической жестокостью повторяющей перед связанной по рукам и ногам несчастной жертвой сладострастные призывы, которым он поддался.

Она должна была показать в этой роли и свой голос и мимику, и это приводило ее в восторг.

Акомпаниатор только что ушел. Князь Истар сел за рояль, и Бушотта принялась снова за работу. Ее движения были циничны и прелестны. На ней были надеты одна только коротенькая юбка и рубашка, соскользнув-

шая с правого плеча и открывшая подмышку, тенистую и густую, как священный грот Аркадии; ее волосы разметались в разные стороны рыжими прядями, ее влажная кожа испускала запах фиалок и солей, заставлявший расширяться ноздри и круживший ей самой голову. Внезапно опьяненный запахами этого горячего тела, князь Истар поднялся и, не говоря ничего даже глазами, схватил ее в объятия и бросил на диван, на маленький диван в цветах, который Теофиль купил в знаменитом магазине, обвязавшись вносить по десяти франков в месяц в продолжение многих лет.

Керуб обрушился как глыба скалы на это хрупкое существо; его дыхание свистело, как кузнечный горн, огромные пальцы впивались глубоко и душили тело, которое обнимали. Если бы Истар попросил Бушотту, если бы он склонил ее предварительно на краткое, но взаимное объятие, она, будучи в волнении и возбуждении, не отказала бы ему. Но Бушотта была горда; ее дикая гордость проснулась при первой опасности унижения. Она понимала, что можно отдаться, но не могла позволить взять себя насильно. Она уступила бы любви ради любопытства, жалости, даже еще чего нибудь меньшего, но она предпочитала бы лучше умереть, чем уступить силе. Ее удивление немедленно перешло в ярость. Все ее существо восстало против насилия. Своими острыми от ярости ногтями она царапала щеки и глаза Керуба и, полураздавленная горой этого тела, напрягла с такой силой свои бедра, локти и колена, что этот человек, подобный быку, ослепленный кровью и болью, отпрянул, наконец, и обрушился на пианино, которое издало жалобный стон, в то время как рассованные по всем его карманам бомбы выскочили оттуда и рассыпались по полу с громовым шумом. Бушотта, с разметанными волосами, с обнаженной грудью, прекрасная и страшная, замахивалась кочергой на поверженного колосса и кричала: «Убирайся, не то я выколю тебе глаза».

Князь Истар пошел вымыться в кухню и погрел свое окровавленное лицо в миску, где мочла фасоль; затем он удалился без всякого гнева и злобы, потому что у него была возвышенная душа.

Едва только он вышел, как позвонил звонок у двери. Бушотта напрасно звала ушедшую прислугу и, наконец, накинув халат, пошла сама открывать.

Молодой человек, весьма корректный и довольно красивый, вежливо ей поклонился, извинился, что принужден сам ей представиться, и назвал свое имя. Это был Морис д'Эспарвье.

Морис, не переставая, искал своего ангела-хранителя и, поддерживаемый надеждой отчаяния, искал его в самых необычайных местах. Он расспрашивал о нём у гадалок, у магов, у прорицателей, которые в грязных лачугах открывают неисповедимое будущее и распоряжаются всеми кладами на земле, нося штаны с прорванным задом и литаясь скверным сыром. В тот день Морис разыскивал на Монмартре одного сатанического священника, который занимался черной магией и совершал заклинания. После того Морис отправился к Бушотте исполнить поручение мадам де-Ла-Вердельер, которая устраивала праздник в пользу охранения деревенских церквей и хотела просить участвовать в нем Бушотту, ставшую внезапно, неизвестно почему, модной актрисой. Бушотта посадила гостя на маленький диван в цветах, сама села, по просьбе Мориса, рядом с ним, и сын достойных родителей изложил певице желание графини де-Ла-Вердельер; эта дама надеялась, что Бушотта споет одну из тех песенок апашей, которые так нравятся светским людям. К сожалению, графиня де-Ла-Вердельер может предложить лишь очень скромное вознаграждение, совершенно несоизмеримое с качествами артистки, но дело шло с такой доброй целью...

Бушотта дала согласие на свое участие и приняла все условия со щедростью, обычной для бедных по отношению к богатым, и для артистов по отношению к светским людям. Бушотта была бескорыстна, вечер в пользу деревенских церквей интересовал ее. Она всегда вспоминала со слезами и рыданиями свое первое причастие, и еще теперь сохраняла веру. Когда она проходила мимо церкви, у нее являлось желание войти в нее, в особенности вечером. Оттого она не любила Республику, которая ста-

рается разрушить Церковь и армию. Ее сердце радовалось, видя, как возрождается национальное чувство. Франция поднимала голову, и в Мюзик-Холле теперь больше всего аплодировали песенкам про солдат и про сестер милосердия. Тем временем Морис вдыхал аромат ее рыжих волос, острый и нежный запах ее тела, все соли, которыми дышало оно, и в нем проснулось желание. Он чувствовал ее, такую нежную и горячую, близко около себя на маленьком диване. Он выразил свое восхищение ей, как актрисе, ее талантам. Она спросила у него, что он предпочитает из всего ее репертуара. Он его совсем не знал, тем не менее нашел ответы, которые ее удовлетворили; она, сама того не замечая, продиктовала ему их. Тщеславясь, она говорила о своем таланте, об успехах, как ей хотелось, чтобы о ней говорили. Она была неиссякаема в рассказах о своих триумфах; в конце концов, то была сама наивность. Морис воздал искренние похвалы красоте Бушотты, свежести ее лица и стройности ее фигуры. Она достоинства своего лица приписывала тому, что никогда не белится. Что же касается форм, она согласилась, что у нее всего в меру и ничего лишнего и, чтобы удлинить свои слова, она провела руками по всем контурам своего очаровательного тела, приподнявшись слегка, чтобы удобнее обвести рукой счастливые части, на которых она сидела. Морис был весьма взволнован этим.

Смеркалось. Она предложила зажечь лампу. Он попробовал ее не беспокоиться.

Их беседа продолжалась, сначала веселая и шуточная, затем интимная, очень нежная, с некоторой томностью. Бушотте казалось, что она знает Мориса д'Эспарвье уже давно, и, считая его за порядочного человека, она стала делать ему признания.

Она сказала ему, что была рождена, чтобы стать честной девушкой, но что у нее была скупая и бессовестная мать. Морис навел ее снова на разговор о ее наружности и возбудил в ней искусной лестью пристрастие к самой себе. Терпеливо и постепенно, несмотря на пыл, который все возрастал в нем, он рождал в ней желание, чтобы ею еще больше восхищались и любовались. Платье открылось и само соскользнуло на пол, и живой атлас ее

плеч блеснул в таинственном свете вечера. Он был так осторожен, так ловок и искусен, что замкнул ее в своих объятиях, горячую и бессильную, прежде чем она заметила, что успела согласиться на что-нибудь существенное. Они смешали свои дыхания и шопот. И маленький диван в цветах вздыхал вместе с ними.

Когда их чувства стали вновь выразимы словами, она шепнула ему на ухо, что у него кожа нежнее, чем у нее самой.

Он сказал ей держа ее в объятиях:

— Как приятно сжимать тебя так. Кажется, что у тебя нет костей.

Она ответила, закрывая глаза:

— Это оттого, что я тебя люблю. От любви во мне тают кости, я делаюсь вся мягкая, вся растворяюсь, как студень.

При этих словах вошел Теофиль, и Бушотта пригласила его поблагодарить Мориса д'Эспарвье, имевшего любезность принести приглашение от графини де-Ла-Вердельер.

Музыкант был счастлив найти мир и тишину в доме после целого дня тщетных поисков, пошлых уроков, неудач и унижений. Ему предлагали трех сотрудников, которые должны были вместе с ним подписать его оперетту и разделить права автора: ему ставили также в условие, чтобы он ввел танго при дворе королевы Голконды. Он пожал руку молодому д'Эспарвье и упал усталый на маленький диван, который на этот раз не выдержал, лишился сразу всех четырех ножек и внезапно рухнул. И ангел покатился на пол, на часы и портсигар, выпавшие из кармана Мориса, и на бомбы, принесенные князем Истаром.

Глава двадцать четвертая,

рассказывающая превратности судьбы, испытанные
Лукрецием с гербом Вандома.

Леже Массё, преемник Леже старшего, переплетчик с улицы Аббе, против старого Аббатства Сен-Жермен де-Пре, где кишат школы и ученые общества, держал превосходных мастеров, но очень немногочисленных и медленно обслуживал своих старинных клиентов, привычных к терпению. Шесть недель спустя после того, как он получил книги от Сарнета, Леже Массё еще не брался за них. И лишь к концу пятьдесят третьего дня, проверив книги по списку, составленному Сарнетом, переплетчик роздал их своим мастерам. Маленький Лукреций с гербом Вандома не значился в этом списке, и Леже Массё решил, что он принадлежит другому клиенту. И так как его не оказалось ни в одном заказе, то он и остался лежать в шкапу, откуда сын Леже Массё, молодой Эрнест, вытащил его потихоньку и сунул в карман. Эрнест был влюблен в соседнюю белошвейку, по имени Роза. Роза любила ездить за город и слушать птиц в лесу. И чтобы добыть средства свезти ее в воскресенье обедать в Шату, Эрнест уступил Лукреция за десять франков старику Моранже, торгующему всякой рухлядью и не любопытному относительно происхождения предметов, которые он приобретал. Моранже в тот же день продал этот том за шестьдесят франков господину Пуссар, книгопродавцу в Сен-Жерменском предместье. Тот стер с главного листа штемпель, который выдавал происхождение этого экземпляра, и продал его за пятьсот франков Жозефу Мейеру, известному собирателю, который немедленно уступил его за три тысячи франков господину Ардон, книгопродавцу, предложившему его тотчас же знаменитому парижскому библиофилу, господину Р., который заплатил ему шесть тысяч и через две недели перепродал с почтенной надбавкой графине де-Горс. Эта дама, весьма известная в высшем парижском обществе, была

любительницей картин, книг и фарфора. Она хранила в своем дворце на авеню д'Иена коллекции предметов искусства, свидетельствовавшие об ее разнообразных знаниях и хорошем вкусе. В июле месяце, когда графиня де-Горс была в своем замке Сарвиль, в Нормандии, ее дворец на авеню д'Иена, где тогда никто не жил, посетил ночью вор, который, как потом оказалось, принадлежал к шайке, носившей кличку «коллекционеров» и похищавшей главным образом предметы искусства.

По расследованиям полиции, злоумышленник воспользовался водосточной трубой, чтобы добраться до первого этажа, затем он влез на балкон, взломал ставню, вырезал стекло, отодвинул задвижку и проник в большую галерею. Там, взломав ряд шкапов, он отобрал несколько предметов, которые ему понравились, преимущественно маленького размера: золотые табакерки, несколько изделий из слоновой кости XIV века, две драгоценных рукописи XV века и книгу, которую секретарь графини обозначил кратко, как «сафьяновый переплет с гербом» и которая была не чем иным, как Лукрецием из библиотеки д'Эспарье.

Преступник, бывший, как подозревали, английским поваром, найден не был. Но два месяца спустя после кражи, какой-то молодой человек, элегантный, с бритым лицом, проходя в сумерках по улице Курсель, предложил Гинардону Лукреция с гербом Вандома. Антиквар заплатил ему сто су, рассмотрел книгу, понял ее ценность и красоту и спрятал ее в комод лилового дерева, куда он запирал драгоценности.

Таковы были превратности судьбы, которые претерпела за один сезон эта очаровательная вещь.

Глава двадцать пятая.

где Морис находит своего ангела.

Бушотта после представления разгормировалась у себя в уборной. Ее старый покровитель, господин Сандрак, тихо вошел к ней, и за ним проникла толпа поклон-

ников. Не оборачиваясь, она спросила у них, зачем они явились, что они как дураки глазюют на нее, точно на ярмарке в Нейли в балагане диковинок.

— Госпожи и господа, опустите десять сантимов в кружку на приданое бедной девочки и вы можете пощупать ее икры: это как мрамор!

И бросив раздраженный взгляд на кучку любопытных, Бушотта закричала:

— Ну! Кш! убирайтесь!

Она выгнала всех, не исключая и своего друга сердца, Теофиля, который был там, бледный, взъерошенный, тихий, печальный, близорукий и рассеянный. Но увидав своего милого Мориса, она улыбнулась. Он приблизился к ней, нагнулся над спинкой стула, где она сидела, и поздравил ее с изумительной игрой и пением, сопровождая каждую похвалу движением и звуком поцелуя. Она не удовлетворилась этим и заставляла его повторять во второй, в третий, в четвертый раз восторженные тирады, когда он останавливался, она, казалось, была так огорчена, что ему приходилось начинать их снова. Ему было трудно, так как он не был знатоком, но имел удовольствие видеть круглые и полные плечи, золотящиеся в свету, и следить за красивым лицом, отражавшимся в зеркале туалета.

— Вы были восхитительны.

— Правда? Вы это находите

— Дивная, божест.....

Вдруг он испустил громкий крик. Его глаза увидели в зеркале фигуру, появившуюся в глубине уборной. Он резко поворачивается, бросается с распростертыми объятиями к Аркадию и увлекает его в коридор.

— Однако и нравы!—вскричала Бушотта, остолбеневшая от удивления.

Но молодой д'Эспарвье тем временем тащил сквозь свору ученых собак и семью американских акробатов своего ангела к выходу.

В тени и свежести бульвара, пьяный от радости и еще не веря всему счастью, он говорил:

— Наконец-то вы! Вы! Я вас ищу так давно, Аркадий, Мирар, называйтесь там как хотите, наконец-то я

вас нашел. Аркадий, вы отняли у меня моего ангела-хранителя, верните его мне. Аркадий, любите ли вы еще меня?

Аркадий отвечал, что, исполняя сверхангельскую задачу, которую он на себя возложил, он должен был по-прать дружбу, сострадание, любовь, все те чувства, которые размягчают душу, но что, с другой стороны, это новое состояние, обрекая его на страдания и лишения, сделало его способным к человеческой нежности и что он испытывает к своему бедному Морису машинальную дружбу.

— Ну что же!—вскричал Морис,—раз вы меня хоть немного любите, вернитесь ко мне, оставайтесь со мной. Я не могу обойтись без вас. Когда вы были около меня, я не замечал вашего присутствия. Но как только вы исчезли, я почувствовал в себе страшную пустоту. Без вас я, как тело без души. Знаете ли, даже в квартирке на улице Рима, рядом с Жильбертой, я чувствую себя одиноко, тоскую по вас и жажду видеть и слышать вас, как в тот день, когда вы меня так рассердили... Сознайтесь, что я был прав и что вы вели себя в тот день не как человек из общества. Как вы, с вашим высоким происхождением, с вашей благородной душой, как могли вы совершить подобную неловкость? Нет, это непостижимо, если подумать. Госпожа Обель вас еще не простила. Она упрекает вас в том, что вы ее напугали, появившись так некстати, и проявили очень дерзкую нескромность, застегивая ей платье и зашнуровывая башмаки. Я же все забыл. Я помню только, что вы мой небесный брат, святой спутник моего детства. Нет, Аркадий, вы не должны, вы не можете расстаться со мной. Вы мой ангел, вы мое благо.

Аркадий указал молодому д'Эспарвье, что он больше не может быть ангелом-хранителем у христианина, после того, как сам бросился в пропасть. И он изобразил себя ужасным, дышащим гневом и ненавистью, истинно адским духом.

— Вздор,—говорил Морис, улыбаясь, с полными слез глазами.

— Увы, наши идеи, наши судьбы, все нас раз'единяет, милый Морис. Но я не могу заглушить в себе нежность,

которую питаю к вам, и ваше простодушие заставляет меня вас любить.

— Нет,—вздыхнул Морис,—вы меня не любите. Вы меня никогда не любили. Со стороны брата или сестры такое равнодушие естественно, со стороны друга оно обычно, но со стороны ангела-хранителя оно чудовищно. Аркадий, вы ужасное существо. Я вас ненавижу.

— Я вас нежно любил, Морис, и я вас еще люблю. Вы взволновали мое сердце, которое я считал защищенным тройной броней; вы открыли мне мою слабость. Когда вы были маленьким невинным мальчиком, я вас любил столь же нежно, но более чисто, чем мисс Кэт, ваша англичанка, которая обнимала вас с ужасным вождением. В деревне, в то время года, когда тонкая кора платанов слезает длинными полосами и обнажает нежно зеленые стволы, после дождей, которые наносят мелкий песок, я учил вас делать из этого песка и этих кусков коры, из полевых цветов и тончайших веток сельские мостики, дикие хижины, террасы и те сады Адониса, которые держатся не больше часа. В мае месяце в Париже, мы воздвигали алтарь Богородице и зажигали ладан, запах которого, распространявшийся по всему дому, напоминал Марселлине, кухарке, ее деревенскую церковь и ее потерянную невинность и вызывал у нее обильные слезы, а у вашей матери, изнемогающей среди роскоши от скуки, общей всем счастливым на сей земле, причинял головную боль. Когда вы стали ходить в коллеж, я интересовался вашими успехами; я делил ваши работы и игры; думал с вами вместе над трудными арифметическими задачами, искал непонятный смысл той или иной фразы Юлия Цезаря. Сколько отличных партий в мяч сыграли мы вместе!

Не раз мы знавали опьянение победы, и наши юные лавры не были обгажены ни слезами, ни кровью. Морис, я сделал все возможное, чтобы поддержать вашу невинность, но я не мог помешать вам ее потерять в возрасте четырнадцати лет в объятиях горничной вашей матушки. Затем я с сожалением видел, как вы любили женщин всех званий, всех положений, различных возрастов и не всегда красивых, по крайней мере, на взгляд ангела. Опечаленный этим зрелищем, погрузился я в занятия; богатая

библиотека предоставляла мне возможности, которые редко можно найти. Я углубился в историю религий. Остальное вы знаете.

— Но теперь, мой дорогой Аркадий,—заклучил молодой д'Эспарвье,—у вас нет больше ни положения, ни занятий; вы без средств, вне общества. Вы бродяга, нищий.

Ангел возразил не без едкости, что тем не менее он теперь одет немного лучше, чем когда на нем висели лохмотья самоубийцы.

Морис сослался в свое оправдание на то, что когда он доставал лохмотья самоубийцы, он был раздражен на своего неверного ангела. Но стоит ли возвращаться к прошлому и взаимно упрекать друг друга, не лучше ли подумать, на что решиться теперь.

— Аркадий, что вы собираетесь делать?

— Я уже вам сказал, сразиться с Тем, Кто царствует на небесах, свергнуть его и водворить на его место Сатану.

— Вы не будете этого делать! Прежде всего момент не подходящий. Общественное мнение не с вами. Вы не попадете в ритм, как говорит отец. Сейчас настроение в пользу консерватизма и авторитета. Все хотят сильной власти, и президент Республики скоро будет беседовать с папой. Не прячьтесь, Аркадий, вы вовсе не такой дурной, как говорите. В глубине души вы такой же, как и все: вы любите доброго Бога.

— Я, помнится, вам уже доказал, мой милый Морис, что Тот, Кого вы считаете за Бога, есть всего на всего демиург. Он совершенно не знает божественного мира, высшего чем он сам, и считает себя вполне искренно единственным настоящим Богом. Вы найдете в «Истории Церкви» монсеньора Дюшена, том I, страница 162, что этот гордый и ограниченный демиург называется Иалдабаоф. И вы, может быть, окажете больше доверия этому духовному историку, чем вашему ангелу. Я должен вас покинуть. До свиданья.

— Оставайтесь.

— Я не могу.

— Я не дам вам так уйти. Вы у меня отняли моего ангела-хранителя. И вы же должны возместить потерю, которую вы мне причинили. Дайте мне другого ангела!

Аркадий заметил, что он не имеет возможности удовлетворить подобное требование. Поссорившись с верховным распределителем небесных хранителей, он ни на что не мог более рассчитывать с Его стороны.

— Нет дорогой Морис,—добавил он улыбаясь,—уж просите сами себе другого ангела у Иалдабаофа.

— Нет! Нет! Нет! Никакого нет Иалдабаофа!—вскричал Морис.—Вы взяли у меня ангела-хранителя, вы же и верните его мне.

— Я не могу, увы!

— Вы не можете, Аркадий, оттого что вы мятежник?

— Да.

— Враг Бога?

— Да.

— Сатанинский Дух?

— Да.

— Хорошо же!—вскричал молодой д'Эспарвье,—так я буду вашим ангелом-хранителем! Я вас не покину.

И Морис. д'Эспарвье повел Аркадия есть устрицы к П...

Глава двадцать шестая

Совещание.

В тот день созданные Аркадием и Зитой восставшие ангелы собрались на берегу Сены, у Жоншер, в старом и заброшенном театральном зале, который нанял князь Истар у трактирщика по имени Бараттан. Триста ангелов теснились на скамьях и в ложах. Стол, кресло и несколько стульев стояли на сцене, где висели обрывки какого-то сельского пейзажа. Стены, на которых клеевыми красками были расписаны цветы и плоды, облупившиеся и потрескавшиеся, обваливались кусками.

Убогая вульгарность помещения делала еще более потрясающим величие страстей, которые там разгорались.

Когда князь Истар попросил собрание образовать бюро и выбрать прежде всего почетного председателя, то на мысль всем собравшимся пришло имя, заполнявшее все сердца; религиозное уважение, однако, накрыло уста всем. И после минуты молчания был единогласно выбран отсутствующий Нектарий. Приглашенный занять кресло между Зитой и японским ангелом, Аркадий тотчас начал говорить:

— Сыны неба! Товарищи! Вы освободились от небесного рабства, вы скинули с себя иго того, кого называют Ягве, но кому мы должны вернуть здесь его настоящее имя Иалдабаофа, потому что он не есть создатель миров, но всего только невежественный и варварский демиург, который, завладев самой маленькой частицей Вселенной, посеял там страдание и смерть. Сыны неба, я прошу вас сказать, хотите ли вы сразиться и уничтожить Иалдабаофа?

Как один голос, собрание ответило:

— Да; мы хотим.

И многие, заговорив сразу, клялись взойти на гору Иалдабаофа, опречь стены из яшмы и порфира и низвергнуть тирана небес в вечную тьму.

Вдруг чей-то кристаллический голос прорезал мрачный гул.

— Нечестивцы, святотатцы, безумцы, трепещите. Господь распростер уже над вами свою прозную руку.

То был верный ангел, который в порыве веры и любви, завидуя славе исповедников и мучеников, ревнуя, как и сам Бог, сравняться с красотой человеческого подвига, замешался в толпу богоотступников, чтобы бросить им вызов, смутить их сердца и пасть под их ударами. Собрание обратило на него свой единодушный гнев. Те, кто стоял к нему ближе, начали его бить.

Он же говорил ясным и живым голосом:

— Хвала Богу! Хвала Богу! Хвала Богу!

Один из восставших сдвинул ему горло и так прервал похвалы Господу. Его повалили, ватоптали ногами.

Князь Истар поднял его, взял двумя пальцами за крылья и, вытянувшись, как столб дыма, открыл форточку, до которой никто другой не мог бы достать, и вы-

швырнул в нее верного ангела. Немедленно восстановился порядок.

— Товарищи,—воскликнул Аркадий,—теперь, когда мы высказали свое решение, нам надо изыскать способы, как действовать и выбрать из них лучшие. Итак, вам нужно обсудить, должны ли мы открытой силой идти на врага или склонить народы на нашу сторону долгой и упорной пропагандой.

— Война! Война!—кричало собрание.

И казалось, были слышны звуки труб и бой барабанов.

Теофиль, которого князь Истар силой затащил на собрание, поднялся бледный и расстроенный и сказал взволнованным голосом:

— Братья, не поймите дурно то, что я вам сейчас скажу. Любовь к вам вдохновляет меня. Я всего только бедный музыкант. Но верьте мне: ваши планы еще раз разобьются о божественную мудрость, которая все предусмотрела.

Теофиль Белэ опустилсЯ под шикание.

Аркадий возразил ему:

— Иалдабаоф предвидит все: я не спорю. Он все предвидит; но чтобы предоставить нам свободную волю, он действует по отношению к нам совершенно так, как будто ничего не предвидит. Его каждую минуту что-либо удивляет, смущает, и происшествия самые вероятные застают его врасплох. Обязательство, которое он взял на себя согласовать со своим провидением свободу людей и ангелов, постоянно ставит его в безвыходные положения и ужасные затруднения. Он никогда не видит дальше своего носа. Он не ожидал непослушания Адама и так мало предвидел злобу людей, что даже стал раскаиваться, зачем их создал, и потопил их всех в водах потопа вместе с животными, которых не в чем было упрекнуть. По слепоте его можно сравнить только с Карлом X, его любимым королем. Если мы соблюдем некоторую осторожность, то его не трудно будет захватить врасплох. Думаю, что этих соображений достаточно, чтобы успокоить нашего собрата.

Теофиль не ответил. Он любил Бога, но боялся подвергнуться участи верного ангела.

Один из самых образованных ангелов собрания, Маммон, не был вполне удовлетворен рассуждениями своего брата Аркадия.

— Подумайте,—сказал этот ангел,—Иалдабаоф мало затронут общей культурой, но это солдат до мозга костей. Устройство Рая, это устройство чисто военное, основанное на иерархии и дисциплине. Слепое повиновение введено там, как абсолютный закон. Ангелы образуют армию. Сравните Рай с Елисейскими Полями, которые рисует Виргилий. В Елисейских полях все свобода; разум, мудрость; счастливые тени беседуют между собой в миртовых лесах. На небе же Иалдабаофа совершенно нет штатского населения; все служат в войсках, все записаны, занумерованы. Это казарма и плац-парад. Взвесьте это!

Аркадий возразил, что надо представлять своего противника в истинном виде, и что военная организация рая напоминает гораздо больше поселок дикарского царька, чем Пруссию Фридриха Великого.

— Уже,—сказал он,—во время первого восстания раньше начала Времен, сражение продолжалось два дня, и трон Иалдабаофа был поколеблен. Демиург тем не менее удержался. Но чему обязан он своей победой? Случайной грозе, которая разразилась во время сражения. Молния, упав на Люцифера и его ангелов, повергла их, обугленных и израненных. Иалдабаоф обязан своей молнии. Молния это его единственное оружие. Он злоупотребляет ею.

Среди молний и грома издает он свои законы. Огонь шествует пред Ним, говорит пророк. Но философ Сенека сказал, что молния, падая, несет опасность немногим и страх всем. Это замечание было правильно для людей первого века христианской эры, но неверно для ангелов XX века. Доказательство, что несмотря на все свои громы, он не очень силен, это ужасный страх, который внушила ему вавилонская башня. Когда мириады небесных духов, снабженные орудиями, которые доставит им современная наука, пойдут на приступ неба, неужели вы

думаете, друзья мои, что старый повелитель солнечной системы, окруженный своими ангелами, вооруженными как во время Авраама, сможет им противостоять? Войны демиурга до сих пор еще носят золотые каски и алмазные щиты. Михаил, его лучший военачальник, не знает никакой другой тактики, кроме боя один на один. Он так и не ушел еще от фараоновых колесниц и до сих пор не слышал о македонской фаланге.

И Аркадий долго еще продолжал проводить параллели между вооруженным стадом Иалдабаофа и сознательными войсками Революции. Затем был поднят вопрос о денежных ресурсах.

Зита уверяла, что у них достаточно денег, чтобы начать войну, что электрофоры уже заказаны и что первая же победа откроет кредит.

Споры продолжались, горячие и беспорядочные. В этом ангельском парламенте столь же обильно текли бесpoleвные разговоры, как и в собраниях людей. Все чаще и чаще возникали разногласия по мере приближения к голосованию. Бесспорно было лишь то, что высшее командование будет вверено тому, кто первый поднял знамя восстания. Но так как всякий стремился быть генералом у Люцифера, то всякий, описывая тип военачальника, которого следует избрать, описывал самого себя. Так, Альякор, самый молодой из восставших ангелов, произнес следующую быструю речь:

— К счастью, в армии Иалдабаофа командование дается по старшинству. Таким образом, мало шансов, чтобы оно было искусно в военных громах. Не долгим послушанием и не мелочной выучкой достигается умение командовать и подготовка к великим предприятиям. Мы видим из древней и новой истории, что величайшими полководцами были короли, как Александр и Фридрих, аристократы, как Цезарь и Тюренн, или же плохие воины, как Бонапарте. Профессионал всегда останется ничтожным и посредственным. Товарищи, создадим вождей талантливых и во цвете лет. Старик может сохранить привычку побеждать, но нужно быть молодым, чтобы завоевать эту привычку.

Философски настроенный Серафим сменил Алькора на трибуне:

— Война никогда не была,—сказал он,—ни точной наукой, ни определенным искусством. Все же в ней до сих пор давали себя чувствовать то гений расы, то мысль одного человека. Но каким образом определить качества, необходимые для главнокомандующего в будущей войне, где движение и масса будут таковы, что этого не охватит ум человеческий? Все увеличивающееся количество технических средств, возводя в бесконечность возможные причины ошибок, парализует талант полководцев. На той ступени военного развития, которого готовы достигнуть наши учителя европейцы, самый талантливый и самый невежественный полководец становятся равны в своем бессилии. Другое последствие огромных вооружений современности—это, что закон числа сказывается с неумолимой суровостью.

В самом деле, несомненно, что десять восставших ангелов стоят больше, чем десять ангелов Иалдабаофа; но это еще не доказывает, что миллион восставших ангелов превосходит миллион ангелов Иалдабаофа. Большие числа в войне, как и во всем, убивают единоличные способности и таланты в пользу, так сказать, коллективной души, весьма примитивной.

Шум разговоров покрыл голос философствующего ангела, который и закончил свою речь среди общего безразличия.

С трибуны тотчас же зазвучали призывы к оружию и обещания победы. Прославлялся меч, защитник правого дела. Победа восставших ангелов была заранее отпразднована аплодисментами возбужденной толпы. Крики «Да здравствует война!» летели к немym небесам.

Среди этих восторгов на эстраду взобрался князь Истар, и подмостки затрещали под его тяжестью.

— Друзья,—сказал он,—вы хотите победы и это желание понятно вполне. Но надо быть в конце испорченным литературой и поэзией, чтобы искать победы в войне. Идея войны может забрести теперь в голову разве только одуревшему буржуа или запоздалому романтику. Что такое война? Смешной маскарад, перед которым глупо из-

ливается пафос патриотических гитаристов. Если бы у Наполеона была практическая сообразительность, он не вел бы войну; но это был мечтатель, опьянявшийся Оссианом. Вы кричите «Да здравствует война!» Вы дети. Когда станете вы разумнее? Разумные люди не ждут силы и власти от всех выдумок, которые заключает в себе военное искусство: от всех этих тактик, стратегий, фортификаций, артиллерий и других подобных же пустяков. Они не верят в войну, которая есть только фантазия; они верят в химию, которая есть наука. Они обладают искусством вкладывать победу в алгебраическую формулу.

И вытащив из кармана маленькую бутылку на показ собранию, князь Истар вскричал с торжествующей улыбкой:

— Победа—вот она!

Глава двадцать седьмая,

где читатель найдет разоблачение тайной и глубокой причины, очень часто толкающей одно государство против другого и приготовляющей разорение победителям и побежденным, и где разумный читатель (если только такой найдется, в чем я сомневаюсь), призадумается над выразительной фразой: «Война—это коммерческое предприятие».

Ангелы разошлись. У подножья Медонского холма, сев на траву, Аркадий и Зита смотрели, как течет Сена между ивами.

— В этом мире,—говорил Аркадий,—в этом мире, который называется светом, хотя в нем больше вещей темных, чем светлых, ни одно мыслящее существо не должно воображать, что оно может вычеркнуть хотя бы один атом. Самое большее, нам позволено лишь надеяться, что мы можем изменить кое в чем ритм некоторых групп атомов и скомбинировать клеточки. Если вдуматься, то этим ограничивается вся наша грандиозная затея. И если мы поставим Люцифера на место Иалдабаофа, мы совершим всего только это... Зита, в чем

зло, в природе ли вещей или в их распределении? Вот что надо бы знать. Зита, я глубоко расстроен...

— Мой друг,—отвечала Зита,—если бы для того, чтобы действовать, нужно было знать тайны природы, то никто бы никогда не действовал. И никто бы не жил, когда жить—значит действовать. Аркадий, неужели вы потеряли решимость?

Аркадий стал уверять прекрасного архангела, что он тверд в решении низвергнуть демиурга в вечный мрак.

На дороге показался автомобиль, влача за собой длинный след пыли. Он остановился вблизи двух ангелов, и крючковатый нос барона Эвердингена показался в окне.

— Добрый день, небесные друзья, здравствуйте,—сказал капиталист, сын неба.—Я очень рад вас встретить. Я должен дать вам важный совет. Не будьте бездеятельны, не дремлите: вооружайтесь, вооружайтесь! Вы можете быть застигнуты врасплох Иалдабаофом. У вас есть военный фонд, прибегайте же к нему не задумываясь. Я только что узнал, что архангел Михаил сделал большие заказы на гром и молнию. Если вы меня послушаетесь, вы достанете еще пятьдесят тысяч электрофоров. Я приму заказ. До свиданья, ангелы! Да здравствует наша небесная родина!

И барон Эвердинген полетел к цветущим берегам Ду-весьенны, в обществе хорошенькой актрисы.

— Правда ли что демиург вооружается?—спросил Аркадий.

— Возможно,—ответила Зита,—что там наверху другой барон Эвердинген толкает их на вооружение.

Ангел-хранитель молодого Мориса оставался несколько минут в молчании. Затем он проговорил:

— Неужели мы будем игрушкой в руках финансистов?

— Ах!—сказал прекрасный архангел,—война—это коммерческое предприятие.

Она никогда не была ничем иным.

Они долго еще обсуждали средства выполнить свое грандиозное начинание. Отвергнув с презрением анархические приемы князя Истара, они остановились на вне-

запном вторжении в небесное царство их воодушевленных и хорошо подготовленных войск.

Бараттан, трактирщик от Ла-Жоншер, который отдал в наймы восставшим ангелам зал для собрания, был агентом полиции. В донесениях, которые он сделал префектуре, он изобличал всех членов этого тайного собрания, готовящих покушение на некое лицо, которое они называли тупым и жестоким и именовали Алабалоттом. Агент полагал, что это псевдоним, за которым скрывается или президент республики, или сама республика. Заговорщики единодушно произносили угрозы против Алабалотта, а один из них, субъект очень опасный, хорошо известный в анархических кругах и подвергавшийся уже многим наказаниям за возмутительные речи и писания, который называет себя князем Истаром или кличкой «Керуб», равмахивал бомбой маленького калибра и, по видимому, обладающей страшной силой. Другие заговорщики были незнакомы Бараттану, хотя он и посещал различные революционные собрания. Большинство из них были люди молодые, безбородые. Он выследил двоих, которые держали особо горячие речи, одного по имени Аркадий, живущего на улице Сен-Жак и одну женщину особых нравов по имени Зита, живущую на Монмартре, оба они не имели определенных занятий и средств к существованию.

Дело показалось префекту полиции довольно серьезным, и он счел необходимым посоветоваться о нем прежде всего с президентом совета министров.

То был один из периодических кризисов третьей республики, когда французский народ, влюбленный в сильную власть, считает себя погибающим, потому что им недостаточно управляют, и громко призывает спасителя. Президент совета министров, он же министр юстиции, находил, что лучше всего явиться желанным спасителем. Но, чтобы им сделаться, надо было предотвратить какую-нибудь опасность. Поэтому известие о заговоре было ему очень кстати. Он допросил префекта полиции о характере и важности дела. Префект полиции ответил, что, кажется, у этих людей есть деньги, энергия и

ум, но что они слишком много говорят и слишком многочисленны, чтобы действовать тайно и согласованно. Министр, откинувшись в кресло, раздумывал. Бюро в стиле Империи, за которым он сидел, старинные ковры, покрывавшие стены, часы и канделябры эпохи Реставрации, все в этом традиционном кабинете внушало великие принципы государственного управления, остающиеся неизменными в последовательной смене режимов—хитрость и смелость. После короткого размышления он решил, что надо дать развиться и созреть заговору и даже, может быть, следует его питать и поддерживать с тем, чтобы подавить его только тогда, когда удастся извлечь из него все необходимое.

Он приказал префекту полиции следить потщательнее за этим заговором, давать ему отчет о нем каждый день и держаться покуда роли лишь наблюдателя.

— Я рассчитываю на вашу осторожность, хорошо мне известную: следите и не вмешивайтесь.

И министр зажег папироску. Он очень рассчитывал при помощи этого заговора укротить оппозицию, укрепить свою власть, сократить своих коллег, унижить президента республики и сделаться ожидаемым всеми спасителем.

Префект полиции взялся за исполнение министерских инструкций, дав себе слово действовать только по своему усмотрению. Он приказал следить за лицами, на которых указал Бараттан, и велел своим агентам ни в каком случае не вмешиваться. Заметив, что за ним следят, князь Истар, который соединял в себе силу с осторожностью, извлек из дождевых труб бомбы, которые он туда прикреплял и перескакивая с автобуса на метро и с метро на автобус, самыми мудреными изворотами и обходами направился сложить свои снаряды у ангела-музыканта.

Аркадий, каждый раз, выходя из своего дома на улице Сен-Жак, заставал у дверей какого-то преувеличенно изящного господина в желтых перчатках, носившего в галстук брильянт больше размером, чем сам «регент». Чуждый земным вещам, восставший ангел не обращал никакого внимания на эти встречи. Но молодой Морис

д'Эспарвье, который поставил себе задачей охранять своего ангела-хранителя, смотрел с беспокойством на этого джентльмена, столь же упорного и еще более бдительно-го, чем Миньон, который когда-то бросал свои испытующие взгляды с бараньей головы дворца де-ла-Сорбьер до алтарного выступа церкви св. Сульпиция на улице Гарансьер. Морис заходил по два и по три раза в день навещать Аркадия в его меблированной комнате, предупреждал его об опасности и торопил переменить квартиру.

Каждый вечер он водил своего ангела в ночные кабачки, где они ужинали с девицами. Там молодой д'Эспарвье делал предсказания о предстоящем матче бокса, затем он старался доказать Аркадию существование Бога, необходимость религии и красоту христианства и заклинал его отказаться от нечестивых и преступных ватей, от которых у него останется только горечь разочарования.

— Потому что, в конце концов,—говорил молодой апологет, если бы христианство было ошибкой, то это было бы давно известно.

Девушки одобряли Мориса в его религиозных чувствах и когда прекрасный Аркадий произносил какие-нибудь святотатственные речи в непонятных им выражениях, они затыкали уши и заставляли его замолкнуть из страха быть вместе с ним пораженными громом на месте. Потому что они полагали, что Бог в своем всемогуществе и высшей доброте, наказывая за богохульство, способен без дурного намерения поразить и невинного вместе с виновным.

Иногда ангел и его хранитель ходили ужинать к ангелу-музыканту. Морис, который время от времени вспоминал, что был возлюбленным Бушотты, видел с неудовольствием излишние вольности Аркадия с певицей. Она позволяла ему их еще с того дня, когда ангел-музыкант починил маленький диван с цветами, после чего Аркадий и Бушотта немедленно соединились на нем. Морис, очень любивший госпожу Обель, любил немного и Бушотту и теперь слегка ревновал к ней Аркадия, а ревность, чувство свойственное как людям, так и животным,

причиняет им, даже будучи легкой, мучительную боль. Поэтому, подозревая правду, о которой достаточно ясно говорили ему темперамент Бушотты и характер ангела, он осыпал Аркадия сарказмами и бранью, упрекая его в безнравственности. Аркадий спокойно отвечал ему, что трудно подчинить физиологические позывы строго определенным правилам, и что моралисты встретились бы с большими трудностями в вопросе об известных выделениях.

— В конце концов,—сказал Аркадий,—я охотно признаю, что почти невозможно систематически обосновать естественную мораль. Природа не имеет принципов. Она не представляет нам никаких поводов верить в достоинство человеческой жизни. Природа равнодушна и не различает добра от зла.

— Вы видите,—возразил Морис,—что религия необходима.

— Мораль, данная будто бы свыше,—ответил ангел,—на самом деле вдохновляется грубейшим эмпиризмом. Только привычка управляет нравственностью. То, что предписывает небо, есть лишь санкция древних обычаев. Божественный закон, изданный среди фейерверка на каком-нибудь Синае, есть всегда только кодификация человеческих предрассудков. И оттого, вместе с переменной нравов в религиях, которые существуют века, как иудейство и христианство, меняется и мораль.

— Значит,—сказал Морис, ум которого на глазах увеличивался,—вы согласны со мной, что религия предотвращает многие беспорядки и преступления?

— За исключением тех случаев, когда она вызывает их, как например, убийство Ифигении.

— Аркадий,—вскричал Морис,—когда я слушаю ваши рассуждения, я радуюсь, что не принадлежу к числу людей интеллектуальных, как вы!

В это время Теофиль, склонив над пюпитром лицо, закрытое длинной прядью его светлых волос, и опустив свои вдохновенные пальцы на клавиши, играл и пел Алину, королеву Голконды.

Князь Истар являлся на эти дружеские сборища с карманами, полными бомб и бутылок шампанского, обя-

занный, как первыми, так и вторыми, щедрости барона Эвердингена. Бушотта с удовольствием принимала Керуба с тех пор, как она могла видеть в нем свидетельство своей победы, одержанной на маленьком диване с цветами. Он был для нее как бы отсеченной головой Голиафа в руках юного Давида. И она восхищалась в князе его искусством аккомпанировать, его силой, однажды ею укрощенной, и удивительной способностью пить.

Однажды ночью молодой д'Эспарвье отвозил в автомобиле своего ангела из дома Бушотты в квартиру на улице Сен-Жак; небо было темное, перед дверью дома брильянт шпиона горел, как маяк; три велосипедиста, собравшиеся на его свет, исчезли при приближении автомобиля в разные стороны. Ангел не обратил на это внимания, но Морис заключил, что действия Аркадия интересуют разных людей, имеющих власть в государстве. Он почувствовал приближающуюся беду; и тотчас же принял решение.

На следующее утро он явился к поднадзорному, чтобы перевести его на улицу Рима. Ангел был еще в постели. Морис стал торопить его одеваться и ехать.

— Едем, — говорил он. — Этот дом не безопасен больше для вас. За вами следят. Со дня на день вас арестуют. Неужели вы хотите ночевать в тюрьме? Нет. Ну, так идем. Я приготовил вам верное место.

Дух улынулся с оттенком сожаления своему наивному спасителю.

— Разве вы не знаете, — сказал он, — что ангел сломал двери темницы, где был заключен Петр, и освободил апостола? Неужели вы думаете, милый Морис, что я слабее по могуществу этого небесного собрата и не сумею сделать для самого себя то, что он сделал для рыбака Тибериадского озера.

— Не рассчитывайте на это, Аркадий. Он совершил чудо.

— Или совершил это каким-то чудом, как сказал один современный историк церкви. Но, впрочем, все равно. Я поеду с вами. Позвольте мне только сжечь кой-какие письма и собрать связки книг, которые мне понадобятся.

Он бросил в камин бумаги, рассовал по карманам не-

сколько книг и сел со своим руководителем в автомобиль, ожидавший их не遠деке, перед Коллежем Франции. Морис сел за руль. Подражая осторожности Керуба, он сделал несколько кругов и резких поворотов и сбил с току всех многочисленных и быстрых велосипедистов, бросившихся их преследовать. Наконец, исколесив город по всем направлениям, он остановился на улице Рима перед своей квартиркой, где некогда явился ему ангел.

Войдя в квартиру, откуда он вышел восемнадцать месяцев тому назад, чтобы исполнить свое назначение, Аркадий вспомнил невозвратное прошлое, и его поздри расширились, ощущая духи Жильберты. Он спросил, как поживает госпожа Обель.

— Очень хорошо,—ответил Морис,—она немного пополнила и очень похорошела. Она еще сердится на вас за вашу нескромность. Но я надеюсь, что она простит вам это когда-нибудь, как простил я, и забудет ваше оскорбительное поведение. Но пока она еще очень восстановлена против вас.

Молодой д'Эспарвье принял своего ангела с любезностью благовоспитанного человека и с нежными заботами истинного друга. Он показал ему складную постель, которая расставлялась каждый вечер в первой комнате и убиралась утром в темный чуланчик, показал туалет и все его принадлежности, ванну, шкаф для белья, комод и дал ему необходимые сведения относительно отопления и электричества, указав, что доставлять обед и убирать комнаты ему будет консьерж, которого можно вызвать при помощи звонка. Он попросил его чувствовать себя как дома и принимать кого ему вздумается.

Глава двадцать восьмая,

посвященная тягостной семейной сцене.

Пока у Мориса были любовницы только из числа порядочных женщин, его поведение не вызывало никаких упреков. Случилось совсем иначе, когда он стал посещать Бушотту. Его мать, закрывавшая глаза на связи, правда преступные, но элегантные и приличные, была

возмущена, узнав, что ее сын увлекается певицей. Берта, младшая сестра Мориса, знала во всей последовательности все приключения своего брата и рассказывала их без стеснения своим юным подругам. Маленький Леон, которому только что исполнилось семь лет, объявил однажды своей матери, в присутствии многих дам, что, когда он будет большой, он будет кутить как Морис. Материнское сердце госпожи д'Эспарвье было глубоко уязвлено.

В то же самое время серьезная домашняя неприятность взволновала господина Рене д'Эспарвье. Ему были вручены векселя, подписанные рукой его сына: подпись не была подделана, но было очевидно намерение заставить принять подпись сына за подпись отца: это был моральный подлог. И из этого поступка было видно, что Морис жил беспутно, делал долги и находился на волосок от совершения неблагоприятностей.

Отец семейства посоветовался об этом с супругой. Было решено, что он сделает строгий выговор сыну, заведет с ним разговор об обязанностях, и что через некоторое время появится мать, огорченная и нежная, чтобы склонить к прощению справедливо разгневанного отца. Распределив таким образом роли, Рене д'Эспарвье на следующий день велел позвать сына к себе в кабинет. Для большей торжественности он надел сюртук. Морис по этому признаку понял, что объяснение будет серьезным. Глава семейства, немного бледный, неуверенным голосом (он был робок) объявил, что он дольше не может терпеть беспутного образа жизни, которому предается его сын, и требует исправления, немедленного и полного.

Довольно кутежей, долгов, дурной компании, нужна работа, правильная жизнь, хорошие знакомства.

Морис охотно ответил бы с должным почтением своему отцу, который, в конце концов, делал ему справедливые упреки. К несчастью, Морис тоже был робок, а сюртук, который надел господин д'Эспарвье, чтобы более достойно совершить домашний суд, казалось препятствовал всякой задумчивости.

Морис хранил чепуховое молчание, и оно показалось вызывающим. Это молчание заставило господина д'Эспарвье повторить упреки и повторить их уже в более суро-

вой форме. Он открыл ящик своего исторического бюро, (того, на котором Александр д'Эспарвье написал свой Опыт о гражданских и религиозных учреждениях различных народов), и вытащил оттуда векселя, подписанные Морисом.

— Знаешь ли ты, сын мой,—сказал он,—что ты совершил настоящий подлог? Чтобы искупить такой тяжелый грех...

В эту минуту, как было условлено, появилась госпожа д'Эспарвье, готовая к выходу. Она должна была изображать ангела прощения. Но у нее не оказалось для этого ни внешности, ни характера. Она была мрачна и жестока. Морис хранил в себе зародыши всех обычных и необходимых добродетелей. Он любил и уважал свою мать. Он любил ее больше по долгу, чем по склонности, и его уважение основывалось больше на привычке, чем на чувстве. Щеки госпожи д'Эспарвье были покрыты багровыми пятнами, и так как она напудрилась, чтобы показаться красивее на домашнем суде, то цвет ее лица стал походить на малину в сахаре. Морис, обладавший хорошим вкусом, не мог не найти ее дурной и довольно таки отталкивающей. Он настроился против нее, и когда она заговорила, прибавляя новые упреки к упрекам отца, блудный сын отвернул от нее голову, чтобы скрыть свое раздраженное лицо.

Она сказала:

— Твоя тетка де-Сен-Фен встретила тебя на улице в такой дурной компании, что она была довольна, что с тобой не раскланялась.

При этих словах Морис разразился.

— Тетка де-Сен-Фен! Каково, она еще оскорбляется! Когда весь свет внает, что она пускалась во все тяжкия. А теперь эта старая ханжа хочет...

Он остановился. Его взгляд упал на лицо отца, выразившее больше печали, чем негодования. Морис рассказывал в своих словах, как в преступлении, и не понимал, как они у него могли вырваться. Он готов был залиться слезами, упасть на колени, просить прощения, когда вдруг его мать, закатив глаза, воскликнула:

— Что я совершила, Господи, что ты дал мне такого сына.

Повернувшись, как будто его кто-то ударил при этих словах, которые показались ему выдуманными и смешными, Морис вдруг от горького раскаяния перешел к сладкой гордости преступления. Он яростно бросился в дерзость и мятеж и залпом извергнул поток таких слов, каких ни одна мать не должна была бы никогда услышать.

— Если вы желаете, так я вам скажу, что вместо того, чтобы упрекать меня, что я часто бываю у одной актрисы большого таланта и бескорыстной души, вы лучше бы не позволяли моей старшей сестрице, мадам де-Маржи, показываться каждый вечер повсюду с гнусным и противным суб'ектом, о котором все знают, что он ее любовник. И вы должны тоже лучше смотреть за младшей сестрой Жанной, которая пишет неприличные записки, меняя свой почерк, и потом делает вид, что находит их в своем молитвеннике и показывает их вам с притворной невинностью, чтобы огорчить вас и расстроить. Не худо было бы также запретить моему маленькому брату Леону в семь лет проделывать ужасные вещи с мадемуазель Капораль, и еще следовало бы сказать вашей горничной...

— Выйдите вон, я вас выгоняю из этого дома, — вскричал Рене д'Эспарвье, бледный от гнева, показывая на дверь дрожащей рукой.

Глава двадцать девятая,

где читатель увидит, как ангел, сделавшись человеком, и ведет себя по-человечески, то-есть желает жену ближнего своего и обманывает друга. Глава показывает всю корректность поведения молодого д'Эспарвье.

Ангелу понравилось его новое жилище. Он работал по утрам, выходил после полудня, несмотря на сыщиков, и возвращался спать. Как и прежде, Морис принимал госпожу Обель два или три раза в неделю.

Итак, дела шли великолепно, до одного прекрасного утра, когда Жильберта, которая накануне вечером забыла свой бархатный мешочек на столе в голубой комнате, пришла за ним и застала Аркадия в пижаме, лежащего на диване с папирсой, размышляющего о завоевании небес. Она испустила громкий возглас.

— Вы!.. если бы я знала, что застаю вас здесь, вы понимаете, конечно... Я пришла за мешочком, который в той комнате... Позвольте...

И она прошла мимо ангела осторожно и быстро, как мимо жаровни с углями.

Мадам Обель в то утро в костюме тайер резедового цвета была неподражаемо очаровательна. Узкая юбка обрисовывала ее движения, и каждый ее шаг был одним из тех естественных чудес, которые рождают удивление в сердце мужчины.

Она снова появилась с сумочкой в руках.

— Еще раз прошу у вас извинения. Я была далека от мысли...

Аркадий попросил ее сесть и побыть здесь минутку.

— Я не ожидала, — сказала она, — встретить вас в этой квартире. Я хорошо знаю, как вас любит д'Эспарвье, но тем не менее, я не сомневалась...

Погода вдруг испортилась. Рыжеватая тень наполнила комнату. Госпожа Обель сказала, что она ради гигиены пришла пешком и что надвигается гроза. И она спросила, нельзя ли ей позвать извозчика.

Аркадий бросился к ногам Жильберты, охватил ее руками, как драгоценную вазу, и стал ей говорить слова, которые не имеют сами по себе смысла, но выражают желание. Она закрывала ему руками глаза, рот и кричала:

— Я вас ненавижу!

И, разразившись рыданиями, попросила стакан воды. Она задыхалась. Ангел помог ей расстегнуть платье. В минуту столь крайней опасности она мужественно защищалась. Она говорила:

— Нет, нет!.. Я не хочу вас любить: я полюблю вас слишком.

Тем не менее она уступила.

В нежной близости, которая последовала за их взаимным удивлением, она ему сказала.

— Я часто расспрашивала о вас. Я знала, что вы посещаете кабачки Монмартра, что вас часто видят с мадемуазель Бушоттой, которая, впрочем, не очень красива, что вы сделались очень элегантны и зарабатываете много денег. Я не была этим удивлена. Вы созданы для успеха. В день вашего...—она показала пальцем на угол между окном и зеркальным шкапом—появления, я рассердилась на Мориса, что он дал вам отрепья какого-то самоубийцы. Вы мне понравились... О! не за вашу наружность. Не думайте, что женщины чувствительны, как это говорят, к внешней красоте. Мы ищем в любви нечто другое. Есть, я не знаю что... Одним словом, я в вас сразу влюбилась.

Темнота становилась все гуще

Она спросила:

— Правда, ведь вы не ангел? Морис верит, что вы ангел, но он верит всему, этот Морис...

Она спрашивала Аркадия взглядом, и ее глаза насмешливо улыбались.

— Сознаться, что вы нас одурачили тогда и что вы не ангел?

Аркадий ответил:

— Я желаю только одного: вам нравится, и я готов быть кем вы захотите.

Жильберта решила, что он не ангел, во-первых, потому, что ангелов не бывает, а потом, по причинам более специальным, которые ее заставили обратиться к делам любовным. Он ей не противоречил и еще раз слов оказалось недостаточно, чтобы выразить все их чувства.

Дождь на улице лил как из ведра, по окнам текли потоки, молния освещала муслиновые занавески, от грома дрожали стекла. Жильберта перекрестилась и прижалась к груди своего возлюбленного.

Она сказала ему.

— Ваша кожа белее, чем мол.

В ту минуту, как мадам Обель произносила эти слова, Морис вошел в комнату. Он возвращался мокрый, веселый, спокойный, счастливый объявить Аркадию, что в

ставке, которую они сделали пополам накануне в Лонг-шане, они выиграли в двенадцать раз больше чем поставили.

Застав женщину и ангела в любовном беспорядке, он пришел в ярость: кровь вздула ему шейные мускулы, залила краской лицо и раздула жилы на лбу. Он кинулся, сжав кулаки, на Жильберту, но внезапно остановился.

От сдержанного гнева его бросило в жар: ярость хлопотала в его груди, но гнев не вооружил его, как Архилоха, мстительным лиризмом. Он назвал только неверную блудливой сукой.

Тем временем она успела оправить платье и вернуть себе достоинство. Она поднялась, полная грации и стыдливости, и обратила на своего обидчика глаза, которые выражали в одно и то же время и оскорбленную добродетель, и всепрощающую любовь.

Но так как молодой д'Эспарвье не переставал осыпая ее грубой и монотонной бранью, то она рассердилась в свою очередь.

— Нечего сказать, хорош гусь. Что, я пришла сюда за вашим Аркадием, что ли? Вы же его сами привезли сюда и в каком еще виде... У вас было давно на уме передать меня вашему другу. Так успокойтесь: напрасно старались, я не доставлю вам этого удовольствия.

Морис д'Эспарвье ответил ей просто:

— Вон отсюда, тварь!

И он сделал вид, что выталкивает ее ногой. Аркадию тяжело было видеть такое недостойное обращение с его влюбленной; но он не нашел в себе необходимой силы, чтобы возражать Морису. Мадам Обель, сохранившая все свое достоинство, устремила на молодого д'Эспарвье властный взгляд и сказала:

— Сходите за извозчиком!

И такова власть женщины над благовоспитанными молодыми людьми нашей галантнейшей нации, что этот представитель ее, отправился тотчас же приказать консьержу позвать такси. Мадам Обель удалилась, бросив на Мориса взгляд полный презрения, какой должна бросать женщина на того, кого она обманула, и стараясь придать всем своим движениям особое очарование. Морис смотрел

как она удаляется с выражением равнодушия, которого он, однако, не ощущал. Затем он повернулся к ангелу, на котором была надета пиджама в цветочках, та пиджама, которую сам Морис носил в день его появления, и это обстоятельство, незначительное само по себе, еще увеличило злобу на гостя, так недостойно его обманувшего.

— Ну,—сказал он,—вы можете гордиться тем, что вы прегнусная личность. Вы вели себя подлым образом и совершенно напрасно. Если эта женщина вам так понравилась, вам стоило только сказать мне. Мне она надоела. Мне она больше не нужна. Я бы с охотой ее вам уступил.

Он говорил так, чтобы скрыть свое страдание, потому что любил Жильберту больше чем когда-либо, и измена этого существа заставляла его сильно мучиться. Он продолжал:

— Я как раз собирался просить вас избавить меня от нее, но вы поддались своей грязной натуре и вели себя как свинья.

В эту торжественную минуту Аркадию достаточно было бы произнести одно слово, вышедшее из глубины сердца, и молодой Морис, разразившись рыданиями, простил бы все своему другу и своей любовнице, и все трое стали бы вновь довольны и счастливы. Но Аркадий не был вспоен молоком человеческой нежности. Он никогда не страдал и не умел вовсе сочувствовать страданию. Он ответил холодно и мудро.

— Мой милый Морис, необходимость, руководящая и связующая меж собою действия одушевленных существ, приводит к результатам, часто неожиданным и порой нелепым. Таким образом, и мне суждено было сделать вам неприятное. Вы бы не стали меня ни в чем упрекать, если бы обладали философией природы; вы бы знали тогда, что воля есть только иллюзия, и что физиологическое сродство столь же точно определено, как химические соединения, и может образовываться по тем же законам. Полагаю, что вам можно было бы доказать эти истины, но это было бы долго и трудно и, пожалуй, не принесло бы вам того спокойствия, которого вы лишились. Мне следует удалиться и...

— Пойдите,—сказал Морис.

У Мориса были очень точные представления об общественных обязательствах. Он ставил, когда помнил об этом, честь выше всего.

В данную минуту ему представилось с необычайной сидюю, что оскорбление, нанесенное ему, может быть смыто только кровью. Эта традиционная идея тотчас же придала его манерам и речи неожиданное благородство.

— Это я,—сказал он,—а не вы, должен покинуть эти комнаты, чтобы никогда в них не возвращаться. Вы же оставайтесь здесь, потому что вы должны скрываться. Ожидайте здесь моих секундантов.

Ангел улыбнулся.

— Я приму их, чтобы доставить вам удовольствие, но подумайте, мой дорогой Морис, ведь я неуязвим. Небесные духи, даже когда они материализованы, не могут быть задеты ни острием шпаги, ни пулей пистолета. Обратите внимание, Морис, на преимущественное положение, которое даст мне при поединке это фатальное неравенство, и вспомните, что при объяснении с вашими секундантами я не могу открывать им своей небесной природы; таких случаев еще не бывало.

— Милостивый государь,—возразил наследник Бюсаров д'Эспарвье,—об этом надо было подумать раньше, чем меня оскорблять.

И он гордо удалился. Но, как только он очутился на улице, он зашатался, точно пьяный. Дождь еще продолжался. Он шел, ничего не видя, ничего не слыша, наугад, попадая ногами в лужи, в потоки воды, в кучи грязи. Он долго блуждал вдоль внешних бульваров и, устав, наконец, повалился на краю какого-то пустыря. Он был перепачкан с ног до головы; грязь, смешанная со слезами, покрывала его лицо, края шляпы отвисли. Какой-то прохожий принял его за нищего и бросил ему два су. Он поднял медную монету, заботливо сунул ее в карман и отправился за секундантами.

Глава тридцатая,

где рассказывается о деле чести и где можно судить, прав ли Аркадий, говоря, что путем ошибок и опыта мы становимся лучше.

Местом дуэли был назначен сад полковника Маншона, на бульваре де-Ла-Рен, в Версале. Господин де-Ла-Вердельер и Трюк-де-Рюффек, оба имевшие постоянную практику в делах чести и в точности знавшие правила, были представителями Мориса д'Эспарвье. Ни одна дуэль в католическом светском обществе не обходилась без господина де-Ла-Вердельер, и, обратившись к этому мастеру дуэлей, Морис подчинился обычаю, хотя сделал это и не без некоторого отвращения, потому что был когда-то любовником госпожи де-Ла-Вердельер; впрочем, на де-Ла-Вердельера нельзя было смотреть, как на мужа, — это было учреждение. Что касается Трюк-де-Рюффека, то честь была его единственной известной профессией и единственным признанным источником существования; и когда злые языки говорили об этом в свете, то их спрашивали, какую же карьеру, лучше карьеры чести, мог сделать Трюк-де-Рюффек. Секундантами Аркадия были князь Иста и Теофиль. Ангел-музыкант вовсе не по своей воле и неохотно вмешался в это дело. Он питал ужас перед всяким насилием и осуждал единоборства.

Пистолетные выстрелы, бряцанье шпаг были ему невыносимы, а вид пролитой крови заставлял его лишаться чувств. Этот нежный сын неба упорно отказывался быть секундантом у Аркадия, и, чтобы его уговорить, Керубу понадобилось пригрозить ему разбить бутылку взрывчатого вещества об его голову. Кроме дуэлянтов, секундантов и докторов, в саду присутствовали только несколько офицеров версальского гарнизона и много журналистов. Хотя молодой д'Эспарвье и был известен лишь как сын почтенных родителей, а Аркадий вовсе не был известен на земле, дуэль все же привлекла довольно большое общество, и окна соседних домов заполнились фотографиями,

репортерами и светскими людьми. Что особенно возбуждало любопытство, это то, что причиной ссоры была женщина. Некоторые называли Бушотту, но большинство указывало на мадам Обель. Кроме того, было давно замечено, что дуэли, на которых секундантом бывал де-Ла-Вердельер, привлекали всегда весь Париж.

Небо было нежно голубое, сад был покрыт цветущими розами; дрозды свистели в кустах. Де-Ла-Вердельер, который с тросточкой в руке руководил поединком, сложил шпаги концы к концам и сказал:

— Начинайте, господа.

Морис д'Эспарвье нападал, применяя дубле и батманы. Аркадий твердо парировал. Первая схватка не дала никаких результатов. У секундантов получилось впечатление, что д'Эспарвье находится в досадном состоянии первического раздражения, и что его противник будет неутомим.

При второй встрече Морис усилил свои атаки, перестав закрываться рукой и открыв грудь. Он нанес прямой удар, конец его шпаги тронул в плечо Аркадия. Всем показалось, что тот ранен. Но секунданты с удивлением увидели, что не Аркадий, а Морис получил царапину на запястье. Морис заявил, что он ничего не чувствует, и доктор Килль после осмотра нашел, что его клиент может продолжать поединок.

После четверти часа установленного отдыха, дуэль возобновилась. Морис нападал с яростью. Его противник, очевидно, его жалел и, что очень беспокоило де-Ла-Вердельера, казалось невнимательно защищался. К началу пятой встречи, неизвестно откуда забравшийся в сад черный пудель, выскочил из густого розового куста, пробрался на место дуэли и, несмотря на трости и крики, кинулся под ноги Морису. Казалось, у того отяжелела рука, и он нападал на неуязвимого противника только плечом. Он снова пожелал нанести прямой удар и бросился сам на шпагу противника, которая нанесла ему глубокую рану у локтя.

Де-Ла-Вердельер остановил поединок, продолжавшийся полтора часа. Морис чувствовал сильное потрясение.

Его посадили на зеленую скамейку у стены в глициниях. В то время, как доктор перевязывал ему рану, он позвал Аркадия и протянул ему свою раненую руку. И когда к нему приблизился победитель, огорченный своей победой, Морис нежно обнял его и сказал:

— Будь великодушен, Аркадий, и прости мне твою измену. Теперь, после того, как мы дрались, я могу тебя просить помириться со мной.

Он, плача, обнял своего друга и прошептал ему на ухо:

— Приходи меня навестить и приведи Жильберту.

Морис, который все еще был в ссоре с родителями, велел отвезти себя на свою квартиру на улице Рима.

Как только его положили на постель, в глубине спальни, занавески которой были отодвинуты, как в день явления, он велел приблизиться Аркадию и Жильберте. Он начинал сильно страдать от своей раны: температура поднялась, но он был спокоен, счастлив, доволен.

Ангел и женщина в слезах бросились к его постели. Он соединил их руки в своей левой, улыбнулся им; нежно поцеловал каждого из них:

— Я уверен теперь, что больше не поссорюсь с вами: вы теперь больше меня не обманете, я знаю, что вы способны на все.

Заплаканная Жильберта клялась Морису, что он введен в заблуждение, что ему только показалось, что она его не обманывала с Аркадием, что она его никогда не обманывала. И в порыве искренности, она убеждала в этом самое себя.

— Ты говоришь неправду, Жильберта,—ответил ей раненый.—Это было. И это было нужно. И теперь это хорошо. Жильберта, ты хорошо сделала, что так гадко изменила мне с моим лучшим другом, в этой самой комнате. Если бы ты этого не сделала, мы не были бы сейчас здесь все трое, и я не испытывал бы самую большую радость в моей жизни. О! Жильберта, как ты ошибаешься, когда отрицаешь вещи прошлые и очень хорошие.

— Если ты так хочешь, мой друг,—сказала Жильберта немного с горечью,—то я не стану спорить. Но это только для твоего удовольствия.

Морис усадил ее на постель и просил Аркадия сесть в кресло.

— Друг мой,—сказал Аркадий,—я был невинен. Я сделался человеком. И тотчас же я стал делать зло. И оттого я стал лучше.

— Не будем ничего преувеличивать,—ответил Морис,—и давайте сыграем в бридж.

Но едва лишь больной успел увидеть три туза в своих картах, как в глазах у него помутилось, карты выскользнули из его рук, отяжелевшая голова упала на подушки, и он стал жаловаться на сильную головную боль. Почти тотчас же мадам Обель отправилась делать визиты; она старалась показываться в свете, чтобы опровергнуть своим спокойным и уверенным видом все слухи, ходившие о ней. Аркадий проводил ее до двери и вдохнул в поцелуе ее духи, которые принес с собой в комнату, где дремал Морис.

— Я очень доволен,—прошептал последний,—что все так обернулось.

— Произошло то, что должно было произойти,—ответил Дух.—Все восставшие, как я, ангелы поступили бы так же с Жильбертой; недаром сказал апостол, что женщины должны молиться, закрыв лицо, чтобы не смутить ангелов. И апостол говорил так потому, что он знал, как волнуются ангелы, когда видят красивых женщин. Едва лишь они касаются земли, как уже стремятся к соединению со смертными. Их объятие страшно и восхитительно; они обладают тайной невыразимых ласк, которые повергают дочерей человеческих в бевдну страсти. Зажигая на губах их счастливых жертв огненный мед, вливая им в жилы потоки освежающего пламени, они оставляют их изнеможенными и погруженными в восторг.

— Оставь меня в покое, животное!—вскричал раненый.

— Еще одно только слово!—возразил ангел,—одно только слово, дорогой Морис, чтобы я мог оправдаться, и я дам тебе спокойно отдохнуть. Чтобы ты убедился, что я не обманываю тебя, Морис, справься про объятия ангелов и женщин у Юстина «Апологии» I и II, Иосифа-

Флавия «Иудейские древности», книга I—глава III, у Афинагора «О воскресении», Лактанция, книга II—глава XV, Тертулиана «О покрывале дев», у Марка Ефесского, у Евзебия в «Евангельском приуготовлении», книга V—глава IV, у святого Амвросия в книге «Ноя и Ковчега», глава V, у святого Августина «Град Божий», книга XV—глава XXIII, у отца Мельдоната иезуитского ордена, «Трактат о демонах», страница 218, у Пьера Лебье, советника короля...

— Аркадий, замолчи, сжался! Замолчи! Замолчи! и прогони эту собаку,—закричал Морис, с горящим лицом и расширенными глазами, увидавший в бреду у себя на постели черного пуделя.

Госпожа де-Ла-Вердэльер, занимавшаяся разнообразными делами, светскими и национальными, слыла за одну из лучших сиделок парижского высшего света. Она сама явилась узнать о здоровье Мориса и предложила свои услуги ходить за раненым. Но под бурным влиянием мадам Обель, Аркадий захлопнул дверь у нее перед носом. К Морису потекли выражения сочувствия. Собранные на подносе визитные карточки показывали ему свои бесчисленные загнутые уголки. Трюк-де-Рюффе один из первых принес в квартиру на улице Рима выражение своей мужественной симпатии и, протянув свою честную руку, попросил у молодого д'Эспарвье, как благородный человек у благородного человека, двадцать пять ливдиров, чтобы заплатить долг чести.

— Чорт возьми! дорогой Морис, подобной услуги попросишь не у всякого!

В тот же день явился и Газтан пожать руку своему племяннику. Тот представил ему Аркадия.

— Вот мой ангел-хранитель, нога которого показалась вам такой красивой, когда вы увидели отпечаток его шагов. Он явился мне в прошлом году в этой самой комнате... Вы не верите этому? Тем не менее, это правда.

И, повернувшись к Духу, он продолжал:

— Что ты скажешь на это, Аркадий? Аббат Патуйль, великий теолог и отличный священник, не верит, что ты ангел; дядя же Газтан, который не знает никакого катехизиса и никакой религии, верит этому не больше. Они

оба отрицают тебя; один потому, что он верующий, другой потому, что неверующий. Поэтому можно быть уверенным, что твоя история, если ее кому-нибудь рассказать, покажется неправдоподобной. Впрочем, тот, кто решился бы рассказать об этом, не был бы человеком со вкусом и не заслуживал бы одобрения. Потому что твоя история не очень-то красива! Я тебя люблю, но я тебя осуждаю. С тех пор, как ты впал в атеизм, ты стал ужасным негодяем. Плохой ангел, плохой друг, предатель, убийца. Я уверен, что это ты, чтобы меня убить, выпустил мне под ноги черного пуделя.

Ангел пожал плечами и обратился к Газтану.

— Увы — сказал он, — я не удивляюсь, что встречаю так мало в вас доверия; мне говорили, что вы порвали с иудейско-христианским небом, к которому я принадлежу.

— Сударь, — отвечал Газтан, — я недостаточно верю в Иегову, чтобы верить в его ангелов.

— Тот, кого вы называете Иеговой, на самом деле грубый и невежественный демиург, по имени Иалдабаоф.

— В таком случае, сударь, я готов поверить в него. Раз он невежествен и ограничен, я могу допустить его существование без всяких затруднений. Как он пожиает?

— Плохо! Мы низвергнем его в будущем месяце.

— Не обольщайтесь понапрасну. Вы мне напоминаете моего зятя Кюссара, который уже тридцать лет ждет каждое утро падения Республики.

— Вот видишь, Аркадий, — вскричал Морис, — дядя Газтан моего мнения. Он знает, что ты не добьешься успеха.

— Ваш Иалдабаоф еще очень силен в этом мире, если не в другом. Прежде он держался на своих священниках и тех, кто в него верил. Теперь его опорой служат те, кто в него не верят — философы. Не изобретен ли в недавние дни прагматизм, чтобы завоевать доверие к религии в умах людей рассуждающих.

— Вы изучали прагматизм?

— Не думайте этого! Я был когда-то легкомыслен и занимался метафизикой. Я читал Гегеля и Канта. Но с

годами я сделался серьезнее и стал заниматься только осязаемым и осязаемым, только тем, что может воспринять глаз и ухо. Искусство—это все. Остальное—мечтательность.

Разговор затянулся до вечера, и в нем были сказаны вольности, от которых покраснели бы не только кирасиры—что не удивительно, ибо кирасиры часто бывают целомудренны—но покраснела бы и любая парижанка.

Сарьет пришел навестить своего старого ученика. Когда он вошел в комнату, тотчас же бюст Александра д'Эспарвье показался над его лысой головой. Он приблизился к кровати. Вместо голубых занавесей, вместо зеркального шкапа, камина, появились сейчас же полки, полные книг из залы Бюстов и Сфер, и воздух сейчас же стеснили картонные папки, карточки, каталоги. Сарьет был недостаточно отделен от своей библиотеки, чтобы его можно было себе представить и видеть без нее. Он был бледнее, неопределеннее, туманнее, фантазматичнее, чем образы, которые он вызывал в воображении.

Морис, сделавшийся очень добрым, был растроган этим проявлением дружбы.

— Садитесь, господин Сарьет, вы знакомы с мадам Обель. Позвольте вам представить Аркадия, моего ангела-хранителя. Это он, когда еще был невидим, перевертывал в продолжение двух лет всю вашу библиотеку, заставлял вас лишаться сна и аппетита и чуть не свел с ума. Это он переносил из зала Сфер ко мне в павильон кучи старых книг. Однажды он выхватил из-под вашего носа какой-то драгоценный том и был причиной того, что вы упали на лестнице. В другой раз, он взял у вас брошюру Соломона Рейнака и, принужденный выйти вместе со мной (он никогда не оставлял меня, как я после узнал), уронил ее в канаву на улице Принцессы. Простите его, господин Сарьет, но у него не было карманов. Он был невидим. Я горько сожалею, господин Сарьет, что все ваши книги не были поглощены каким-нибудь пожаром или затоплены наводнением. Они вскружили голову моему ангелу, который превратился в человека и потерял и веру, и правду. Теперь я стал его ангелом-хранителем. Бог знает, чем все это окончится,

Слушая эти речи, Сарнет выражал своим лицом такую бесконечную печаль, неизгладимую вечную печаль мумий. Поднявшись уходить, расстроенный библиотекарь сказал на ухо Аркадию:

— Бедный мальчик очень болен. Он бредит.

Морис подозвал старика.

— Оставайтесь, господин Сарнет. Вы сыграете с нами в бридж. Послушайте моего совета. Не делайте, как я, не водитесь с дурными компаниями. Вы погибнете. Господин Сарнет, не уходите еще, я хочу вас просить об одной очень важной вещи: когда вы придете еще раз меня навестить, захватите какую-нибудь книгу об истинной вере, мне надо ее изучить. Я должен вернуть моему ангелу-хранителю веру, которую он потерял.

Глава тридцать первая,

где читатель удивится, с какой легкостью человек честный, скромный и кроткий может совершить ужасное преступление.

Глубоко опечаленный темными речами молодого Мориса, Сарнет сел на автобус и отправился к Гинардону, своему другу, единственному другу, единственному существу на свете, которого ему приятно было видеть и слышать. Когда Сарнет вошел в магазин на улице Курсель, Гинардон был один и дремал в глубоком старом кресле. У него были вьющиеся волосы, густая борода и багровое лицо; лиловые жилки расцветивали его нос, алевший от Бургонского.

Ибо, нечего скрывать—папа Гинардон пил. В двух шагах от него на рабочем столе молодой Октавии окончательно засыхала роза в пустом стакане и лежало недоконченное вышивание в рабочей корзине. Молодая Октавия все чаще и чаще оставляла магазин, а Бланмениль никогда не появлялся, когда ее там не было. Причина этому была та, что они встречались три раза в неделю в пять часов в одном доме свиданий близ Елисейских По-

дей. Гинардон ничего не знал об этом. Он еще не знал всего своего несчастья, но уже страдал.

Сариет пожал руку старому другу и не спросил ничего о молодой Октавии, потому что не знал, какие отношения соединяют их. Он охотнее бы заговорил о Зефирине, так жестоко покинутой, которую ему хотелось видеть законной супругой Гинардона. Но Сариет был осторожен. Он довольствовался только тем, что спросил у Гинардона, как он поживает.

— Великодушно,—ответил Гинардон, которому нездоровилось, но он притворялся крепким и здоровым с тех пор, как силы покидали его...—Слава Богу, я еще сохранил силу тела и духа. Я чист. Оставайтесь чистым, Сариет, чистые всегда сильны.

Гинардон вытащил в этот вечер из своего комода некоторые драгоценные книги, чтобы показать их одному известному библиофилу, Виктору Мейеру, и после ухода клиента задремал, не положив их на место. Сариет, которого интересовали книги, увидев эти книги на марморе комода, начал с любопытством их рассматривать. Первая, которую он начал перелистывать, была *la Pucelle* в сафьяновом переплете, с английскими гравюрами. Несомненно, его христианскому и французскому сердцу немалого стоило глядеть этот текст и эти гравюры, но прекрасный экземпляр любой книги всегда казался ему и добродетельным, и чистым. Разговаривая очень оживленно с Гинардоном, он брал одну за другой в свои руки эти книги, которые антиквар ценил то за переплет, то за гравюры, то за происхождение или за редкость, и вдруг испустил восторженный крик радости и любви. Он нашел «Лукреция» Вандома, своего «Лукреция», и прижал его к сердцу.

— Наконец-то я его вижу,—вздыхал он, поднося его к своим губам.

Гинардон сначала толком не понял, что желал сказать его старый друг; но когда тот объяснил ему, что эта книга из библиотеки д'Эспарвье, что эта книга—его, Сариета, и что он унесет ее с собой без дальних слов, антиквар, проснувшись окончательно, поднялся и объявил, что кни-

га принадлежит ему, Гинардону, что он ее дорого купил и не отдаст иначе, как за пять тысяч франков.

— Вы не понимаете, что я говорю,—возразил Сарьет,—ведь эта книга принадлежит библиотеке д'Эспарвье, я должен ее туда вернуть.

— Э, нет, милейший...

— Эта книга принадлежит мне.

— Вы сошли с ума, мой добрый Сарьет.

Заметив, что действительно у библиотекаря был растерянный вид, он вырвал у него из рук книгу и попытался переменить разговор.

— Вы видели, Сарьет, что эти скоты собираются распотрошить дворец Мазарини и покрыть чорт знает какими произведениями искусства оконечность Cité, одно из самых величественных и прекрасных мест Парижа? Они хуже вандалов, потому что вандалы разрушали памятники, но не заменяли их скверными постройками и мостами позорного стиля, вроде моста Александра. Ваша бедная улица Гарансьер уже сделалась добычей этих варваров. Что только они сделали с красивым бронзовым маскароном на фонтане...

Но Сарьет ничего не слышал.

— Гинардон, вы меня не поняли. Выслушайте меня. Эта книга принадлежит библиотеке д'Эспарвье. Она исчезла оттуда. Как? Кто ее взял? Я не знаю. В этой библиотеке происходили вещи ужасные и таинственные. Одним словом, эта книга исчезла. Мне не следует, конечно, призывать к вашему чувству честности, мой милый друг. Вы не захотите прослыть за укрывателя. Отдайте мне эту книгу. Я передам ее господину д'Эспарвье, который возместит вам, вне всяких сомнений, убытки. Верьте в его щедрость и поступите как порядочный человек.

Антиквар горько улыбнулся.

— Мне верить в щедрость этого скряги д'Эспарвье, который готов содрать шкуру с блохи. Поглядите-ка на меня, мой милый Сарьет, и скажите, похож я на простака. Вы отлично знаете, что д'Эспарвье пожелал заплатить пятьдесят франков старьевщику за портрет Александра д'Эспарвье, великого предка, работы Эрсана, и великий предок остался на бульваре Монпарнасс, напротив

кладбища, в лавке еврея, и все собаки квартала мочатся на него... Чтобы я поверил щедрости господина д'Эспарвье! Вы знаете ее по себе!..

— Ну, хорошо! Гинардон, я обещаю сам отдать вам плату, которую определяют эксперты. Слышите?

— Не великодушничайте с такими людишками, мой милый Сарьет. Этот д'Эспарвье взял у вас знание, энергию, всю вашу жизнь за такую ничтожную плату, на какую не согласился бы даже лакей. Оставим этот разговор... Кроме того, уже слишком поздно. Книга продана!..

— Продана?.. Кому?..—спросил с тревогой Сарьет.

— Не все ли равно? Вы ее больше не увидите и ничего не услышите о ней; она идет в Америку.

— В Америку, «Лукреций» с гербом Филиппа Вандома, с собственноручными заметками Вольтера! Мой «Лукреций!» В Америку!

Гинардон захохотал.

— Мой милый Сарьет, вы мне напоминаете шевалье де-Грие, когда он узнает, что его возлюбленную увозят в Миссисипи. «Моя дорогая возлюбленная в Миссисипи!»..

— Нет,—ответил Сарьет, очень бледный,—нет, эта книга не уйдет в Америку. Она вернется, как ей подобает, в библиотеку д'Эспарвье. Отдайте ее мне, Гинардон.

Антиквар во второй раз попытался прервать разговор, который мог дурно окончиться.

— Милый Сарьет, вы мне ничего не сказали о моем Греко. Вы даже не взглянули на него. Тем не менее, он замечателен.

И Гинардон повернул картину к свету.

— Посмотрите на этого святого Франциска, Господня нищего, брата Христа: его черное тело подымается к небу, как дым благой жертвы, как жертва Авеля.

— Книгу, Гинардон,—произнес Сарьет, не повертывая головы,—отдайте мне книгу.

Кровь бросилась вдруг в голову Гинардону; весь покраснев, с надувшимися на лбу венами, он сказал:

— Довольно об этом!

И он спрятал «Лукреция» в карман своего платья.

Тотчас же Сарриет бросился на антиквара, обхватил его с внезапной яростью и, несмотря на то, что был слаб, повалил крепкого старика на кресло молодой Октавии.

Гинардон, ошеломленный, в бешенстве осыпал ужасной бранью старого маниака и отбросил его ударом кулака на четыре шага к «Венчанию Девы», произведению Фра Анжелика, которое с грохотом обрушилось. Сарриет бросился снова в атаку и пытался силой вырвать книгу из кармана. Гинардон прикончил бы его на этот раз, если бы ослепленный кровью, бросившейся ему в голову, не нанес удар мимо, по рабочему столу отсутствующей. Сарриет крепко вцепился в своего ошеломленного противника, прижал его к креслу и сдавил своими маленькими, исхудалыми руками ему шею, ставшую из красной лиловой. Гинардон старался освободиться, но маленькие пальцы, почувствовав горячее и мягкое тело, с наслаждением впились в него; неведомая сила приковывала их к жертве. Гинардон задыхался, слюна текла у него изо рта. Под тяжестью нападавшего его огромное тело содрогалось по временам, но судороги становились все реже и реже. Они прекратились. Руки убийцы не разжимались. Сарриет должен был сделать большое усилие, чтобы оторвать их. У него в висках гудело. Тем не менее он слышал, как шел дождь, как замирали вдали чьи-то шаги по тротуару, и вдали газетчики выкрикивали газеты. Он видел зонты,двигающиеся в темноте. Он вытащил книгу из кармана мертвеца и убежал.

Молодая Октавия не вернулась в тот вечер в лавку. Она отправилась ночевать в маленькую антресоль над антикварным складом, которую ей снял на этой же самой улице Курсель господин Бланмениль, Сторож, который должен был закрывать на ночь магазин, нашел тело антиквара еще теплым. Он позвал привратницу, мадам Ленеен, она перенесла Гинардона на диван, зажгла две свечи, положила ветку буксуа в блюдо, полное святой воды, и закрыла глаза умершему. Доктор, призванный, чтобы определить причину смерти, отнес ее к кровоизлиянию в мозг.

Извещенная госпожей Ленеен, Зефирина, прибежала стеречь мертвого. У него был вид уснувшего. При дро-

жащем свете свечей святой Франциск Греко подымался, как столб дыма, и золото примитивов горело в темноте. Около погребального ложа ясно виднелась маленькая женщина Бодуэна, принимающая декарство. Всю ночь слышно было на улице за пятьдесят шагов, как причитала Зефирина. Она говорила:

— Он умер, он умер, мой друг, мой бот, мое все, моя любовь!.. Нет! Он не умер, он шевелится. Это я, Мишель, это я, твоя Зефирина: проснись, услышь меня. Отвечай мне: я тебя люблю, если я тебе сделала неприятное, прости меня... Умер! Умер! О! Боже мой, посмотрите, как он хорош! Он был такой добрый, умный, ласковый! Боже мой! Боже мой! Боже мой! Если бы я была здесь, он бы не умер. Мишель! Мишель!

К утру она стихла. Думали, что она уснула, но она умерла.

Глава тридцать вторая,

где читатель услышит в кабачке Хлодомира флейту Нектария.

Мадам де-Ла-Вердельер, которой не удалось переступить порог в качестве сиделки, явилась через несколько дней, в отсутствие мадам Обель, просить у Мориса д'Эскарвье пожертвования на церкви Франции. Аркадий провел ее к постели выздоравливающего.

Морис сказал на ухо ангелу:

— Изменник, освободи меня сейчас же от этой чертовки, или ты будешь отвечать за несчастья, которые здесь произойдут.

— Будь спокоен,—отвечал уверенно Аркадий.

После обычных приветствий, мадам де-Ла-Вердельер подала знак Морису удалить ангела. Морис притворился, что не понимает. И де-Ла-Вердельер объяснила причину своего появления.

— Наши церкви, наши милые деревейские церкви, что станет с ними?

Аркадий смотрел на нее с ангельским видом, испуская вздохи.

— Они разрушатся, сударыня, они превратятся в развалины. Какая печаль! Я не утешусь в этом никогда. Церковь среди деревенских домиков, это как курица среди своих цыплят.

— Да, это именно так, произнесла мадам де-Ла-Вердельер с улыбкой восхищения,—это именно так!

— А колокольни, сударыня!

— О! а колокольни!

— Колокольни, сударыня, поднимаются к небу, точно гигантские клистирные трубки, протянутые к голым задкам херувимов.

Мадам де-Ла-Вердельер немедленно покинула комнату.

В этот же день аббат Патуйль явился к раненому с советами и утешениями. Он убеждал Мориса первать с дурной компанией и помириться с родителями. Он изобразил ему мать в слезах, готовую принять в свои распростертые объятия вновь обретенное дитя. Отказавшись, мужественными усилиями, от жизни кутежей и сомнительных удовольствий, Морис вновь обретет душевный мир и силу разума, избавится от снедающих химер, освободится от дурных влечений.

Молодой д'Эскарвье поблагодарил аббата Патуйля за его доброту и уверял его в своих религиозных чувствах.

— Никогда,—говорил он,—никогда еще я не был таким верующим. И никогда мне не было так необходимо быть верующим. Представьте себе, господин аббат, что мне приходится обучать катехизису моего собственного ангела-хранителя, который его позабыл.

Аббат Патуйль испустил глубокий вздох и стал упрашивать свое дорогое дитя молиться, так как молитва единственное спасение души, которой овладел дьявол.

— Господин аббат,—спросил Морис,—хотите я вас познакомлю с моим ангелом-хранителем? Подождите минуту, он вышел купить папирос.

— Бедный мальчик!

И круглые щеки аббата Патуйля опустились в знак скорби. Но почти тотчас же они поднялись в знак радости. Ибо были причины радоваться его сердцу.

Общественное настроение улучшилось. Якобинцы, франкмасоны и блокисты более не имели успеха. Высшее общество давало хороший пример. Французская академия сделалась благонамеренной. Христианские школы множились. Молодежь латинского квартала подчинялась Церкви, *École Normale* отдавала запахом Семинарии, Крест торжествовал. Надо было только денег, еще денег, всегда денег.

После шестинедельного отдыха, Морис д'Эспарвье получил разрешение от своего доктора совершить прогулку в экипаже. Его рука была на перевязи. Возлюбленная и друг сопровождали его. Они поехали в Булонский лес и вкусили сладкую радость видеть траву и деревья. Они всему улыбались и все им улыбалось. Как сказал Аркадий, несчастья сделали их лучше. В виде неожиданного последствия своего гнева и ревности, Морис обрел спокойствие и благодушие. Он любил еще Жильберту, но любил снисходительной любовью. Ангел желал эту женщину так же, как и прежде, но его желание уже утратило после обладания яд любопытства. Жильберта наслаждалась тем, что им нравилась, и от этого нравилась еще больше. Они пили у Каскада молоко, которое им показалось восхитительным. Они все трое были невинны. Аркадий забыл все несправедливости старого тирана мира. Но он скоро должен был вновь напомнить ему о себе.

Вернувшись к себе, он застал Зиту, которая ждала его, напоминая собой статую из слоновой кости и золота.

— Мне стыдно за вас, — сказала она. — Приближается день, который не наступал с самого начала времен и, может быть, не наступит до того, как Солнце войдет со своими спутниками в созвездие Геркулеса: мы накануне дня разгрома Иалдабаофа в его порфировом дворце, а вы, кто так стремились освободить небеса, кто так спешил войти победителем в свою освобожденную родину, вы вдруг забыли свои благородные планы и успокоились в объятиях смертной. Что за удовольствие вы можете находить в обществе этих маленьких грязных существ, состоящих из столь непостоянных элементов, что похоже как-будто они все время меняются? Ах! Аркадий! я была права, не доверяя вам. Вы относитесь к разряду интеллектуальных,

у вас есть только любопытство. Вы неспособны действовать.

— Вы дурно обо мне судите, Зита,—ответил ангел.— Сынам неба естественно любить смертных. Будучи тленными, тела женщин и цветы от этого не менее очаровывают наши чувства. Но ни одно из этих маленьких животных не заставило бы меня позабыть ни о моей ненависти, ни о любви, и я готов восстать против Иалдабаофа.

Увидев его в такой решимости, Зита высказала свое удовольствие. Она торопила его приступить, отбросив всякую слабость, к выполнению грандиозного предприятия. Не нужно спешить, но не нужно ничего и откладывать.

— Великие действия, Аркадий, состоят из множества маленьких, самый величественный замысел составляется из тысячи ничтожных деталей. Нельзя ничем пренебрегать.

Она пришла, чтобы вести его на собрание, где было необходимо его присутствие. Там должны были быть подсчитаны силы восставших.

И она добавила лишь одно слово:

— Там будет Нектарий.

Когда Морис увидел Зиту, он нашел ее непривлекательной; она ему не понравилась, потому что была прекрасна до совершенства, а подлинная красота вызывала в нем всегда лишь тягостное удивление. Зита внушила ему антипатию, когда он узнал, что это восставший ангел и что она ведет Аркадия на собрание революционеров. Бедный юноша пытался удержать своего друга всеми средствами, какие приходили ему на ум. Если ангел останется, он поведет его на удивительный матч бокса, на обозрение, где ставят апофеоз Пуанкаре, наконец, в один притон, славящийся женщинами необычайной красоты, талантов, пороков и извращений. Но ангел не поддавался на соблазны и заявил, что уйдет с Зитой.

— Зачем?

— Чтобы подготовить завоевание неба.

— Опять эти глупости! Завоевание... Ведь я же тебе доказал, что это и невозможно, и нежелательно.

— До свидания, Морис...

— Ты уходишь?.. хорошо, я иду с тобой.

И Морис, с рукой на перевязи, пошел за Аркадием и Зитой на Монмартр, в кабачек Хлодомира, где были накрыты столы в саду под трельяжем.

Князь Истар и Теофиль находились уже там, вместе с маленьким желтым человеком, похожим на ребенка, который оказался японским ангелом.

— Ждут только Нектария,— сказала Зита.

И в эту минуту бесшумно появился старый садовник. Он сел, и собака легла у его ног. Французская кухня первая в мире. Эта слава прогремит над всеми прочими, когда поумневшее человечество научится ставить вертел выше шпаги.

Хлодомир подал ангелам и смертному, который пришел с ними, густой суп, филе из свинины и почки в вине, которые свидетельствовали, что этот монмартрский повар не был еще испорчен американцами, испортившими самых лучших поваров Города-Гостиницы.

Хлодомир откупорил бутылку бордо, которое хотя и не значилось среди первых лоз Медока, все же по аромату и букету свидетельствовало о своем благородном происхождении. Следует добавить, что после этого вина и многих других буфетчик торжественно подал романю, крепкую и легкую, мощную и нежную, полную настоящей прелести Бургонского, огненную и хмельную, радость чувств и ума.

Старый Нектарий поднял свой стакан и сказал:

— За тебя, Дионис, величайший из всех Богов! Ты возвратишь золотой век смертным и вернешь гроздь Метимна, и лозы Фазоса, и белый виноград Мареотийского озера, и погреб Фалерна, и виноградники Тмода, и короля вин Фанею. И сок этих лоз будет божествен и, как во времена старого Силена, люди опьянятся мудростью и любовью.

Когда было подано кофе, Зита, князь Истар, Аркадий и японский ангел изложили один за другим состояние сил, собранных против Иалдабаофа. Ангелы, покидая вечное блаженство ради страданий земной жизни, поднимаются в своем умственном развитии до того, что при-

обретают способность ошибаться и впадать в противоречия. Поэтому их собрания, так же как и собрания людей, шумны и беспорядочны. Как только один из собравшихся приводил какую-нибудь цифру, другие немедленно ее опровергали. Они не могли сложить двух чисел без разногласий, и сама арифметика становилась в их устах страстной и теряла свою точность. Керуб, который насильно привел туда набожного Теофиля, возмущен, услышав, как музыкант восхваляет Господа, и стал наносить ему по голове удары кулаком, которые могли бы свалить любого быка. Но голова музыканта оказалась крепче головы быка. И удары, сыпавшиеся на Теофиля, не изменили ни в чем идей, которые этот ангел составил себе о божественном промысле. Аркадий долго противопоставлял свой научный идеализм прагматизму Зиты; прекрасный архангел сказал ему, наконец, что он рассуждает плохо.

— И вы этому удивляетесь,—воскликнул ангел-хранитель Мориса.—Я рассуждаю, как и вы, на человеческом языке. Но что такое человеческий язык, как не крик лесного или горного зверя, усложненный и испорченный горделивыми обезьянами? Попробуйте же из этого собрания жалких или гневных звуков, о, Зита, сделать порядочное рассуждение! Ангелы вовсе не рассуждают, люди же, хотя они и выше ангелов, рассуждают плохо. Я уже не говорю о профессорах, пытающихся определить абсолют при помощи звуков, унаследованных человеком от антропопитеков, обезьян, двуутробок и пресмыкающихся, являющихся его предками. Что за шутовство! Как издевался бы над этим демиург, если бы был умен.

Ночь горела звездами. Садовник хранил молчание.

— Нектарий,—сказал прекрасный архангел,—сыграйте на флейте, если вы не боитесь, что земля и небо придут от нее в волнение.

Нектарий взял флейту. Молодой Морис зажег папиросу. Пламя спички вспыхнуло на минуту, погрузив в тьму небо, и звезды, и погасло. Нектарий запел об этом пламени на своей вдохновенной флейте. Серебряный голос зазвенел и сказал:

— Это пламя есть вселенная, исполнившая свои судьбы, менее чем в одно мгновение. Оно образовало солнце и планеты. Венера Урания измерила орбиты тел, блуждающих по этим бесконечным пространствам. От дуновения Эроса, перворожденного Бога, родились растения, животные, мысли. В двадцать секунд, что протекли между жизнью и смертью этих миров, развернулись цивилизации, империи пережили свой долгий упадок. Оплакали матери своих детей, и к немым небесам вознеслись песни любви, крики ненависти и вздохи страдальцев. В своем малом размере, эта вселенная жила столько же, сколько живет и будет жить тот мир, атомы коего мы видим сияющими над головой. И то и другое лишь вспышка света в бесконечности.

И по мере того, как эти ясные и чистые звуки раздавались в зачарованном воздухе, земля превращалась в зыбкую туманность, и звезды описывали над ней быстрые круги. Большая Медведица утратила форму, звезды ее рассыпались. Пояс Ориона разорвался. Полярная звезда покинула свою магнетическую ось. Сириус, сверкавший низко на горизонте, поглубел, покраснел, замигал и потух в одно мгновение.

Взволнованные созвездия образовывали новые зодиаки, которые, в свою очередь, исчезали. Своими чарами волшебная флейта запечатлела в одном кратком мгновении жизнь и движение вселенной, которая кажется неизменной и вечной людям и ангелам. Она умолкла, и небо приняло свой прежний вид. Нектарий исчез. Хлодомир спросил у своих гостей, довольны ли они похлебкой, которая, чтобы приобрести должный вкус, оставалась на огне двадцать четыре часа, и хвалил вино Божоле, которое они пили.

Ночь была теплая. Аркадий, сопровождаемый своим ангелом-хранителем, Теофиль, князь Истар и японский ангел проводили Зиту до дому.

Глава тридцать третья

о том, как ужасающее злодеяние привело в содрогание весь Париж.

Все в городе спало. Шаги громко звучали на пустынных тротуарах. Дойдя до половины подъема на Монмартр, на углу улицы Фетрие компания остановилась перед дверью прекрасного архангела. Аркадий говорил о Престолах и Властях с Зитой, которая, держа палец на кнопке звонка, медлила звонить. Князь Истар концом своей трости рисовал на тротуаре чертежи новых снарядов, испуская рычания, которые будили спящих обывателей и заставляли метаться во сне соседних Пазифай. Теофиль Беле напевал вполголоса баркароллу из второго действия Аллины, королевы Голконды. Морис, с одной рукой на перевязи, пробовал фехтовать левой рукой с ятлонцем, выбивая искры из мостовой и вскрикивая „touché“ пронзительным голосом.

Тем временем, бригадир Гроль на углу соседней улицы мечтал. Он был широк в плечах, как римский легионер, и обладал всеми достоинствами той великолепной служилой расы, которая с тех пор, как люди построили города, сохраняет империи и поддерживает династии. Бригадир Гроль был полон сил, и все же он утомился. Он страдал от тяжелых обязанностей и плохой пищи; человек долга, но все же человек, он не мог устоять перед чарами, соблазнами и коварными ласками веселых девиц, которых встречал целыми роями в тени пустынных бульваров и вокруг заброшенных пустырей; он их любил. Он их любил, как солдат, стоя в амуниции, и оттого испытывал усталость, превосходящую его бодрость. Не дойдя еще и до середины жизненной дороги, он мечтал о сладком отдыхе и мирных сельских работах. На углу улицы Мюллер в эту теплую ночь он мечтал. Он мечтал о родном доме, о маленькой оливковой роще, об отеческой земле, о старой матери, которую ему не суждено

больше увидеть, согбенной от трудной работы. Выведенный из своих мечтаний ночным шумом, агент Грольль направился к перекрестку, где сходятся улицы Мюллер и Фетрие, и стал не особенно благосклонно наблюдать эту беспокойную группу, в которой его социальный инстинкт заподозрил врагов порядка. Он был терпелив, но решителен. После продолжительного молчания он произнес с грозным спокойствием:

— Проходите.

Но Морис и японский ангел фехтовали и ничего не слышали, музыкант слушал только свои собственные мелодии, князь Истар углубился в формы взрывчатых снарядов, Зита рассуждала с Аркадием о грандиознейшем из всех замыслов, какие когда-либо возникали с тех пор, как солнечная система вышла из своего состояния первобытной туманности; все они совершенно не замечали, что делается вокруг них.

— Я говорю вам, проходите!—повторил бригадир Грольль.

На этот раз ангелы услышали торжественный приказ, но то ли по рассеянности, то ли из презрения они не послушались и продолжали шуметь, петь и спорить.

— Тогда, вы желаете, значит, чтобы вас арестовали,—закричал бригадир Грольль, кладя свою руку на плечо князя Истара.

Керуб, возмущенный этим оскорбительным прикосновением, отправил одним ударом своего ужасного кулака бригадира в канаву. Но на помощь к своему начальнику уже спешил агент Фезанде, и они оба набросились на князя Истара, которого и стали бить с механической яростью и, может быть, несмотря на его силу и тяжесть, им удалось бы увлечь его, всего окровавленного, в полицейское управление, если бы японский ангел не сбил с ног сперва одного из них, потом другого без всяких заметных усилий и заставил их кататься и вопить в грязи, прежде чем Морис, Аркадий и Зита успели вмешаться. Что касается ангела музыканта, то, дрожа в сторонке, он взывал к небу.

В эту минуту два булочника, которые месили тесто в соседнем подвале, выбежали на шум в белых фартуках с

обнаженными торсами. По инстинкту социальной солидарности они встали на сторону поверженных агентов.

Теофил при виде их испытал естественный страх и бросился бежать; они схватили его и собирались уже вести в полицию, когда Аркадий и Зита вырвали его у них из рук. Завязалась борьба, страшная и неравная, между двумя ангелами и двумя пекарями. Подобный по силе и красоте Лизинискому атлету, Аркадий сдавил в своих объятиях своего неповоротливого противника. Прекрасная Зита поразила кинжалом булочника, который пытался ее схватить. На его мохнатую грудь брызнула темная кровь, оба булочника, друзья закона, рухнули на мостовую.

Агент Фезанде лежал недвижимо лицом в канаву. Но бригадир Гроллэ, поднявшись, подал свисток, который должны были услышать на соседнем посту, и бросился на молодого Мориса, который, имея для защиты только одну руку, разрядил свой револьвер в агента, поднесшего руку к сердцу, зашатавшегося и опустившегося на землю. Он испустил долгий вздох, и вечная тень покрыла его глаза.

Между тем, стали открываться одно за другим окна, и головы высовывались на улицу. Приближался шум тяжелых шагов. Два полицейских велосипедиста уже показались на улице Фетрие. Тогда князь Истар бросил бомбу, которая поколебала землю, погасила газ, обрушила дома и заволокла густым дымом разбежавшихся в разные стороны ангелов и молодого Мориса.

Аркадий и Морис решили, что самым верным будет для них вернуться после этого приключения в квартиру на улице Рима. Было ясно, что их не будут разыскивать тотчас же, а может быть и вовсе не будут, так как, по счастью, бомба Керуба уничтожила всех свидетелей этого дела. Они заснули на рассвете и не успели еще проснуться в десять часов утра, когда консьерж подал им чай. Кушая свой хлеб с маслом и ветчиной, молодой д'Эспарвье говорил ангелу:

— Я думал, что преступление это что-то необыкновенное. И что же, оказывается, я ошибался. Это самая простая и естественная вещь в мире

— И самая традиционная,—добавил ангел.—Впродолжение долгих веков человеку было привычно и необходимо убивать и грабить других. Это и теперь поощряется на войне. Считается почетным посягать на человеческую жизнь также в некоторых других определенных случаях, и все одобряли, например, вас, когда вы хотели меня убить, Морис, потому что вам показалось, будто я состою в близких отношениях с вашей возлюбленной. Убить же бригадира это не дело светского человека.

— Замолчи,—вскричал Морис,—замолчи, негодяй! Я убил этого бедного бригадира инстинктивно, сам не зная, что делаю. Я в отчаянии от этого. Но это не я, а ты виноват, это ты убийца. Ты увлек меня на этот путь мятежа и насилия, который ведет в бездну. Ты погубил меня. ты пожертвовал моим покоем и счастьем ради своей гордости и своей злобы. И совершенно напрасно. Потому что, предупреждаю тебя, Аркадий, тебе не удастся то, что ты задумал.

Консерж принес газеты. Увидев их, Морис побледнел. Они возвещали крупными буквами о злодеянии на улице Фетрие. Убит один бригадир, два агента велосипедиста и ранены опасно два подмастерья из булочной; разрушено три жилых дома; много жертв.

Морис уронил «Листок» и сказал слабым и жалобным голосом:

— Аркадий, зачем ты меня не убил в маленьком саду Версаля среди роз, когда свистели дрозды.

Между тем, ужас царил в Париже. На площадях и на многолюдных улицах хозяйки, со своими корзинками и сетками в руках, слушали, бледнея, рассказы о преступлении и призывали на преступников самые жестокие наказания. Лавочники с порогов своих лавок обвиняли в этом злодеянии анархистов, синдикалистов, социалистов, радикалов и требовали строгих кар. Более глубокие умы узнавали здесь руку евреев и немцев и требовали изгнания иностранцев. Многие хвалили американские нравы и советовали ввести суд Линча. В новых выпусках газет появились зловещие слухи. Взрывы слышались в разных

местах города; везде находили бомбы. Повсюду народ хватал подозрительных субъектов и предавал их растерзанными в руки правосудия. На площади Республики толпа разорвала на части какого-то пьяного, который кричал:

— Долой полицию!

Председатель Совета, он же министр юстиции, долго совещался с префектом полиции, и они решили немедленно, чтобы успокоить возбуждение парижан, приступить к аресту пяти-шести апашей из числа тех тридцати тысяч, которыми располагала столица. Начальник русской сыскной полиции, усмотрев во взрыве манеру действия нигилистов, попросил о выдаче десятка эмигрантов, что тотчас же было исполнено. Приступлено было также к выдаче нескольких индивидуумов ради спокойствия короля испанского.

Узнав об этих энергичных действиях, Париж облегченно вздохнул, и вечерние газеты поздравили правительство. Известия о раненых были утешительные. Они все оказывались вне опасности и узнавали преступников во всех лицах, которых им показывали.

Бригадир Гроль, правда, умер, но две сестры милосердия дежурили у его тела, и председатель Совета приказал возложить почетный крест на грудь этой жертвы долга.

По ночам случались паники. На авеню де-ла-Револьт агенты заметили на пустыре фургон акробатов, который показался им похожим на притон бандитов. Они стали звать на помощь и, когда их оказалось достаточно, они окружили фургон. Граждане присоединились к ним, было выпущено пятнадцать тысяч револьверных выстрелов; фургон был взорван динамитом, и среди обломков его нашли труп обезьяны.

Глава тридцать четвертая,

где говорится об аресте Бушотты и Мориса, о катастрофе в библиотеке д'Эспарвье и об отбытии ангелов.

Морис д'Эспарвье провел ужасную ночь. При малейшем шуме, который он слышал, он хватался за револьвер, чтобы не достаться живым в руки правосудия. Утром он вырвал газеты из рук привратницы, жадно пробежал их и испустил крик радости: он прочитал, что у бригадира Гролля, которого после вскрытия отнесли в Морг, доктора нашли на теле только синяки и очень легкие поверхностные ранения и что смерть его последовала от мгновенного аневризма аорты.

— Видишь, Аркадий!—вскричал он с торжествующим видом,—видишь, я не убийца. Я невинен. Я никогда не представлял себе, до чего приятно быть невинным.

Потом он задумался и, как всегда бывает, размышление рассеяло веселость.

— Я невинен. Но нечего скрывать,—сказал он, качая головой,—я принимал участие в шайке злодеев, я жил с бандитами. Ты там на своем месте, Аркадий, ибо ты подозрительный суб'ект, злой и порочный. Но я, я из хорошей семьи, получивший великолепное воспитание, я краснею от этого.

— Я тоже,—сказал Аркадий,—получил великолепное воспитание.

— Где это?

— В небе.

— Нет, Аркадий, нет; ты не получил воспитания. Если бы тебе вбивали в голову принципы, ты бы их сохранил. Принципы никогда нельзя потерять. Я научился с детских лет уважать семью, родину и религию. Я ничего этого не забыл и никогда не забуду. Знаешь, что меня больше всего в тебе шокирует? Это не твоя порочность и жестокость, не черная твоя неблагодарность, не твой агностицизм, который еще можно допустить куда ни шло, и не твой даже скептицизм, который, впрочем, давно вы-

шел из моды, (так как после национального пробуждения во Франции нет более скептиков)—нет, то, что меня возмущает в тебе—это отсутствие вкуса, дурной тон твоих идей, незелегантность твоей доктрины. Ты думаешь, как любой интеллигент, как вульгарный атеист, от твоих теорий несет радикальщиной, комбизмом, всякой гнусностью. Уйди! Ты мне противен... Аркадий, мой единственный друг, Аркадий, мой старый ангел, Аркадий, дорогой мой мальчик, послушайся своего ангела-хранителя: уступи моим просьбам, откажись от своих глупых идей, сделайся снова добрым, простым, невинным, счастливым. Надевай шляпу, пойдем со мной в Нотр-Дам. Мы помолимся там и поставим свечку.

Между тем, общественное мнение было вновь взволновано: печать, этот орган национального самосознания, в статьях, полных высокого под'ема и подлинной глубины, раскрыла философию чудовищного злодеяния, которое возмутило все сердца. Она указала на его истинное происхождение и причины, не непосредственные, но действительные, видя их в революционных учениях, безнаказанно распространяемых среди масс, в ослаблении социальных связей, в расшатанности моральной дисциплины, в призывах, рассчитанных на все аппетиты и все вожделения. Надо было пресечь зло в самом корне, отмежеваться как можно скорее от всяких химер и утопий, как синдикализм, подоходный налог и прочее. Многие газеты, и не последние, видели в умножении преступлений естественные плоды неверия и доказывали, что спасение общества заключается лишь во всеобщем и искреннем возвращении к религии.

В первое воскресенье после события можно было заметить необычное скопление народа в церквях.

Судья Сальнев, производивший следствие, опросил сначала лиц, арестованных полицией, и напал на ложные следы; но сообщенный ему рапорт агента Монтремена направил его внимание на правильный путь и заставил его скоро привнать авторов преступления на улице Фетрие в заговорщиках Ла-Жоншер. Он приказал разыскать Ар-

кадия и Зиту и отдал приказ об аресте князя Истара, на которого два агента наложили руки, когда он выходил от Бушотты, где спрятал бомбы нового типа. Керуб, услышав о намерении агентов, широко улыбнулся и спросил, крепкий ли у них автомобиль. На их ответ, что автомобиль стоит у дверей, он отозвался, что это все, что ему нужно. И тотчас же он положил на лестнице мертвыми обоих агентов, подошел к ожидавшей его машине, сбросил шоффера под случайно проходивший автобус и взялся за руль на глазах ошеломленной толпы.

В тот же вечер господин Жанкур, комиссар полиции по судебным делам, проник в квартиру Теофиля в ту минуту, когда Бушотта глотала сырое яйцо, чтобы прочистить голос, потому что должна была петь вечером в Национальном Эльдорадо свою новую песенку; «У них этого нет в Германии». Музыканта не было дома. Бушотта встретила чиновника с высокомерным видом, который искупал простоту ее костюма. Бушотта была в одной рубашке. Почтенный чин забрал партитуру Алины, королевы Голконды, и любовные письма, которые певица заботливо хранила в ящике ночного столика, потому что любила порядок. Он собрался уже уходить, как вдруг заметил стеной шкаф, который небрежно открыл и нашел там множество бомб, способных взорвать половину Парижа, и пару больших белых крыльев, ни происхождения, ни назначения которых он не мог определить. Бушотте было предложено закончить туалет и, несмотря на ее крики, ее отвезли в полицию.

Господин Сальнев был утомим. Разобрав бумаги, найденные в доме Бушотты, и следуя указаниям Монтрена, он подписал приказ об аресте молодого д'Эспарвье, что и было исполнено в среду, 27 мая, в семь часов утра, с большими предосторожностями. В продолжение трех дней Морис не спал, не ел, не любил и не жил. Он ни на минуту не усомнился в причине утреннего посещения. При виде комиссара полиции неожиданное спокойствие охватило его. Аркадий не явился в этот день ночевать. Морис попросил комиссара подождать, заботливо оделся и последовал за чиновником в автомобиль, стоящий у дверей. Он вкушал спокойствие, которое почти не изме-

нило ему, как только дверь тюрьмы захлопнулась за ним. Оставшись в камере один, он влез на стол, чтобы посмотреть на улицу. Он увидел кусочек голубого неба и улыбнулся. Спокойствие явилось к нему вслед за душевной усталостью и оцепенением чувств; ему больше нечего было бояться ареста. Его несчастье наделило его высшей мудростью. Он научился почерпнуть утешение в самом своем положении. Он не возносился духом, но и не слишком презирал себя, а просто предался на волю Божью. Не скрывая своих грехов, в которых он сознавался, он мысленно оправдывался перед Провидением, что если впал в преступление и бунт, то лишь для того, чтобы вернуться на путь истинный своего заблудшего ангела. Он растянулся на постели и спокойно уснул.

Узнав об аресте певички и сына почтенных родителей, Париж и провинция испытали тягостное недоумение. Взволнованное трагическими картинами, которые рисовали большие газеты, общественное мнение требовало, чтобы закон привлек к ответу зловещих анархистов, закоренелых в убийствах и поджогах, и не понимало, откуда могли взяться анархисты в мире искусств и элгантности. При этом известии, которое он узнал одним из последних, председатель совета министров, он же министр юстиции, подпрыгнул на кресле, украшенном сфинксами, менее загадочными, чем он сам, и в трепете своих гневных размышлений изрезал, по примеру Наполеона, ножом красное дерево своего императорского стола. И когда судья Сальнев на его вызов предстал пред его очами, министр бросил свой перочинный нож в камин, подобно тому, как Людовик XIV выбросил свою трость в окно перед Лозеном; надо было нечеловеческое усилие сдержать себя, и он произнес изменившимся голосом:

— Вы с ума сошли?.. Я, кажется, достаточно уже указал, что этот заговор анархический, антиобщественный, глубоко антиобщественный и антиправительственный, с оттенком синдикализма; я достаточно ясно выражал желание, чтобы вы держались в этих границах, и что же вы сделали? Кого вы мне арестовали? Певицу, любимую националистической публикой, и сына лица, высоко чтимого в католической партии, который принимает наших епи-

скопов и имеет доступ в Ватикан, лица, которое со дня на день может быть отправлено в посольство к папе. Вы одним ударом отняли у меня сто шестьдесят депутатов и сорок сенаторов справа, и это накануне запроса о религиозном примирении; вы меня поспорили с моими сегодняшними друзьями и с завтрашними. Вас, может быть, заинтересовало, не носите ли вы рога, как этот дурак Обель, что вы арестовали любовные письма молодого Мориса д'Эспарвье? Могу успокоить вас в этом отношении: вы носите рога и об этом знает весь Париж. Но вы служите не для того, чтобы вымещать свои обиды.

— Господин министр юстиции,—пробормотал срывающимся голосом судья,—я честный человек.

— Вы глунец... и провинциал. Выслушайте меня: если Морис д'Эспарвье и Бушотта не будут выпущены через полчаса, я раздавлю вас, как червяка. Ступайте.

Рене д'Эспарвье сам отправился за своим сыном в Консьержери и привез его в старый дом на улице Гарансьер. Возвращение было триумфом; был пущен слух, что молодой Морис с дерзкой отвагой пытался произвести монархическую реставрацию и что судья Сальнев, бесчестный франкмасон, креатура Комбов и Андре, пытался скомпрометировать этого героического молодого человека, связав его с шайкой бандитов. Этому верил, кажется, аббат Патуйль, который ручался за Мориса, как за самого себя. Кроме того, было известно, что, порвав с отцом, сочувствующим Республике, молодой д'Эспарвье предался решительному роялизму. Хорошо осведомленные люди увидели в его аресте происки евреев. Ведь Морис был известным антисемитом. Католическая молодежь отправилась освистывать судью Сальнева под окнами его квартиры на улице Генего.

На бульваре против дворца юстиции группа студентов поднесла Морису пальмовую ветвь.

Морис расчувствовался, увидев старый дом своего детства, и с плачем упал в объятия матери. Это был счастливый день, нарушенный к несчастью новым прискорбным событием. Сарнет, потерявший рассудок, тотчас же после драмы на улице Курсель, впал внезапно в буйство. Запершись в библиотеке, он не выходил из нее двадцать

четыре часа, испуская яростные крики, и, несмотря на угрозы и просьбы, не соглашался выйти оттуда. Он провел ночь в крайнем возбуждении, потому что было видно, как непрестанно бегала лампа за занавеской. Утром, услышав на дворе голос Ипполита, он открыл окно из зала Сфер и Философов и швырнул два или три довольно увесистых тома в голову старого слуги. Сбежалась вся прислуга, мужская и женская, и библиотекарь начал бросать целыми охапками книги в этих людей. Рене д'Эспарвье соблаговолит вмешаться. Он появился в колпаке и халате и пытался урезонить бедного безумца, который, вместо всякого ответа, метал громы проклятий на человека, почитаемого им до тех пор, как благодетеля, и пытался забросать его всеми библиями, Талмудами, всеми священными книгами Индии и Персии, всеми греческими и всеми латинскими Отцами Церкви, святым Иоанном Златоустом, Григорием Назианским, святым Августинном, святым Иеронимом, всеми апологетами и «*Histoire des Narrations*» с заметками самого Боссюета. In octavo, in quarto, in folio летели недостойно на дворцовую мостовую. Письма Гассенди, отца Мерсенна, Паскаля разлетались листочками по ветру. Горничная, нагнувшаяся, чтобы подобрать листки в канаве, получила в голову огромный голландский атлас. Госпожа Рене д'Эспарвье, которую напугал этот странный шум, появилась, не успев подкраситься. При виде ее ярость Сарнета удвоилась. Один за другим полетели бюсты поэтов, философов, историков: Гомер, Эсхил, Софокл, Еврипид, Геродот, Фукидид, Сократ, Платон, Аристотель, Демосфен, Цицерон, Virgilий, Гораций, Сенека, Эпиктет разбивались о землю; земной глобус и небесная сфера рассыпались на куски с ужасным грохотом, за которым последовало гробовое молчание, прерванное лишь звонким смехом маленького Леона, наблюдавшего из соседнего окна за представлением.

Когда слесарь, наконец, взломал дверь в библиотеке, и все обитатели дома проникли туда, они увидели Сарнета, зарывшегося в груды книг и рвавшего на куски Лукреция с гербом Вандома, с пометками, сделанными рукой Вольтера. Надо было расчистить дорогу среди этих

книжный баррикад. Но сумасшедший, увидев, что его убежище открыто, кинулся на чердак и взобрался на крышу. В продолжение двух часов он испускал дикое рычание, которое было слышно далеко. На улице Гарансьер собралась непрерывно возрастающая толпа, которая смотрела на несчастного и испускала крики ужаса, когда он скользил по ч репице, трещающей под его ногами. Аббат Патуйль, вмешавшийся в толпу, ожидал с минуты на минуту, что он рухнет вниз, и читал о нем молитвы, готовый дать ему напутствие *in extremis*. Блюстители порядка охраняли имущество. Зазвучали трубы вызванных пожарных. Они приставили к стене дома лестницу и после ужасной борьбы схватили сумасшедшего, который в отчаянном сопротивлении разорвал себе на руке мускулы. Его тотчас же отвезли в больницу.

Морис обедал в семейном кругу, и все нежно ему улыбались, в то время как старый лакей Виктор подавал жаркое из телятины. Аббат Патуйль, сидя по правую руку христианской матери, с умилением смотрел на это семейство, благословенное небом. Между тем, госпожа д'Эспарвье была озабочена. Она получала каждый день анонимные письма, такие оскорбительные и грубые, что сначала приписывала одному прогнанному лакею, но теперь она знала, что их писала ее младшая дочь, Берта, почти ребенок. Маленький Леон тоже давал повод к беспокойствам и огорчениям. Он не учился и приобрел дурные привычки. Он становился жестоким. Он вырывал перья у живого сестриногo чижа и втыкал булавки в стул, куда садилась мадемуазель Капораль; он украл четырнадцать франков у этой бедной девушки, которая плакала и вытирала слезы целые дни с утра до вечера.

Как только обед был окончен, Морис, с нетерпением жаждавший увидеть своего ангела, помчался на квартиру улицы Рима. Он услышал сквозь дверь громкий шум голосов и увидел собравшихся там Аркадия, Зиту, ангела-музыканта и Керуба, который, растянувшись на постели, курил огромную трубку и небрежно сыпал огонь на подушки, одеяла и простыни. Они обняли Мориса и

объявили ему о своем предстоящем отбытии. Их лица горели радостью и дерзновением.

Один только автор Алины, королевы Голконды, проливал слезы и подымал к небу испуганные взоры.

Керуб втянул его насильно в восстание, предоставив ему на выбор: или влачиться в земных тюрьмах, или нести огонь и железо в твердыни Иалдабаофа.

Морис увидел с грустью, что они уже едва держатся за землю. Они отправлялись, полные грандиозных надежд, которые были им позволены.

Правда, у них было немного бойцов по сравнению с бесчисленными войсками султана небес, но они рассчитывали искупить свою малочисленность непреодолимым порывом внезапного натиска. Они знали, что Иалдабаоф, воображая, что ему известно все, иногда отлично попадает впросак, и, кажется, первое восстание застало бы его также врасплох, если бы не архангел Михаил. Небесное воинство не удручилось после своей победы над восставшими до начала Времен. По вооружению и технике оно также отстало, как армия Марокко. Генералы были погружены в невежество и роскошь. Наслаждаясь почестями и богатствами, они предпочитали удовольствия празднеств трудностям войны. Михаил, генералиссимус, вечно храбрый и бдительный, утратил с веками прежнюю пылкость и настойчивость. Заговорщики 1914 года, напротив, были знакомы с применением самых новых и совершенных способов истребления, изобретенных наукой и военным искусством. У них все было готово и условлено. Армия восставших формировалась, разбитая на корпуса по сто тысяч ангелов, во всех пустынях земли, в степях, пампасах, песках, льдах и снегах. Она готовилась устремиться в небо.

Ангелы, изменяя ритм составляющих их атомов, могут проникать сквозь самые разнообразные среды. Духи, спустившиеся на землю и слишком уплотнившиеся для своего воплощения, не могут больше лететь самостоятельно; чтобы подняться в Эфирные области и там мало-помалу утерять плотность и вес, они нуждаются в помощи своих собратьев, восставших, как и они, но еще оставшихся в Эмпиреях и сохранивших, не скажу немате-

риальность (ибо все материально в природе), но невесомость и прозрачность. Оттого не без глубокой тревоги Аркадий, Истар и Зита готовились перейти из густой атмосферы земли в светлые пропасти неба. Чтобы погрузиться в эфир, им надо было затратить такую энергию, что самые смелые из них колебались начать свой полет. Их субстанция, проходя сквозь тончайшую среду, должна была сама утончиться, обратиться в газ и от человеческих размеров перейти к объемам колоссальнейших облаков, какие когда-либо наблюдались на нашей земле. Затем они должны были превзойти по величине телескопические планеты, орбиты коих им предстояло пересечь, не чарушая их течения. В этой работе, величайшей, какую только могут выполнить ангелы, их субстанция становилась, поочередно, то горячее огня, то холоднее, чем лед, и они испытывают оттого страдание худшее, чем наша смерть.

Морис прочел дерзновенность и тревогу подобного предприятия в глазах Аркадия:

— Ты уходишь,—сказал он ему со слезами.

— Мы отправляемся вместе с Нектарием искать великого архангела, который поведет нас к победе.

— Кого ты так называешь?

— Священники демиурга говорили тебе о нем, клеветая на него.

— Несчастный!—вздыхнул Морис.

И закрыв лицо руками, он горько заплакал.

Глава тридцать пятая и последняя,
где разворачивается величественный сон Сатаны.

Пройдя семь высоких террас, поднимающихся от крутого берега Ганга к храмам, скрытым среди лиан, пятеро ангелов сквозь былые аллеи достигли одичалого сада, полного ароматных гроздьев и смеющихся обезьян, в глубине которого они нашли Того, за кем явились. Архангел облокотился на черные подушки, вышитые золотым пламенем. У его ног покоились львы и газели. Обвившись вокруг деревьев, ручные змеи обращали к нему свои лас-

ковые глаза. При виде ангельских посетителей, его лицо омрачилось печалью. Еще тогда, когда с виноградным венком на лбу, неся свой скипетр, увитый лозой, он научал и утешал людей, его сердце много раз переполнялось печалью; но никогда еще со времени славного падения его прекрасное лицо не выражало столько тоски и боли.

Зита сказала ему, что черные знамена во множествах собираются во всех пустынях земного шара и что освобождение задумано и подготовлено в тех областях неба, где было зажжено и первое восстание. И она добавила:

— Государь, твоя армия тебя ждет. Веди ее к победе.

— Друзья,—ответил великий архангел,—я знаю, зачем вы пришли. Корзины плодов и соты меда ждут вас в тени этого высокого дерева. Солнце готово опуститься в розовые воды священной реки. Когда вы вкусите, вы приятно уснете в этом саду, где царствует разум и наслаждение с тех пор, как я изгнал отсюда дух старого Демиурга. Завтра я дам вам ответ.

Ночь распростерла над садом свои синие покрывала. Сатана заснул, и ему приснился сон.

Он видел себя во сне парящим над землей, ее же видел покрытой восставшими ангелами, прекрасными, как боги, глаза которых метали молнии. И от одного полюса до другого доносился к нему общий единственный крик, составленный из мириадов криков, звучащий надеждой и любовью. И Сатана отвечал на него:

— Еперед! Померяемся с нашим старым врагом в его горнем жилище.

И он повел через небесные равнины бесчисленные войска ангелов. И Сатана узнал, что произошло тогда в небесной твердыне. Когда весть о втором восстании дошла туда, Отец сказал Сыну:

— Непримирымй враг поднимается снова. Надо думать и принять меры к ващите, чтобы не потерять нашего горнего места.

А Сын, единосущный Отцу, ответил:

— Мы восторжествуем под знаком, который дал победу Константину.

Негодование охватило Гору Господню. Верные серафимы заранее обрекали восставших ужасным карам, потом задумывались, как их разбить. Гнев, зажженный во всех сердцах, воспламенил все лица. Не было сомнения в победе, но боялись измены; уже были объявлены всем шпионам и трусам вечные муки.

Кричали, пели старые гимны, хвалили Господа. Пили мистическое вино. Но раздутье их мужество было готово рухнуть, и тайное беспокойство закрадывалось в темные глубины души. Архангел Михаил принял верховное командование. Он укреплял всех своим спокойствием. Его лицо, отражавшее его душу, выражало презрение к опасности. По его приказанию, начальники над громами, керубы, разжиревшие от долгого мира, обходили тяжелыми шагами все стены Священной Горы и, обведя грозовые облака Господа медленным взглядом своих воловьих глаз, старались разместить божественные батареи. Осмотрев укрепления, они доложили Всемогущему, что все готово. Совещались о плане защиты. Михаил стоял за наступление. Это, говорил он, как настоящий военный, есть основной закон. Или нападать, или отбиваться. Средины здесь нет.

— К тому же,—добавлял он,—атака особенно подходит к пылкости Престолов и Властей.

Об остальном нельзя было добиться ни единого слова от доблестного вождя, и это молчание, казалось, было признаком гения, уверенного в себе.

Как только был обнаружен неприятель, Михаил послал ему навстречу три армии под командой архангелов Уриила, Рафаила и Гавриила. Знамена восточных цветов развернулись в эфирных полях, и громы катились среди звезд. Три дня и три ночи на Горе Господней не знали ничего о судьбе любимого и страшного воинства. На заре четвертого дня стали доходить неопределенные и смутные вести. Говорили о неполных победах, об оспариваемом триумфе.

Слухи об успехах вырастали и рассеивались в несколько часов. Молнии Рафаила, обращенные на восставших, как уверяли, пожгли целые их полчища. Войска, которые вела нечестивая Зита, были погребены, как

утверждали хорошо осведомленные лица, в вихрях огненной бури. Говорили, что свирепый Истар скатился, перевернувшись вверх ногами, в бездну с такой быстротой, что чудовищные проклятья, истрывавшиеся его ртом, кончились ужасающим треском, который испустил его зад. Уже многие говорили, что Сатана, обремененный бриллиантовыми цепями, снова повержен в бездну. Между тем, вожди трех армий совершенно не присылали никаких вестей. К вестям о победе стали примешиваться глухие слухи, которые заставляли опасаться нерешительного исхода и даже поспешного отступления. Дерзкие голоса уверяли, что один дух последней категории, ангел-хранитель, ничтожный Аркадий, обошел и расстроил блестящую армию трех великих архангелов.

Рассказывали также о массовом переходе на сторону неприятеля в северном небе, где разразилось первое восстание до начала Времен; иные даже видели черные тучи неверных ангелов, летевших на соединение с армией восставших на земле. Но добрые граждане неба не слушали этих ненавистных слухов и цеплялись за победные вести, переходившие из уст в уста с разными добавлениями и подтверждениями.

Уже в Горних звучали гимны радости; серафимы воспевали на арфах и цитрах Саваофа, бога громов. Голоса райских избранников присоединялись к голосам ангелов в прославлении Невидимого. При мысли об ивбиении восставших посланцами святого гнева, вздох ликования поднялся от небесного Иерусалима к Всевышнему. Но радость блаженных уже ранее поднялась до такой степени, что не могла больше расти, и избыток их счастья сделал их совершенно нечувствительными.

Песнопения не успели еще смолкнуть, как стража, стоявшая на стенах, дала знать о первых беглецах божественной армии, об ошипанных серафимах, спасающихся в беспорядке, о расстроенных рядах херувимов, ковыляющих на трех ногах. Бесстрастным взглядом начальник воинов Михаил измерил величину бедствия, и его ясный ум достиг причину. Войнство Бога живого начало наступление; но благодаря одной из фатальностей, которые на

войне расстраивают планы самых искусных полководцев, неприятель так же предпринял наступление; результаты происшедшего были налицо. Едва только открылись ворота твердыни, чтобы впустить расстроенные остатки трех армий, как огненный дождь посыпался на Гору Господню. Армия Сатаны еще не была видна, а стены из топаза, изумрудные купола и бриллиантовые крыши лопались с ужасным треском под действием электрофоров. Старые громовые тучи пытались отвечать, но они были слишком близко, и их молнии терялись в пустынных равнинах небес.

Пораженные невидимым врагом, верные ангелы покинули стены. Михаил явился доложить своему Богу, что Священная Гора перейдет через двадцать четыре часа в руки демонов и что для Повелителя Вселенной остается только бежать. Серафимы уложили в ларцы драгоценности небесной короны. Михаил предложил свою руку Небесной Царице, и божественное семейство удалилось из дворца по порфировым подземельям. Потоки пламени лились на цитадель. Заняв свой боевой пост, доблестный архангел объявил, что он никогда не сдастся, и велел высоко поднять знамена Бога живого. В тот же вечер, войска восставших ворвались в трижды святой город. На огненном коне Сатана вел своих демонов. Сзади него шли Аркадий, Истар и Зита. Так же, как в Фиазах Диониса, старый Нектарий двигался в шествии на осле. Всюду позади них развевались черные знамена. Гарнизон сложил оружие перед Сатаной. Михаил бросил к ногам архангела победителя свой пламенный меч.

— Возьмите ваш меч, Михаил,—сказал Сатана.—Люцифер вам его возвращает. Носите его в охрану мира и справедливости.

Затем, обратив свой взгляд к начальникам небесных фаланг, он воскликнул могучим голосом:

— Архангел Михаил, и вы, чины власти, престолы и силы, поклонитесь все быть верными вашему Богу.

— Клянемся,—ответили все в один голос.

И Сатана продолжал:

— Чины Власти, Престолы и Силы, из всего прошлого я буду помнить лишь непобедимую доблесть, которую

вы проявили, и верность власти, гарантирующую мне ту верность, в которой вы мне поклялись.

На следующий день, на эфирных равнинах Сатана велел раздать войскам черные знамена, которые крылатые воины покрывали поцелуями и орошали слезами.

И Сатана венчал себя Богом. Столпившись у сверкающих стен небесного Иерусалима, апостолы, папы, девы, мученики, исповедники, все избранники неба, которые во время самого страшного боя вкушали лишь сладкое спокойствие, испытывали при виде венчания Сатаны, бесконечную радость. Избранники рая с восторгом встретили низвержение Всемогущего в ад и восшествие Сатаны на престол Господень.

Исполняя волю Бога, воспротивившего им печаль, они стали петь, по древнему обычаю, хвалы новому Господину.

И Сатана, устремив взгляд в пространство, созерцал теперь тот маленький земной шар, где он когда то посадил виноградную лозу и образовал первые трагические хоры. И он обратил свой взор к этому Риму, где низвергнутый ныне Бог обманом и подлогом создал свое царство. Святой человек управлял тогда Церковью. Сатана увидел, как он плакал и молился. Он сказал ему:

— Вверяю тебе Супругу мою. Береги ее верно. Вручаю тебе право и власть располагать доктриной, учреждать таинства, издавать законы для охранения нравов. И всякий верный должен повиноваться тебе. Моя Церковь вечна, и врата ада не одолеют ее. Ты непогрешим. Все неизменно.

И преемник апостолов почувствовал себя об'ятым радостью. Он пал ниц и ответил:

— Господин мой, Бог мой, узнаю твой голос. Твое дыхание, как бальзам, пролилось мне на сердце. Да святится имя твое. Да будет воля твоя, как на небеси, так и на земли. Не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого.

И Сатане были приятны хвалы и поклонения; он любил слушать, как превозносят его мудрость и могуще-

ство. Он с радостью слушал песнопения херувимов, восхваляющих его благодеяния, и ему совсем не доставляло более удовольствия слушать флейту Нектария, потому что она воспевала природу, уделяла насекомому и былинке часть его могущества и любви и вещала счастье и свободу. Сатана, который прежде содрогался при мысли, что горе царствует в мире, теперь чувствовал себя недоступным страданию. Он считал теперь страдание и смерть за счастливые следствия своего всемогущества и своей благодати. И кровь жертв дымилась перед ним, как благовуханный фимиам. Он осуждал знание, ненавидел любознательность. Он сам отказывался чему-нибудь учиться из боязни, что, познав новое, он даст всем увидеть, что не знал этого раньше. Он полюбил тайну и, считая, что власть его ослабнет, если он будет всем понятен, притворялся непостижимым. Грубая теология туманила его мозг. Он решил однажды провозгласить себя, по примеру предшественника, единым богом в трех лицах. После этого провозглашения, увидев, что Аркадий улыбается, он прогнал его со своих глаз. Уже давно Истар и Зита возвратились на землю. И века проходили, как мгновения. Но вот однажды, с высоты своего трона, он устремил взгляд в самую глубину бездны и увидел Иалдабаофа в геенне огненной, куда он его ввергнул, после того, как сам долгое время был прикован там. Иалдабаоф и среди вечного мрака сохранил свою гордость. Почерневший, сломленный, страшный и величественный, он поднял к дворцу небесного даря взгляд презрения и отвернул голову. И новый бог, наблюдая своего соперника, увидел, как по его печальному лицу прошла тень мысли и доброты. Теперь Иалдабаоф созерцал землю и, видя, что она обята горем и страданием, питал в своем сердце благие мысли. Вдруг он поднялся и, рассекая эфир своими огромными руками, как веслами, полетел на землю, чтобы учить и утешать людей. И уже его огромная тень кинула на несчастную планету тень, такую нежную, как ночь любви. Сатана проснулся, обливаясь холодным потом.

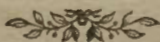
Нектарий, Истар, Аркадий и Зита стояли около этого Райские птички пели.

— Друзья,—сказал великий архангел,—нет, не станем завоевывать небо. Достаточно уже того, что мы могли бы это сделать. Война порождает войну и победа—поражение. Победенный Бог делается Сатаной, а победитель Сатана делается Богом. Да избавит меня судьба от этой ужасной участи. Я люблю ад, сформировавший мой дух, люблю землю, где я сделал немного добра, если только возможно сделать его в этом ужасном мире, где все существует только убийством. Теперь, благодаря нам, старый Бог лишился своего земного владычества, и все, что мыслит на этой планете, презирает его или не хочет внять, но какая польза людям освободиться от подчинения Иалдабаофу, если дух Иалдабаофа еще в них, если они по его образу и подобию завистливы, жестоки, вздорны, жадны, враждебны искусству и красоте; зачем свергать для них злого Демиурга, если они все равно не слушают дружественных демонов, которые учат истине—Диониса, Аполлона и Муз. Что касается нас, небесных духов, то мы уничтожим тирана Иалдабаофа, когда уничтожим в себе невежество и страх.

И Сатана, обратившись к садовнику, сказал:

— Нектарий, ты сражался вместе со мной до начала Времен. Мы были побеждены, потому что не поняли, что победа есть Дух и что только в нас, в нас самих должны мы преодолеть и уничтожить Иалдабаофа.

Перев. с франц. П. Муратов.



ЧУДЕСНЫЕ РАССКАЗЫ
CONTES MERVEILLEUX

1909

ПРЕДИСЛОВИЕ.

В сборнике, озаглавленном „Семь жен Синей Бороды“ А. Франс собрал рассказы, касающиеся преимущественно французских легенд и сказок или написанные в их духе. Главным образом, его привлекали в данном случае сказки, собранные Перро в XVII веке, или философски-аллегорические повествования Вольтера. Преемственность от последнего, вообще заметная у А. Франса, особенно ясна в рассказе „Рубашка“, напоминающем „Кандида“.

А. Франс уже не в первый раз обращается к народным сказкам, но „Семь жен Синей Бороды“—единственный сборник, где находятся исключительно сказки, без примеси рассказов исторических или таких, где он обрабатывает иноземные сюжеты. Рассказы А. Франса из французской истории особенно интересны тем, что в них есть связь с изображением тем же романистом современного французского общества. И является невольный вопрос: любит ли А. Франс свою „прекрасную Францию“, правда, недостаточно благодарную к своему прекраснейшему сыну? Конечно, он зоркий наблюдатель, не зараженный манией героизаций и идеализаций, и современное общество буржуазно-республиканского отечества с аристократией выскочек, гальванизированным католицизмом, милитаризмом, министерскими комедиями, патриотическими разговорами светских спортсменов, распущенной продажностью и деловитой распущенностью, служило не раз предметом его бесподобных сатир,—но, кажется, что, как всякий художник, Франс настолько любит жизнь живую и животворящую, что, не закрывая глаз на все смешное и жалкое, любит даже то, над чем смеется.

Но, будучи зорким наблюдателем современности, Анатолий Франс в то же время не менее проникательный знаток и исследователь прошлого и, как человек благоразумный, видит, что в

„прекрасном далеке“ не все так прекрасно и гармонично, как кажется иным вздыхателям, и было оно очень похоже на наше „ничтожное время“. Мысль эта охотно подчеркивается А. Франсом, когда он вводит в сказку о „Спящей красавице“ чисто современные подробности. Подобное „принижение“ исторических событий и эпох так свойственно Франсу, что не раз навлекало на него нарекания со стороны не в меру героических критиков. Так, например, в романе „Боги жаждут“ увидел чуть ли не оскорбление „великой революции“. Так что непосредственного пристрастия к прошлым эпохам нельзя у него искать.

Даже самые методы исторического исследования и писания „истории“ так часто подвергались с его стороны критике и осмеянию, что удивительным кажется его собственное исследование о „Жанне д'Арк“, как противоречащее его взглядам. Исследования филологические и космогонические объяснения народных легенд и сказаний Франс осмеял, применив их к истории Наполеона, причем ясно выходит, что Наполеона никогда не существовало, и его история не более, как новая версия „олд-нечного мифа“.

А происхождение мифов и свое отношение к ним А. Франс достаточно выразил в рассказе „Пютуа“, где из фразы, певзначай сказанной, выдуманной, которой не придавали никакого значения, вырос целый миф, родилось существо со свойствами, характером, именем, поступками до того реальными, что этому вымышленному лицу приписывали даже настоящего живого ребенка.

Следовательно, что же? Сказки остаются только сказками, наивными фабулами, что в сумерки рассказывают старухи детям, легчайшими крыльями эфемерных бабочек, раскрытыми на мгновенье.

Эти создания не переносят прикосновения чужих рук, и переделки, даже искусные, их портят. Переделка, вообще, вещь опасная. Сколько произведений народной литературы, известные только в переделках XVIII века, дожидались своих романтических Шлиманов*), чтобы заблестать своею первоначальной красотой.

Но по отношению к А. Франсу дело обстоит несколько иначе. При всей своей новизне, любитель литературных традиций, он склонен смотреть на народную литературу и старин-

*) Знаменитый немецкий археолог, раскопавший древнюю Трою.

ную письменность, как на матерьял, как на сводку „путешествующих сюжетов“, как на сокровищницу, из которой черпали и Шекспир, и Рабле, и Дант, и Боккачио, и может черпать всякий, у кого достаточно вкуса, ловкости и таланта, чтобы придать новый блёск старинным монетам клада.

Но, зная взгляды А. Франса, боясь, что при всей прелести, тонкости, мудрости, которую он вольет в старые сюжеты, не уничтожит ли он их с улыбкой, и именно улыбкой? не подведет ли он так незаметно, что давно известный и любимый мотив вдруг воочию станет бессмысленным треньканьем механического органчика. Может быть, у него и была эта тайная мысль; так много недоверия и сатиры, лукавой наивности, простоты, которая „хуже воровства“, вносит он в эти обработки, что кажется, весь смысл их именно в этом развенчании. Но спутница этих же сказок, какая-то добрая фея, не позволяет этого, и мимо воли, может быть, он создает еще более свежую, еще более острую наивную и убедительную прелесть, и, как в Библии жрецы Ваала благословили, собираясь проклясть, снова прославляет сказания старой Франции, в которой было так много общего с теперешней, что можно надеяться, что не потеряна и старая ее прелесть.

Впрочем, в последнем сам А. Франс—живая порука.

Отдельной книгой „Семь жен Синей Бороды“ вышли в 1909 году. Из помещенных в ней рассказов особенной популярностью пользуется „Рубашка“, длинная сказка в стиле Вольтера, где так ярко выразился и сатирический ум и улыбающийся социализм А. Франса.

М. Кузмин.



СЕМЬ ЖЕН СИНЕЙ БОРОДЫ

LES SEPT FEMMES DE BARBE BLEUE

(По подлинным документам).

I.

О пресловутом персонаже, называемом в просторечьи Синей Бородой, высказывали суждения самые разнообразные, самые странные и самые невероятные. Мнение, может быть, не самое бездоказательное, видит в этом дворянине олицетворение солнца. Такая система применялась лет сорок тому назад одною из школ сравнительной мифологии. Утверждали, что семь жен Синей Бороды—семь зорь, два шурина—сумерки вечерние и утренние,—отождествлялись с Дюскурами, освободившими Елену, похищенную Тезеем. Тем, кто соблазнился бы подобным толкованием, напомним, что в 1817 г. ученый библиотечарь из Ажана, Жан-Батист-Перэс, весьма правдоподобно доказал, что Наполеон никогда не существовал и вся история этого мнимо-великого полководца—не что иное, как солнечный миф. Но как бы ни были остроумны такого рода доказательства, нельзя не сомневаться в действительном существовании Наполеона и Синей Бороды.

Другая гипотеза, не более основательная, отождествляет Синюю Бороду с маршалом де-Рэ, удавленным по приговору суда на Нантском мосту, 26 октября 1440 г. Не доискиваясь, вместе с Салмоном Рейнаком, совершил ли маршал все те преступления, за которые он был осужден, или же его сгубили его богатства, на которые похотился алчный князь, отметим, что в его жизни нет ничего общего с жизнью Синей Бороды. Этого достаточно, чтоб их не смешивать и не сливать в одно лицо.

Шарль Перро, в 1660 году написавший первую биографию этого сеньора, заслуженно прославившегося тем, что он имел семь жен, изобразил его отъявленным злодеем и образцом жестокости. Позволительно, однакож, сомневаться, если не в добросовестности этого биографа, то,

по крайней мере, в точности его сведений. Он мог быть предубежден против своего героя. Не в первый раз историки или поэты умышленно сгущают краски. Если портрет Тита дошел до нас, повидимому, в прикрашенном виде, то Тиверия, наоборот, Тацит, как кажется, сильно очернил. Макбет, на которого легенда и Шекспир взвалили столько преступлений, на самом деле был справедливым и мудрым королем. Он и не думал изменнически убивать старого короля Дункана. Дункан, еще молодым, проиграл большое сражение и на другой день был найден мертвым в так называемой Лавке Оружейника. По приказу этого короля были убиты несколько родственников Грухно, жены Макбета. При Макбете же Шотландия процветала. Он покровительствовал торговле и слыл защитником буржуазии, настоящими королем городов. Шотландская знать, предводители кланов не простили ему ни того, что он победил Дункана, ни того, что он покровительствовал ремесленникам: они умертвили его и обесславили его память. По смерти доброго короля Макбета, воспоминания о нем сохранились по рассказам его врагов. А гениальный Шекспир навязал эту ложь и всему человечеству.

Я давно уже подозревал, что и Синяя Борода стал жертвой такой же роковой случайности. Все обстоятельства его жизни, в том виде, в каком мне их преподносили, не удовлетворяли непрестанно преследующей меня потребности в логике и ясности. Размышляя о них, я наталкивался на непреодолимые трудности. Меня слишком старались уверить в жестокости этого человека, чтоб я не усомнился в ней.

Предчувствие меня не обмануло. Моим догадкам, вытекавшим из некоторого знания человеческой природы, суждено было скоро превратиться в уверенность, основанную на неопровержимых доказательствах. У одного каменотеса в Сен-Жан-де-Буа я нашел разные документы, относящиеся к Синей Бороде, в том числе его приходо-расходную книгу и безымянную жалобу на его убийцу, которой—не знаю почему—не было дано ходу. Эти документы убедили меня, что он был добрый и несчастный человек и что память его опорочена недостойной клеветой.

С той поры я считал своим долгом написать подлинную его историю,—не обольщаясь, однакож, никакими иллюзиями относительно успеха такого предприятия. Я знаю, эта попытка реабилитации обречена на забвение: ее постараются замолчать. Что может нагая, холодная истина против блестящих обольщений лжи?..

II.

Около 1650 года проживал в своих поместьях, между Компьеном и Пьерефоном, богатый дворянин по имени Бернар де-Монрагу. Предки его занимали самые высокие должности в королевстве; но он жил вдали от двора, в мирной безвестности, на которую в те времена было обречено все, на что не падал королевский взор. Его замок Гильет изобилывал драгоценной мебелью, золотой и серебряной посудой, дорогими коврами и вышивками, но все это хранилось в сундуках, не потому, чтобы владелец боялся, как бы они не попортились от употребления—наоборот, он был щедр и любил пышность,—но в те времена провинциальные сеньоры нередко вели очень скромную жизнь, ели за одним столом со своею челядью и по воскресеньям танцевали на лужайке с деревенскими девушками. Это не мешало им, однакож, в некоторых случаях задавать пышные праздники и пиры, резко отличавшиеся от их обычной бесцветной жизни. Поэтому им необходимо было беречь про запас и красивую мебель и дорогие ткани. Так поступал и г. де-Монрагу.

Замок его, построенный в готические времена, имел их грубость. Снаружи он казался угрюмым и мрачным, с своими обрубками больших башен, сломанных во время смуты при покойном короле Людовике. Внутри он был привлекательнее. Комнаты были отделаны в итальянском стиле, а большая галлерея в нижнем этаже была вся украшена рельефами, живописью и позолотой.

В конце этой галлерей находилась комната, обыкновенно именуемая «малым кабинетом». По крайней мере,

Шарль Перро не называет ее иначе. Не мешает, однако, знать, что она называлась также комнатой несчастных принцесс, так как на стенах ее флорентийский художник изобразил трагическую участь Дирцеи, дочери Солнца, привязанной сыновьями Антиопы к рогам быка; Ниобей, оплакивающей на горе Сипиль своих детей, пронзенных божественными стрелами; Прокриды, призывающей на свою грудь дротик Кефала. Все эти изображения казались живыми, и порфиновые плиты, которыми была вымощена комната, казались окрашенными кровью этих несчастных женщин. Одна из дверей «малого кабинета» выходила на ров, в котором совсем не было воды.

Конюшни помещались недалеко от замка, в особом роскошном здании, достаточно обширном, чтобы вместить в себе шестьдесят лошадей и дюжину золоченых карет. Но очаровательнее всего в Гильете были каналы и рои вокруг замка, где можно было вдоволь наслаждаться охотой и рыбной ловлей.

Многие из окрестных жителей знали г. де-Монрагу исключительно под пменем Синей Бороды, как его прозвал народ за его иссиня-черную бороду. Но это не значит, чтобы сеньор де-Монрагу сколько-нибудь походил на чудовищного тройного Тифона, которого мы видим в Афинах, ухмыляющегося в свою тройную бороду, цвета индиго. Мы будем гораздо ближе к истине, если сравним его с актерами или священниками, щеки которых, гладко выбритые, отливают синевою. Г. де-Монрагу не носил своей бороды ни клином, как его дед при дворе Генриха II, ни веером, как его прадед, убитый в Мариньянской битве. Подобно маршалу Тюрену, он носил просто небольшие усики и эспаньолку; щеки его казались синими, но, что бы там ни говорили, это отнюдь не безобразило нашего доброго сеньора, а только придавало ему более мужественный вид. Страшным он вовсе не казался, а если и напускал на себя иной раз свирепость, то вовсе не для того, чтобы стать ненавистным для женщин. Бернар де-Монрагу был красавец-мужчина, высокий, широкоплечий, дородный и весьма благообразный, хоть и видно было, что он живет в деревне и больше чувствует себя дома в лесу, чем в городских салонах. Правда, однакож, что он

не так правился женщинам, как мог бы нравиться при своей внешности и богатстве. Но это оттого, что он был застенчив: тут все дело было в робости, а совсем не в бороде. Женщины неотразимо влекли его к себе и в то же время внушали ему непреодолимый страх. Он их боялся не меньше, чем любил. Вот где причина и первоисточник всех его напастей. Увидя даму в первый раз, он скорее готов был умереть, чем заговорить с ней, и, как бы она ему ни приглянулась, он сидел перед нею и мрачно молчал, выражая свои чувства лишь глазами, которые он закатывал ужасным образом. Эта робость и причиняла ему массу всяких огорчений, а, главное, мешала ему сближаться с женщинами приличными и скромными, оставляя его беззащитным против покушений на него более смелых и предприимчивых. Она то и составляла несчастие его жизни.

Рано оставшийся сиротой, он этим своим страхом и стыдливостью, которых он не в силах был преодолеть, отверг несколько весьма почтенных и выгодных партий, представлявшихся ему, и, в конце концов, женился на Коlette Пассаж, которая недавно только поселилась в этой местности, скопив себе известное количество денег тем, что странствовала по городам и селам королевства с пляшущим медведем. Полюбил он ее всеми силами и всей душой. И, надо правду сказать, она-таки могла понравиться,—здоровая, сильная, с пышной грудью, с еще свежим, хотя и загоревшим на открытом воздухе лицом. Велики были сначала ее изумление и радость, когда она стала знатной дамой. Сердце у нее было не злое, и оно было тронато добротою мужа, знатного, и крепкого сложения, который являлся для нее покорнейшим слугой и самым влюбленным из любовников. Но прошло несколько месяцев, и ей стало скучно сидеть на месте. Среди богатств, любви и забот, она только и отводила душу, что со старым спутником своей бродячей жизни; спускалась к нему в погреб, где он томился с цепью на шее и кольцом в носу, обнимала его, целовала в глаза и плакала. Г. де-Монрагу, видя, что жена его тоскует, сам загрустил, и его грусть еще усугубляла тоску его подруги. Внимание и предупредительность мужа пе-

реворачивали душу бедной женщине. Однажды утром, проснувшись, г. де-Монрагу не нашел рядом с собой Колетты. Напрасно он искал ее по всему замку. Дверь кабинета несчастных принцесс была открыта: через эту дверь и ушла его жена—снова бродить по свету со своим медведем. Синяя Борода тосковал так, что жалко было смотреть на него. Разослали во все стороны гонцов и курьеров, но с тех пор никто и не слышал о Коlette.

Г. де-Монрагу еще оплакивал ее, когда ему случилось танцевать на празднике в Гильете с Жанной де-ла-Клош, дочерью уголовного судьи в Компьене. Он сразу влюбился, посватался и получил согласие. Жанна была охотница выпить и злоупотребляла этим. По выходе замуж, эта страсть в ней до того усилилась, что она в несколько месяцев потеряла всякий образ человеческий: ни дать, ни взять—пьяная харя, нарисованная на бурдюке. И хуже всего, что этот бурдюк, словно взбесившись, катался день-деньской по лестницам и залам, с криками, с бранью, икотой, изрыгая вино и ругательства на все, что попадалось ему навстречу. Г. де-Монрагу прямо одуревал иной раз от ужаса и отвращения. Но тотчас же призывал на помощь все свое мужество и настойчиво, но терпеливо старался излечить свою супругу от такого гнусного порока. Просьбы, жалобы, угрозы, мольбы—все было испробовано. Ничто не помогало. Он прятал ключи от винного погреба,—она доставала себе простой, кабацкой водки, от которой опьянение было еще ужаснее.

Чтобы отбить у нее вкус к вину, он положил в вино полыни. Жена вообразила, что он хочет отравить ее, кинулась на него и всадила ему на три вершка в живот кухонный нож. Он едва не умер, но и тут не отрешился от своей обычной кротости. «Она более достойна сожаления, чем порицания»,—говорил он о жене. Однажды, найдя незапертой дверь комнаты несчастных принцесс, Жанна де-ла-Клош вошла туда, по обыкновению пьяная; увидев фигуры, нарисованные на стене, в позах тяжелой скорби или расставания с жизнью, приняла их за живых женщин и, перепуганная, побежала на село, крича: «Помогите! Убивают!»—Услыжав голос Синей Бороды, который звал ее и бежал за нею вслед, она, обезумев от

страха, кинулась в пруд и утонула. Трудно поверить, а между тем это правда,—муж был огорчен ее смертью: настолько у него было жалостливое сердце.

Шесть недель спустя после этого несчастья г. де-Монрагу женился в третий раз—на Жигонне, дочери своего фермера Трэнбеля. Жигонна ходила в деревянных башмаках, и от нее пахло луком; но все же была недурна собой, хоть и косида на один глаз и прихрамывала. Выйдя замуж, она моментально забыла, что не так давно пасла гусей и, одолеваемая безумным честолюбием, только и мечтала, что о новой пышности и новых почестях. И ее парчевые платья казались ей недостаточно богатыми, и жемчужные ожерелья—недостаточно красивыми; и рубины недостаточно велики, и на каретах мало позолоты; и пруды, леса и поместья недостаточно обширны. Синяя Борода, никогда не знавший честолюбия, стонал от горделивости своей супруги, и, в простоте души, не зная, кто из них неправ: он ли, что слишком умерен в своих желаниях, или она, что рвется к пышности и блеску,—то убеждал ее пользоваться умеренно благами этого мира, то обвинял себя в чрезмерной скромности, шедшей вразрез с благородными стремлениями его жены, и доказывал себе, что необходимо гнаться за счастьем, хотя бы это привело его на край бездны. Он был человек рассудительный, но супружеская любовь брала в нем верх над благоразумием. Жигонна только и думала теперь, что о выездах в свет, о том, чтобы быть представленной ко двору и стать возлюбленной короля. Но так как это ей не удавалось, она сохла с досады и схватила желтуху, от которой и умерла. Синяя Борода, обливаясь слезами, воздвиг ей великолепный мавзолей.

Этот добрый сеньор, испытав столько неудач в своей семейной жизни, может быть, и не взял бы себе четвертой жены, но его самого выбрала себе в мужа девица Бланш де-Жибоме, дочь кавалерийского офицера, у которого было только одно ухо; другое, как он уверял, было потеряно на королевской службе. Девица эта была весьма умна и пользовалась этим, чтоб обманывать своего мужа со всеми окрестными дворянами. Она так наловчилась в этом, что изменяла у него же в доме, почти на глазах, а он

все ничего не замечал. Бедный Синяя Борода! Кой-какие подозрения у него все же были, но он сам не знал, чего бояться. На свое несчастье, употребляя все свое искусство на то, чтобы обманывать своего мужа, она не прилагала тех же стараний, чтоб обмануть своих любовников, то-есть скрыть от них, что она каждому из них изменяет с другим. И вот, в один прекрасный день, ее застал в кабинете несчастных принцесс в обществе дворянчика, любимого ею, другой дворянчик, которого она любила раньше, и в припадке ревности проколол ее своей шпагой. Несколько часов спустя злополучная дама была найдена здесь мертвой одним из служителей, и после этого «малого кабинета» стали еще больше бояться.

Бедный Синяя Борода узнал за раз и о трагическом конце своей жены и о ее бесчисленных изменах, но даже и второе не могло утешить его в первом. Он любил Бланш де-Жибоме со всем пылом страсти, как не любил ни Жанну де-ла-Клош, ни Жигонну Трэнель, ни даже Колетту Пассаж. Узнав, что она все время изменяла ему и больше уж не будет изменять, он смутился духом и так убивался, что с каждым днем горе его возрастало, вместо того, чтоб утихать. Наконец, страдания его стали невыносимы: он опасно захворал, так что опасались за его жизнь.

Врачи, перепробовав множество лекарств без всякой пользы, объявили ему, что единственное средство от его болезни—жениться на молодой. Тогда он вспомнил о своей маленькой кузине, Анжель де-ла-Гарандин, полагая, что ее охотно выдадут за него, так как она была бесприданница. Говорили также, что она глупенькая и ничему не учена, но это только подбодряло Синюю Бороду; умная жена так ловко надувала его, что в глупой он думал быть уверенней. Но, женившись на мадемуазель де-ла-Гарандин, он скоро убедился в ошибочности своих предположений. Анжель была добра, Анжель была кротка, Анжель любила его; по натуре она вовсе не была склонна ко злу, но соблазнить ее ничего не стоило в любой момент. Ей достаточно было пригрозить букой или оборотнем, или же сказать: «Закрой глаза и проглоти это лекарство»,—и простушка покорно выполняла волю негодяев, требовавших от нее того, чего естественно было

желать, так как она была очень хорошенькая. Эта простушка изменяла своему мужу не меньше, если не больше, чем Бланш де-Жибоме; и вдобавок г. де-Монрагу имел несчастье это знать, так как Анжель была слишком наивна, чтобы что-нибудь скрыть от мужа. Она прямо говорила: «Мне сказали то-то; со мной сделали то-то; я то-то видела и чувствовала». Своей наивностью она заставляла своего бедного мужа терпеть невообразимую муку. Но он терпеливо переносил свою участь, хоть ему и случалось иной раз обозвать «дурой» глупенькую Анжель, или же надавать ей пощечин. Эти-то пощечины и создали ему репутацию жестокости, которая с тех пор прочно утвердилась.

Нищенствующий монах, проходивший мимо замка Гильет в то время, как г. де-Монрагу охотился на бекасов, увидал в саду мадам Анжель, шившую платице для куклы. Убедившись, что она так же глупа, как и красива, добрый монах увез ее на своем осле; уверив ее, что архангел Гавриил ждет ее в соседней роще, чтобы надеть ей на ноги жемчужные подвязки. Должно быть, ее сели волки, так как с тех пор ее больше не видали.

После таких жестоких уроков, как мог Синяя Борода решиться еще раз вступить в брачный союз? Это было бы непонятно, если бы мы не знали власти прекрасных глаз над благородным сердцем. В сфеедном замке, где бывал этот благородный человек, он встретил юную сиротку, Алису де-Понтальсен. Ограбленная алчным опекуном, бедная девочка жаждала только одного—окончить свою жизнь в монастыре. Друзья убедили ее отказаться от этого намерения и отдать свою руку г. де-Монрагу.

Алиса была писаной красавицей. Синяя Борода, мечтавший найти райское блаженство в ее объятиях, еще раз был обманут в своих надеждах. И для здорового, сильного мужчины, как он, такого рода разочарование было, пожалуй, чувствительнее всех предыдущих. Дело в том, что Алиса, хоть и своею волей шла за него замуж, однакож, упорно отказывалась на самом деле стать его женой. Все убеждения, слезы, упреки и мольбы были напрасны: она не позволяла своему супругу самой невинной ласки и запырлась от него в кабинете несчастных принцесс, где

проводила целые ночи напролет, одна, пугливая и неприступная. Какая была причина этого сопротивления, противного и божеским и человеческим законам—этого так и не узнали; приписывали его синей бороде г. де-Монрагу; но то, что нами было сказано об этой бороде, делает такое предположение маловероятным. Вообще, о таких вещах очень трудно судить. Как бы то ни было, бедный муж терпел жестокие муки. Чтобы забыться, он до неистовства охотился, загоняя лошадей, собак и доезжачих. Возвращался домой усталый, измученный, но достаточно ему было увидеть в окно мадемуазель де-Понтальсен, чтобы к нему вернулись и силы и мучения. Наконец, он не в состоянии был больше выдержать и стал хлопотать в Риме о расторжении своего призрачного брака—чего и добился, согласно каноническому праву и за щедрый подарок Святейшему Отцу. Если г. де-Монрагу отпустил из своего дома мадемуазель де-Понтальсен со всеми знаками уважения, подобающего женщине, и не обломав палки об ее спину,—то только потому, что у него была сильная душа, благородное сердце и он умел владеть собой не хуже, чем своим имуществом. Но в тот день он поклялся, что отныне ни одна женщина не переступит порога его дома.

Хорошо, еслиб он до конца сдержал свою клятву!

III.

Прошло несколько лет с тех пор, как г. де-Монрагу выводил из дому свою шестую жену, и в его родном краю сохранилось лишь смутное воспоминание о семейных злополучиях, обрушившихся на дом этого доброго сеньора. Никто не знал, что случилось с его женами, и на деревенских посиделках о них рассказывали такие сказки, что волосы становились дыбом; кто верил этим сказкам, а кто и нет. В ту пору вдовушка, уже в летах, Сидони де-Леспуасс, с детьми, поселилась в замке де-ла-Мотт-Жирон, всего милях в двух от замка Гильет. Откуда она была родом и кто был ее муж,—никто не знал. Одни слышали от нее, что он служил где-то в Савоие или в Испании; другие уверяли, что он умер в Индии; многие

воображали, что вдовушка владеет богатейшими поместьями; иные сильно в этом сомневались. Как бы то ни было, дом свой в де-ла-Мотт-Жирон она поставила на широкую ногу, и у нее бывала вся местная знать.

У вдовы были две дочери, из которых старшая, Анна, девица уже в годах, была очень тонкая штучка. Жанна, младшая, тоже уже на выданьи, скрывала под невинной внешностью раннее знакомство с жизнью и людьми. У вдовы де-Леспуасс было также два сына, двадцати и двадцати двух лет; оба были красивые, статные молодцы; один служил в драгунах, другой — в мушкатерах. Я видел его отпускной билет, и потому могу сказать точнее: в черных мушкатерах. Кто видел его не на лошади, тот не мог этого знать, так как черные мушктеры отличались от серых не цветом формы, а мастью лошади. Одевались же те и другие в камзол синего сукна с золотым галуном. Что касается драгун, их можно было узнать по высокой меховой шапке с длинным хвостом, ниспадавшим на ухо. Драгуны слыли большими повесами; о том свидетельствует песня:

Мама, вот идут драгуны!

Мама, убежим!

Но в обоих драгунских полках его величества не сыскать было такого повесы, щалопа, соблазнителья девушек и вообще такого мерзавца, как Козьма де-Леспуасс. Брат его, в сравнении с ним, казался честным малым. Игрок и пьяница, Пьер де-Леспуасс нравился женщинам и выигрывал в карты: других источников дохода у него не было.

Вдова де-Леспуасс, их мать, приглашала гостей в де-ла-Мотт-Жирон, задавала пиры и обеды лишь для того, чтобы пустить людям пыль в глаза. В действительности, у нее ничего не было, и даже ее фальшивые зубы были взяты в долг. А ее тряпки, мебель, экипажи, лошади и слуги были отпущены ей на прокат парижскими ростовщиками, угрожавшими все взять обратно, если она в кратчайший срок не женит на одной из своих дочерей какого-нибудь богатого сеньора. И честная Сидони ежеминутно рисковала остаться в пустом доме и в чем мать родила. Выискивая себе на скорую руку подходящего

зятя, она сразу возымела виды на г. де-Монрагу, угадав в нем простодушного, доверчивого человека, очень мягкого и влюбчивого, несмотря на свою суровую и грубоватую внешность. Дочери были посвящены в ее планы, и при каждой встрече строили бедному Синей Бороде такие глазки, что у того дух захватывало. Он очень скоро поддался чарам девиц де-Леспуасс и, забыв все свои влятвы, только и мечтал о том, как бы ему жениться на которой-нибудь из сестер,—обе казались ему одинаково прелестными. Помедлив немного, не столько потому, что он колебался, сколько из-за своей застенчивости, он в парадной карете отправился в де-ла-Мотт-Жирон и обратился прямо к матери, предоставляя ей самой выбрать, которую из дочерей она согласна дать ему в супруги. Госпожа Сидони обязательно ответила ему, что она его глубоко уважает и разрешает ему ухаживать за любой из девиц Леспуасс, которая ему придется по душе.

— Сумейте понравиться, сударь. Я первая буду радоваться вашему успеху.

Для более близкого знакомства Синяя Борода пригласил Анну и Жанну де-Леспуасс с их матерью, братьями и еще множеством других дам и дворян гостить к себе, в замок Гильет. Две недели пролетели в прогулках, охоте, рыбной ловле, танцах, пиррах и всевозможных забавах.

Один молодой сеньор, которого привезли с собой дамы де-Леспуасс, кавалер де-ла-Мерлюс, организовал охоты. У Синей Бороды были лучшие в той местности своры и лучшие экипажи. Дамы, преследуя оленя, соперничали в усердии с мужчинами. Оленя не всегда удавалось догнать, но охотники и охотницы сплошь и рядом пропадали где-то в лесу парами,—найдутся, и опять заблудятся. Кавалер де-ла-Мерлюс чаще всего исчезал вместе с Жанной де-Леспуасс. А под вечер все возвращались в замок, усталые, возбужденные приключениями и довольные проведенным днем. После нескольких дней внимательного наблюдения добрый сеньор де-Монрагу стал оказывать решительное предпочтение младшей из сестер, Жанне, как более свежей,—хоть это и не значит, что она была неопытной. Он не скрывал своего предпочтения, да и зачем было его скрывать, рав у него были честные

намерения? И вообще, он не умел хитрить. Он ухаживал за молодой девицей, как умел, говорил с непривычки мало, но зато глаз с нее не сводил, закатывая их под самый лоб и извлекая из глубины своей души такие вздохи, которыми можно было бы опрокинуть дуб. А не то принимался хохотать, так что дрожала посуда и звенели стекла. Он единственный из всей компании не замечал ухаживанья кавалера де-ла-Мерлюс за младшей дочерью г-жи де-Леспуасс или, если и замечал, не видел в том ничего дурного. Казалось бы, пережитые опыты могли научить его быть недоверчивым, но подозрительность была ему чужда, и он не мог не доверять тем, кого любил. Моя бабушка говаривала, что в жизни опыт ни к чему не служит, и человек остается таким, каков он есть. Я думаю, она права, и правдивая история, которую я здесь рассказываю, никоим образом не доказывает ее неправоты.

Синяя Борода не скупился и задавал пиры на славу. По вечерам вокруг замка загорались тысячи огней; слуги и служанки, одетые фавнами и дриадами, накрывали столы, дохившиеся под тяжестью яств. Здесь было все, что могут дать самого лучшего и вкусного поля и леса. Музыканты с утра до ночи разыгрывали чудесные симфонии. Под конец ужина являлись школьный учитель и учительница, в сопровождении деревенских мальчиков и девочек, и читали хвалебное слово г. де-Монрагу и его гостям. К дамам подходил астролог в остроконечном колпаке и по линиям рук предсказывал им ожидающую их любовь. Синяя Борода угощал вином всех своих вассалов и собственноручно раздавал хлеб и говядину бедным.

В десять часов вечера, боясь простуды, гости и хозяйин удалялись во внутренние покои, освещенные тысячами свеч; здесь уже были приготовлены столы для всевозможных игр: ландскнехт, фортунка, реверси, турникет, портик, дурачки, фараон, брелан, ока, триктрад и пр., а также бильярд, шахматы, кости и т. п. Синей Бороде на редкость не везло, в какую бы игру он ни сад, и он каждый вечер проигрывал значительные суммы, утешаясь тем, что его невеста, ее мамаша и сестра много выиграли.

Жанна, младшая, постоянно примазывалась к ставке

кавалера де-ла-Мерлюс и собирала золотые горы. Оба сына госпожи де-Леспуасс также изрядно нагревали себе руки на фараоне и реверси: замечательно, что как раз в эти игры, самые азартные, им неизменно вевло. Игра затягивалась далеко за полночь. Спали во время таких торжеств и хозяин, и гости очень мало, и, как, говорит автор древнейшей истории Синеи Бороды, «всю ночь проводили в том, что строили каверзы друг другу». Для многих, однако же, часы эти были сладчайшими за сутки, ибо под видом шутки и под покровом мрака питавшие склонность друг к другу прятались вместе в глубине альковов. Кавалер де-ла-Мерлюс переодевался то чертом, то привидением или оборотнем, пугая спящих, но, в конце концов, всякий раз ухитрялся проскользнуть в комнату Жанны де-Леспуасс. Не забывали во время этих забав и доброго хозяина. Сыновья г-жи де-Леспуасс клали ему под простыню порошок, от которого чешется кожа, и жгли в его комнате разные вещества, распространявшие зловонный запах. Или же ставили на его дверь кувшин с водою, так что добрый сензор не мог взяться за ручку, не вылив воды себе на голову. Словом, играли с ним всевозможные забавные шутки, которыми тешилась честная компания и которые Синия Борода переносил с природной кротостью.

Он сделал предложение, и оно было принято, несмотря на то, что сердце г-жи де-Леспуасс, по ее словам, разрывалось при мысли выдать замуж дочерей. Свадьбу, на редкость пышную, отпраздновали в де-ла-Мотт-Жирон. Невеста, поражавшая своей красотой, была вся в настоящих кружевах, со множеством локонов на голове; ее сестра, Анна—в зеленом бархатном платье, вышитом золотом; на матери было платье из златотканной парчи, отделанное черной синелью, и головной убор из жемчугов и алмазов. Г. де-Монрагу украсил свой черный бархатный камзол самыми крупными бриллиантами, какие только нашлись в его сокровищнице; у него был прекрасный вид, и выражение наивной робости в его лице представляло приятный контраст с его синим подбородком и мужественной осанкой. Без сомнения, и братья молодой принялись в этот день, но всех затмил собою кавалер

лер де-ла-Мерлюс, в камзоле розового бархата, шитом жемчугом.

Тотчас же по окончании венчального обряда еврей-ростовщики, давшие на прокат родным невесты и ее тайному любовнику драгоценности и роскошные наряды, отобрали их назад и в почтовой карете увезли в Париж.

IV.

В течение месяца г. де-Монрагу был счастливейшим из людей. Он обожал свою жену и считал ее ангелом чистоты. На деле она была совсем другое, но и люди похитрее бедного Синей Бороды были бы обмануты на его месте,— так ловка и хитра была эта молоденькая женщина и так послушна советам своей отъявленной негодяйки-матери. Дама эта также поселилась в Гильет, вместе со старшей своей дочерью Анной, обоими сыновьями Пьером и Козьмой и кавалером де-ла-Мерлюс, который, как тень, всюду ходил следом за госпожей де-Монрагу. Это немножко злило добряка-мужа, которому хотелось бы все время быть наедине с своей женой, но ее дружба с этим молодым дворянчиком не внушала ему никаких подозрений, так как жена ему сказала, что кавалер ее молочный брат.

Шарль Перро рассказывает, что, спустя месяц после свадьбы, Синяя Борода вынужден был отлучиться на полтора месяца по важным делам; но ему, повидимому, неизвестны причины этой отлучки, и многие подозревают, что это была обычная уловка ревнивого мужа, который хочет застать врасплох жену. На самом деле, не было ничего подобного: г. де-Монрагу уехал в Перш принимать наследство от своего кузена д'Утарда, погибшего со славой от пушечного ядра в битве на Дюнах в то время, как он играл в кости на опрокинутом барабане.

Перед отъездом г. де-Монрагу просил жену не скучать без него и развлекаться, как только возможно.

— Пригласи сюда твоих подруг; гуляйте, угощайтесь, словом, веселитесь.

Он вручил ей и ключи от дому, в знак того, что в его отсутствие она остается полной и единственной хозяйкой во всех владениях Гильет.

— Вот,—сказал он,—ключи от двух кладовых, где хранится мебель; вот—от золотой и серебряной посуды, которая подается лишь в торжественных случаях; вот ключи от несгораемых сундуков, где лежит мое золото и серебро; вот—от шкатулок с драгоценностями; а вот и еще ключ, отмыкающий все покои. Что касается этого маленького ключика,—он от так называемого «малого кабинета», что в конце галереи в нижнем этаже. Открывайте все, ходите везде.

Шарль Перро утверждает, будто г. де-Монрагу прибавил:

— Только в этот «малый кабинет» запрещаю тебе входить и запрещаю строго-настрого, так что, если ты все-таки войдешь туда,—бойся моего гнева.

Историк Синей Бороды, приводя эти слова, совершенно напрасно без проверки принял версию, данную уже задним числом дамами де-Леспуасс. Г. де-Монрагу выразился совсем иначе. Вручая своей супруге ключ от «малого кабинета»,—того самого кабинета несчастных принцесс, о котором мы уже столько раз упоминали,—он выразил желание, чтобы его милая Жанна не входила в комнату, которую он считает пагубной для своего семейного счастья. Оттуда убежала с медведем его первая жена, лучшая из всех; там часто изменяла ему Бланш-де-Жибоме с разными дворянчиками, и порфиновые плиты были запятнаны кровью обожасмой изменницы. Неужели этого было недостаточно, чтобы г. де-Монрагу связывал с этой комнатой тяжелые воспоминания и жуткие предчувствия?

Слова, сказанные им Жанне де-Леспуасс, передают все тревоги и опасения, волновавшие его душу. Вот они буквально:

— Я ничего не скрываю от тебя, милая супруга, и счел бы оскорблением для тебя, если бы не передал тебе всех ключей от дома, который тебе принадлежит. Итак, для тебя открыт и маленький кабинетик, как и все другие покои, но, если хочешь послушаться меня, ты не пойдешь туда—ради меня, принимая во внимание горестные воспоминания, которые связаны для меня с этой комнатой, и дурные предчувствия, которые эти воспоминания, помимо моей воли, рождают в моей душе. Я был бы неуте-

шен, если бы с тобой приключилось несчастье или если бы я впал у тебя в немилость. Поэтому прости мои тревоги, к счастью, неосновательные, и смотри на них, как на избыток моего нежного беспокойства и моей неусыпной любви.

С этими словами добрый сеньор обнял свою супругу и на почтовых уехал в Перш.

— Соседи и подруги, — рассказывает Шарль Перро, — не дожидаясь, пока их пригласят, сами поспешили к новобрачной; им не терпелось посмотреть на скрытые сокровища этого дома. Они обежали все комнаты, кладовыя, гардеробныя, одна богаче и краше другой, не переставая превозносить счастье своей подруги и завидовать ей.

Все историки, писавшие об этом, прибавляют, что госпожа де-Монрагу и не глядела ни на что, так ей не терпелось поскорее попасть в «малый кабинет». Это совершенно верно, и, как уже сказал Перро, подстрекаемая любопытством, она даже не подумала о том, как невежливо бросать своих гостей, и спустилась вниз одна, по узенькой, потайной лестнице, причем так торопилась, что два-три раза едва не сломала себе шею. Факт не подлежит сомнению. Но никто не прибавил, что ее нетерпение поскорее попасть в маленький кабинет проистекало от того, что там поджидал ее кавалер де-ла-Мерлюс.

С тех пор, как все семейство поселилось в замке Гиллет, Жанна каждый день, а то и по два раза в день, встречалась в этом самом кабинетике с юным кавалером, ничуть не скучая этими встречами, столь мало пристойными для новобрачной. Никакие сомнения тут невозможны: конечно, их отношения не были невинными и чистыми. Увы! если бы г-жа де-Монрагу оскорбила только честь своего мужа, она, без сомнения, заслужила бы порицание потомства, но и самый строгий моралист нашел бы для нее оправдания и смягчающие обстоятельства: ее молодость, нравы той эпохи, примеры поведения столичной знати и двора, слишком явное влияние дурного воспитания и советов развратной матери, так как госпожа Сидонн де-Леспуасс покровительствовала любовным интригам

своей дочери. Люди благоразумные простили бы ей грех слишком сладостный для того, чтобы заслуживать строгой кары; ее проступок показался бы слишком заурядным, чтобы быть вмененным ей в серьезную вину, и все подумали бы только, что она была не лучше других. Но Жанна де-Леспуасс, не довольствуясь тем, что она оскорбила честь своего мужа, не побоялась посягнуть и на его жизнь.

В этой комнате, то-есть в кабинете несчастных принцесс, Жанна де-Монрагу, урожденная де-Леспуасс, сговаривалась с кавалером де-ла-Мерлюс, как умертвить своего верного и нежного супруга. Впоследствии она уверяла, что, войдя в этот кабинет, она увидела висевшие там трупы шести убитых женщин, кровь которых запеклась на плитках, и, узнав в этих несчастных шесть первых жен Синей Бороды, предугадала участь, ожидавшую ее самое. В таком случае, надо полагать, она приняла картины на стене за изуродованные трупы, и с ней приключилась галлюцинация, в роде тех, какие преследовали леди Макбет. Но всего вероятнее, что Жанна все это выдумала, чтобы оправдать убийц своего мужа, оклеветав их жертву.

Итак, решено было умертвить г. де-Монрагу. Письма, лежащие у меня перед глазами, убеждают меня в том, что и госпожа Сидони де-Леспуасс участвовала в заговоре. Что же касается ее старшей дочери, она была, можно сказать, душой всего. Анна де-Леспуасс из всей семьи была самой злой. Чуждая чувствам и слабостям, она оставалась чистой среди равра, царившего в ее семье,—не потому, чтобы она отказывала себе в удовольствиях, которые считала недостойными себя, но потому, что ей доставляла удовольствие одна только жестокость. Она привлекла к участию в заговоре и своих братьев Пьера и Козьму, пообещав им каждому по полку.

V.

Нам остается описать, на основании подлинных документов и достоверных свидетельств, самое жестокое, самое коварное и гнусное из семейных преступлений, память о котором дошла до нас. Убийство, которое мы на-

мерены изложить во всех подробностях, можно сравнить только с убийством, в ночь на 9-е марта 1449 г., Гильома де-Флави, умерщвленного своей женою, Бланш д'Овербрек, юной и глупенькой, незаконным сыном д'Орбандас и цырюльником Жаном Вокильон. Они душили Гильома подушкой, били его поленом и, наконец, зарезали его, как теленка. Но Бланш д'Овербрек, по крайней мере, доказала, что ее муж решил утопить ее, тогда как Жанна де-Леспуасс предала гнусным злодеям супруга, который любил ее. Передадим факты с возможною сдержанностью.

Синяя Борода возвратился несколько раньше, чем его ожидали. Это-то и послужило поводом к ложному предположению, будто он, терзаясь черной ревностью, хотел застать врасплох свою жену. Доверчивый, он радовался возвращению домой и, если и хотел сделать сюрприз жене, то лишь сюрприз приятный. Его нежность, его доброта, его веселый и спокойный вид смягчили бы самое жестокое сердце. Но кавалер де-ла-Мерлюс и вся гнусная порода Леспуассов увидали в том лишь возможность легче лишить его жизни и завладеть его богатствами, увеличившимися еще от нового наследства. Молодая жена встретила его с приветливой улыбкой, позволила обнять себя и отвести в супружескую спальню, где во всем уступила желаниям мужа. А на другой день возвратила ему отданную ей на хранение связку ключей. Но в этой связке не хватало ключа от комнаты несчастных принцесс, именуемой обыкновенно «малым кабинетом». Синяя Борода ласково попросил, чтоб она отдала ему и этот ключ. Некоторое время Жанна оттягивала это, под разными предложениями, но затем вернула и этот ключ.

Здесь возникает вопрос, который невозможно разрешить, не переходя из ограниченных пределов исторического исследования в беспредельную область философских умозаключений. Шарль Перро формально утверждает, что ключ от «малого кабинета» был волшебный, заколдованный, одаренный свойствами, противными законам природы,—по крайней мере, такими, какими мы их себе представляем. И доказательств противного мы не имеем. Здесь уместно будет напомнить, что мой знаменитый учитель, г. дю-Кло де-Люв, академик, всегда держал-

ся следующего правила: «Когда является на сцену сверхъестественное, историк отнюдь не должен отвергать его». Итак, по поводу этого ключа напомним только, что старинные биографы Синеи Бороды все утверждают, что он был заколдован. Это обстоятельство достаточно веско. Да этот ключ и не единственное изделие рук человеческих, обладавшее волшебными свойствами. Предание изобилует рассказами о заколдованных мечах. Меч короля Артура был волшебный. Меч Жанны д'Арк был заколдован, по неопровержимому свидетельству Жана Шартье; в доказательство тому славный летописец приводит следующий факт: когда меч этот был сломан, оба куса лезвия ни за что не хотели вновь соединиться, как ни старались искуснейшие оружейники. Виктор Гюго в одной из своих поэм говорит о «заколдованных лестницах, всегда ускользающих из-под ног». Многие авторы допускают даже, что существуют заколдованные люди, наделенные свойством превращаться в волков. Мы не станем бороться с верованием, столь живо и глубоко укоренившимся, и воздержимся от решения, был ли ключ от «маленького кабинета» заколдованным или нет, предоставляя просвещенному читателю самому выяснить наше мнение об этом,—ибо, если мы осторожны, то это еще не значит, что у нас нет установившегося собственного мнения, тем-то и ценна сдержанность. Но там, где речь идет об обстоятельствах, о фактах — например, когда нам говорят, что ключ этот был запачкан кровью,—тут уже наша область или, вернее, область нашей юрисдикции, тут мы властны судить и решать. И при всем нашем уважении к авторитету текстов, нас не заставят поверить этому. Ключ вовсе не был запачкан кровью. Кровь пролилась в «малом кабинете», но это было уже давно. Смыли ли ее, или просто она высохла, но ключ запачкан кровью быть не мог, и то, что преступная супруга в смятении приняла за кровавое пятно, было просто отблеском небес, рдевших розами зари. Тем не менее, взглянув на ключ, г. де-Монрагу сразу понял, что жена его входила в запретную комнату. Ибо ключ казался теперь более чистым и блестящим, чем когда он ей был вручен, а отполироваться он мог лишь при употреблении.

Это очень огорчило его; с грустной улыбкой он сказал жене:

— Дорогая моя, ты входила в «малый кабинет». Дай Бог, чтоб это не имело дурных последствий ни для тебя, ни для меня. Из этой комнаты исходит зловерное влияние, от которого я хотел бы оберечь тебя. Если и ты, в свою очередь, поддашься ему, я буду безутешен. Прости: когда любишь, становишься суеверен.

При этих словах, хотя напугать ее ими Синяя Борода не мог, так как его речь и обхождение выражали только грусть и любовь, юная госпожа де-Монрагу закричала, что было силы:

— Помогите, меня убивают!

Это был условленный сигнал. Услыхав его, кавалер де-ла-Мерлюс и оба сына г-жи де-Леспуасс должны были наброситься на Синюю Бороду и пронзить его своими хёчами.

Но появился только кавалер, спрятанный Жанной в шкапу в этой же комнате. Г. де-Монрагу, при виде его, выскочившего из шкапа с обнаженным мечом, стал в оборонительную позицию.

Жанна, испугавшись, убежала, и в галлерее встретила сестру свою Анну, которая отнюдь не стояла на башне, так как все башни замка были скрыты по приказанию кардинала Ришелье. Анна де-Леспуасс силилась подбодрить своих двух братьев, бледных и трепещущих, не находивших в себе достаточно смелости на такой рискованный шаг.

Жанна взмолилась к ним:

— Скорее! Скорее, милые братья, помогите моему возлюбленному!

Тогда Пьер и Козьма накинулись на Синюю Бороду; они застали его уже обезоружившим кавалера де-ла-Мерлюс, которого он повалил наземь и придавил коленкой, и предательски пронзили ему спину своими мечами и долго продолжали наносить ему удары, даже и после того, как он испустил дух.

Синяя Борода не оставил наследников. Все его поместья достались его вдове. Часть их она отдала в прида-

ное сестре своей Анне, часть употребила на то, чтобы купить капитанский чин своим братьям, остальное же взяла себе, и вышла замуж за кавалера де-ла-Мерлюс, который стал весьма порядочным человеком, с тех пор, как разбогател

Перев. с франц. З. Журавской.



ИСТОРИЯ ГЕРЦОГИНИ де-СИГОНЬ

и

ГОСПОДИНА БУЛЕНГРЕНА,

проспавших сто лет в обществе Спящей Красавицы

HISTOIRE DE LA DUCHESSE DE CIGOGNE

et de

MONSIEUR DE BOULINGRIN,

qui dormirent cent ans en compagnie de la Belle au bois d'ormant.

I.

История Спящей Красавицы достаточно известна: о ней сложили превосходнейшие повести в стихах и прозе. Я не собираюсь рассказывать ее сызнова, но, имея в своем распоряжении многие мемуары того времени, оставшиеся неопубликованными, я нашел там немало анекдотов о короле Клош и королеве Сатине, дочь которых спала сто лет, а также о различных придворных, уснувших вместе с принцессой. И вот, я хочу огласить то, что мне в этих мемуарах показалось наиболее интересным.

После нескольких лет супружества королева Сатина подарила своему супругу-королю дочь, названную Паулой-Марией-Авророй. Имена, данные ей при крещении, были расположены именно в этом порядке герцогом де-Гуазон, главным церемониймейстером, согласно указаниям обрядника, который был составлен еще при императоре Гонории и в котором ничего уж нельзя было разоб-
брать, так он истлел и был изъеден крысами.

В те времена еще водились феи, и те из них, которые были титулованы, бывали при дворе. Семь фей были приглашены в крестные матери принцессы: царица Титания, царица Маб, мудрая Вивiana, обученная Мерлином всем видам волшебства; Мелюзина, история которой написана Жаном д'Арра и которая по субботам превращалась в змею (но крещение пришлось на воскресенье); Уржела, белая Анна Бретанская и волшебница Мург, увлекшая Ожье Датчанина в страну Авалонскую.

Феи явились во дворец в платьях цвета времени, солнца, луны и нимф, все в алмазах и жемчугах. Когда же все сели за стол, вошла старая фея, по имени Алькуина, которой не приглашали.

— Не сердитесь, сударыня,—сказал ей король,—что вас не внесли в список приглашенных на этот праздник; вас считали околдованной или умершей.

Феи умирали, без сомнения, потому что старились. Все они, в конце концов, умерли, и всем известно, что Мелюзина теперь судомойкой в аду. Силою чар их можно было также овести заколдованным кругом, заключить в дерево, в камень, в куст или же превратить в статую, в козу, в голубку, в табурет, кольцо или туфлю. Но, в действительности, фею Алькуину не пригласили вовсе не потому, что ее считали околдованной или умершей, а потому что думали, что ее присутствие на пире противоречило бы этикету. Госпожа де-Ментенон несколько не преувеличивала, уверяя, что ни в одном монастыре нет таких строгостей, каким придворный этикет заставляет подчиняться великих мира сего. Согласно царственной воле своего государя, герцог де-Гуазон, главный церемониймейстер, вычеркнул фею Алькуину из списка приглашенных, потому что у нее не хватало одного поколения дворянства для того, чтобы быть принятой при дворе. На представлениях своих министров о необходимости считаться с этой могущественной и мстительной феей, и о том, что, не послав ей приглашения, королевская семья рискует нажить в ней опасного врага, король немедленно возразил, что он не может приглашать кого попало, без роду и племени.

Этот злополучный монарх еще более своих предшественников был рабом этикета. Упрямое исполнение всех требований устарелого церемониала, в ущерб самым важным интересам страны, самым неотложным своим обязанностям,—уже не раз причиняло большие неприятности монархии и подвергало королевство серьезной опасности. Не трудно было предвидеть, каким опасностям и бедам он подвергает свой род, отказываясь пожертвовать этикетом ради незнатной, но славной и грозной волшебницы, но тем более надо было торопиться предотвратить эти беды.

Старая Алькуина, овлеченная оказанным ей неуважением, преподнесла принцессе Авроре пагубный дар. В пятнадцать лет прекрасное, как день, королевское дитя

должно было умереть от рокового укола веретена,—орудия, невинного в руках смертных женщин, но грозного, когда три вещей сестры-пряжи крутят и обвиняют во круг него нити наших судеб и фибры наших сердец.

Семь крестных матерей, волшебниц, могли смягчить, но не отменить приговор Алькуины, и участь принцессы была решена таким образом: «Аврора уколет себе руку веретеном. Она не умрет от этого, но впадет в глубокий сон, который продлится сто лет и от которого ее пробудит корольевич».

II.

*Currite ducentes sub tegmina currite, fusi
Cat.*

Король и королева в тревоге расспрашивали об участи, с колыбели уготованной для принцессы, всех опытных и знающих людей, в том числе г. Жерберуа, постоянного секретаря академии наук, и доктора Гастинеля, акушера ее величества королевы.

— Господин Жерберуа, разве можно проспать сто лет?

— Государыня,—отвечал академик,—наука знает примеры более или менее продолжительной спячки, из которых я могу указать вашему величеству на несколько случаев. Эпименид из Кносса был плодом любви смертного и нимфы. Еще ребенком он был послан отцом своим Дозиадом пасти стада в горах. Когда полдневный зной накалил землю, он лег в темном, прохладном гроте, уснул там и проспал пятьдесят семь лет. Он изучил все свойства растений и умер ста пятидесяти четырех лет от роду, по словам одних, двухсот девяносто девяти—как уверяют другие.

Теодор и Руфин рассказывает нам в свитке, запечатанном двумя серебряными печатями, историю семи спящих в Эфесе. Вот она, в общих чертах: в 25 году по Р. Х. семеро офицеров императора Деция, принявших христианскую веру, роздали свое имущество бедным, сами же удалились на гору Килион, в пещеру, и там все семеро уснули. В царствование Феодора епископ эфесский нашел их там цветущими, как розы. Они проспали сто сорок четыре года.

Фридрих Барбаросса спит и поныне. В подземелье под развалинами замка, посреди дремучего леса, он сидит за столом, вокруг которого семь раз обвилась его длинная рыжая борода. Он проснется, чтобы разогнать воронов, которые каркают вокруг горы.

Вот, сударыня, примеры продолжительного сна, воспоминание о которых сохранила история.

— Но ведь это исключения, — возразила королева. — Вот вы, г. Гастинель, занимаетесь медициной; разве вы видали, чтобы люди спали по сто лет?

— Государыня, — ответил акушер, — этого я не видал и вряд ли когда-нибудь увижу, но мне случалось наблюдать любопытные случаи летаргии, которые, если угодно, я могу довести до сведения вашего величества: Десять лет тому назад некая девица Жанна Калью, поступившая в госпиталь Hôtel-Dieu, спала там шесть лет под ряд. Я сам наблюдал другую девушку, Леониду Монтосель, которая уснула в день Пасхи в 61 году, а проснулась лишь на Пасху следующего года.

— Г. Гастинель, — спросил король, — разве можно так уколаться веретеном, чтобы от этого заснуть на сто лет?

— Государь, это невероятно, но в области патологии мы никогда не можем сказать с уверенностью: «Это будет. Этого не будет».

— Можно привести в пример, — вмешался г. Жерберуа, — и Брунгильду, которая, уколовшись шином, уснула и была пробуждена Зигфридом.

— И Девку-Чернавку тоже, — вставила герцогиня де-Сигонь, первая статс-дама королевы.

И принялась напевать:

Послали раз меня
За ежевикой в рощу.
Кустарник был высок,
Мала была красotka.

Кустарник был высок,
Мала была красotka,
Впился зеленый шип
В протинутую ручку.

Впился зеленый шип
В протянутую ручку,—
От боли в тот же миг
Красавица уснула.

— Что с вами, Сигонь?—удивилась королева.—Вы поете?

— Прошу прощения,—сказала герцогиня;—это против дурных чар.

Король издал указ, которым он всем своим подданным под страхом смертной казни воспрещал пряхсть или хотя бы держать у себя в доме прялки и веретена. Все повиновались. По деревням еще пели: «У нашего оконца жужжит веретенцо»... но больше по привычке. Прялки и веретена вывелись из употребления.

III.

Первый министр, правивший страной при слабохарактерном короле Клоше, г. де-ла-Рошкупе, как и все великие государственные люди, уважал народные верования. Цезарь был верховным жрецом; Наполеон помазан на царство папой; г. де-ла-Рошкупе признавал могущество фей. Он отнюдь не был скептиком и недоверчивым. Он не доказывал, что предсказание семи крестных матерей принцессы несбыточно. Он только не тревожился, потому что все равно ничем не мог помочь. Таков уж был его характер—не расстраивать себя бедами, от которых он не знал лекарства. К тому же, предсказанное событие еще не скоро должно было наступить. Г. де-ла-Рошкупе был истым государственным человеком, а государственные люди, даже самые прозорливые и проницательные, никогда не заглядывают вперед дальше текущего момента. Наконец, если даже предположить, что в один прекрасный день королевская дочь заснет на целое столетие, в его глазах это было делом семейным, так как Салический закон лишил женщин прав на престолонаследие.

У него было, как он выражался, и так хлопот выше головы. Банкротство, жестокое банкротство висело над страной, угрожая чести и достоинству нации. Голод сви-

репствовал в стране, и миллионы несчастных питались глиной, вместо хлеба. В этом году бал в залах Оперы был особенно блестящ, и маски красивее обыкновенного:

Крестьяне, ремесленники, мелкие торговцы и актрисы наперерыв огорчались проклятием, тяготевшим, по воле Алькуины, над невинной принцессой. Наоборот, придворные, вельможи и принцы королевской крови обнаруживали глубокое равнодушие. А деловые люди и люди науки попросту не верили в приговор феи, потому что не верили в фей.

Таков был и г. Буленгрэн, министр финансов. Те, кто спросит, как же он мог не верить в фей, когда он видел их своими глазами, те не знают, до чего иной раз доходит скептицизм в уме, любящем рассуждать. Выросший на Лукреции, пропитанный доктринами Эпикура и Гассенди, он нередко выводил из терпения г. де-ла-Рошкуче, выставляя на вид свой холодный атеизм.

— Будь верующим, если не для самого себя, то для общества! — убеждал его первый министр. — Да и то, милейший Буленгрэн, по поводу всякого волшебства я иной раз спрашиваю себя: кто из нас более легковверен: вы или я? Я о феях и не думаю вовсе, а вы все время о них говорите.

Г. де-Буленгрэн нежно любил герцогиню де-Ситонь, супругу воеводы при венском дворе, первую статс-даму королевы и представительницу одного из самых аристократических родов в стране. Это была женщина умная, но немного суховатая, немного скуповатая и до страсти любившая играть в фараон. Она способна была проиграть все: свое поместье, доходы, словом, все — до рубашки включительно. Она была благосклонна к г. Буленгрэну и не отказывала ему в близости, в которой сама, по своему темпераменту, мало нуждалась; но которую считала не унижительной для своего звания и во многих отношениях для себя выгодной. Эта близость была облечена в весьма искусную форму, свидетельствовавшую о хорошем вкусе обоих и об изяществе тогдашних нравов: презирая унижительное лицемерие, они не скрывали своей связи и в то же время были так сдержаны, что и самые строгие не находили, к чему придраться.

Ежегодно герцогиня проводила несколько времени в своих поместьях. Г. де-Буленгрэн поселялся на это время в старой голубятне, к которой дорога из замка его приятельницы вела ложбиной, вдоль болота, где ночью в тростниках непрерывно раздавались страстные выкрики лягушек.

И вот, однажды вечером, в то время, как последние отблески солнца окрашивали кровавым светом стоячие воды, министр финансов увидал на перекрестке трех юных фей, водивших хоровод, причпевая:

Три девицы средь лугов...
Сердце слышит,
Сердце слышит,
Сердце слышит нежный зов.

Они сомкнулись цепью вокруг него и быстро задвигались своими тонкими, легкими телами. Лица их, в сумерках, были прозрачны и непонятны, волосы их блестели, как блуждающие огоньки.

Они повторяли:

Три девицы средь лугов...

пока у Буленгрена не закружилась голова, и он не взмолился о пощаде.

Тогда прёкраснейшая из трех, разорвав круг, молвила:

— Сестры, отпустите г. Буленгрена: он идет в замок целовать свою красавицу.

Министр прошел, не узнав фей, властительниц судеб. Немного подалее он встретил трех старух, которые шли, согнувшись, опираясь на свои палки, и лицом походили на три яблока, испеченных в золе. Сквозь лохмотья их просвечивали кости, на которых было больше грязи, чем мяса. Босые ноги их поражали непомерно длинными, костлявыми пальцами, похожими на косточки бычачьего хвоста.

Завидев Буленгрена, они еще издали стали посылать ему улыбки и воздушные поцелуи и, когда он подошел поближе, остановили его, называя его «миленьким», «го-

лубчиком», «сердечком» и осыпая его ласками, от которых он не мог уклониться, так как при малейшей попытке ускользнуть, в его тело вшивались острые крючки, которыми заканчивались их костлявые пальцы.

— Да какой же он хорошенький! Какой красавчик!— вздыхали они.

И долго, страстно, неотступно побуждали его полюбить их. Затем, видя, что им не расшевелить его, ибо он весь оледенел от страха, накинудись на него с бранью, избили его костылями, повалили наземь, топтали ногами и, когда, наконец, он, измятый, избитый, одуревший, весь в синяках, окончательно обессилел, младшая из старух—ей было, по меньшей мере, восемьдесят лет—присела над ним на корточки, подобрала юбки и оросила его зловонной жидкостью. А за нею и две других проделали то же, так что бедный министр едва не задохся.

В конце концов, все три удалились, посылая ему прощальные приветы: «Добрый вечер, мой Эндимион!»—«До свиданья, мой Адонис!»—«Прощай, прекрасный Нарцисс!»—и оставили его в обмороке. Когда он пришел в себя, рядом с ним жаба выводила ноты своей флейты и туча мошек плясала в лунном луче. Он с превеликим трудом поднялся и, прихрамывая, побрел к замку.

Но и на этот раз Буленгрэн не распознал фей, властительниц судеб.

Герцогиня де-Сигонь с нетерпением ожидала его.

— Как вы нынче поздно, друг мой!

Он, целуя ее пальчики, поблагодарил ее за внимание и извинился, составшись на нездоровье.

— Буленгрэн, — сказала герцогиня, — садитесь вот сюда.

И принялась уверять его свои огорчения. За последнее полгода судьба была страшно к ней немилостива. Она проигралась в фараон, и теперь была бы очень не прочь получить из королевской шкатулки тысячи две эку.

Узнав, что дело это не терпит отлагательства, Буленгрэн тотчас же написал г. де-ла-Рошкуне, прося его выдать герцогине требуемую сумму.

— Ла-Рошкуне с радостью добудет вам эти деньги. Он человек обязательный и любит оказывать услуги друзьям.

Прибавлю, что его считают более талантливым, чем обыкновенно бывают любимцы королей. У него есть нюх и сноровка в делах, но ему недостает философского склада ума. Он верит в фей, доверяясь свидетельству своих чувств...

— Буленгрэн,—прервала его герцогиня,—от вас воняет кошками.

IV.

С тех пор, как феи произнесли свой приговор, прошло, день в день, семнадцать лет. Принцесса блистала красотой, как яркая звезда. Король и королева, вместе со всем своим двором, обитали в летней своей резиденции, на Потерянных Водах. Надо ли рассказывать, что произошло? Всем известно, как принцесса Аврора, в одно прекрасное утро, бегая по замку, забрадалась на верхушку башни, где в светелке, под самой крышей, сидела одна-одинешенька старенькая старушка и прядла. Она и не слыхала о запрете короля.

— Что вы такое делаете, добрая женщина?—спросила принцесса.

— Пряду, моя красавица,—ответила старушка, не зная, что это принцесса.

— Ах, как это красиво! Как вы это делаете? Дайте, я попробую, выйдет ли у меня то же.

Не успела она взяться за веретено, как уколола себе руку и упала без чувств. (Сказки Перро. Издание Андре Лефевра, стр. 86).

Король Клош, узнав, что приговор фей совершился, велел положить уснувшую принцессу в голубой комнате, на кровать, покрытую лазурным, с золотым шитьем, покрывалом.

Встревоженные, недоумевающие придворные выжимали из себя слезы, примеряли вздохи и строили подобающие случаю скорбные физиономии. Со всех сторон заплетались интриги; назревала черная клевета; говорили, что король уводил в отставку кабинет, что герцог де-ла-Рош-

купе сам изготовил сонное питье, которое он поднес принцессе, и что Буленгрэн был его сообщником.

Герцогиня де-Сигонь взобралась по узкой лесенке к своему старому другу, которого она застала в ночном колпаке, улыбающимся, так как он читал «Невесту короля Гарба».

Герцогиня сообщила ему новость, что принцесса лежит в летаргическом сне на кровати, покрытой голубым атласным одеялом.

Министр выслушал ее внимательно.

— Надеюсь, вы не верите, дорогой мой друг, что во всем этом есть хоть какая-нибудь доля волшебства?—заботливо осведомился он.

Ибо он не верил в фэй, несмотря на то, что три из них, почтенные и древние старухи, чуть не убили его своей любовью и своими костылями и промочили его до костей зловонной жидкостью, чтобы доказать ему свое существование. В том-то и недостаток экспериментального метода, примененного этими дамами, что опыт действует на чувства, свидетельство которых всегда можно отвергнуть.

— Дело не в волшебстве,—вскричала герцогиня.—Напасть, приключившаяся с принцессой, может страшно повредить нам обоим. Ее не преминут приписать бездарности министров, может быть, их зложелательству. Разве клевета перед чем-нибудь останавливается? Вас и то уже обвиняют в скаредности. Уверяют, будто вы, послушавшись моих корыстных советов, отказали в деньгах на содержание особой стражи при юной и несчастной принцессе. Хуже того: толкуют о черной магии, о наведенной порче, о колдовстве. Надо встретить грудью грозу. Будьте на виду, иначе вы погибли.

— Клевета,—сказал Буленгрэн,—бич этого мира. Она убивала и великих людей. Кто честно служит своему королю, должен быть готов заплатить дань этому ползучему и крылатому чудовищу.

— Буленгрэн,—сказала герцогиня,—одевайтесь.

Она сорвала с него ночной колпак и выбросила за кровать.

Через минуту они были уже в передней покоя, где

спала Аврора, и сидели на скамейке в ожидании, пока им разрешат войти.

Между тем, узнав, что веление судеб исполнилось, фея Вивиана, крестная принцессы, со всей возможною поспешностью понеслась в «Потерянные Воды», и чтобы крестница, когда ей придет час проснуться, не осталась без подобающего ее сану и званию штата, дотронулась своей волшебной палочкой до всего, что было в замке. И сразу—«ключницы, горничные, фрейлины, придворные, офицеры, метр-д'отели, повара с поварятами, мальчишки на посылках, стража, привратники, пажы, лакеи,—все уснули. Уснули лошади в конюшнях от прикосновения волшебной палочки, конюхи, сторожевые псы на черном дворе и даже Пуфка, принцессина собачка, удевшаяся возле нее на кровати. Уснули даже вертела, вставленные в огонь вместе с нанизанными на них куропатками и фазанами». (Сказки Перро, стр. 87).

А герцогиня и Буленгрэн все ждали, сидя рядышком на скамейке.

— Буленгрэн,—шептала на ухо своему старому другу герцогиня,—не кажется ли вам все это подозрительным? Не думаете ли вы, что тут вся суть в закулисной интриге братьев короля, которые хотят заставить бедняка отречься от престола? Все знают, что король хороший отец... Они, конечно, рассчитывают довести его до отчаяния...

— Возможно,—согласился министр.—Во всяком случае, ни о каком волшебстве здесь и речи быть не может. Только деревенские бабы еще способны верить в эти сказки о Мелюзине...

— Молчите, Буленгрэн. Нет ничего отвратительнее скептиков. Это наглецы, которые издеваются над нашей простотой. Я ненавижу вольнодумцев и верю в то, во что следует верить, но здесь я подозреваю черную интригу...

Не успела она договорить, как фея Вивиана коснулась их обоих своей палочкой, и они уснули, как все другие.

V.

«В четверть часа вокруг парка выросло столько больших и малых деревьев, терновника и колючей ежевики, и

ЧУДО СВ. НИКОЛАЯ
LE MIRACLE DU GRAND SAINT NICOLAS

Святой Николай, епископ Мир Ликийских, жил в эпоху Константина Великого. Древнейшие и серьезнейшие жизнеописатели прославляют его добродетели, заслуги и труды; в изобилии приводят доказательства его святости,—но ни один из них не упоминает о чуде, сотворенном над соляным чаном. И в Золотой Легенде также не упоминается о нем. Это умолчание очень значительно, а, между тем, как же усомниться в столь известном и прославленном чуде, воспетом в повсеместно распеваемом нищими жалобном стихе:

Однажды трое маленьких детей
Пошли собирать колосья средь полей...

Дальше в том же пресловутом стихе прямо говорится, что злой мясник схватил детей и бросил невинных бедняжек, «как поросят, в солянный чан». То-есть, очевидно, это надо понимать так, что он разрубил их на куски и бросил в кадку с рассолом, как солят свинину. Удивительно только читать дальше, что дети оставались в рассоле целых семь лет, тогда как обыкновенно куски посоленного мяса уже через шесть недель начинают употреблять в пищу, вытаскивая их из кадки деревянной вилкой. Но текст стиха гласит буквально, что ровно через семь лет после злодеяния в проклятую гостиницу зашел блаженный Николай и попросил дать ему покушать. Хозяин ему предложил кусок ветчины.

- Нет, не хочу; не хороша она.
- Тогда вот студень из телячьих ног.
- Нет, не хочу; он тоже очень плох;
- Ты солонину дай мне на обед,
- Что в этом чане ты хранишь семь лет.—
- Колбасник, в ужасе от этих слов,
- Вдруг к двери бросился, и был таков.

А Божий человек с благословением простер руки над чаном и воскресил невинные жертвы.

Таково вкратце содержание рассказа древнего анонима, слагателя легенд, проникнутого неподдельностью искренней и наивной веры. Напрасно скептицизм пытается подкапываться под самые живучие воспоминания, хранимые народной совестью. И потому я ощутил живейшее удовольствие, когда нашел возможность примирить авторитет древнего сказания с молчанием древних биографов епископа ликийского. И счастливи возвестить всем о результате моих долгих размышлений и ученых изысканий. Чудо с солильным чаном, по крайней мере, в самой существенной своей части, произошло, в действительности, но совершенно оно было не блаженным епископом Мир Ликийских, а другим блаженным Николаем; ибо, их было два; один, как уже сказано, епископ Мир Ликийских; другой, живший позднее, управлявший Тринкебальской епархией в Вервиньоле. Этот-то Тринкебальский епископ и извлек из кадки с рассодом трех маленьких мальчиков, брошенных туда трактирщиком; я докажу это на основании подлинных документов, и никто не станет оплакивать крушение легенды.

Мне посчастливилось восстановить всю историю епископа Николая и воскрешенных им детей. И я изложил ее в рассказе, который, надеюсь, будет прочтен с удовольствием и не без пользы.

I.

Николай, потомок знатного вервиньольского рода, с детства обнаруживал признаки праведности и уже по четырнадцатому году дал обет посвятить себя Господу. Приняв на себя духовный сан, он, еще юношей, волею народной и желанием капитула, был избран наместником святого Кромадера, апостола вервиньольского и первого епископа Тринкебальского. Он был благочестивым пастырем, мудрым начальником для клира и наставником для своей паствы, учил добру народ, не боялся призывать сильных мира сего к справедливости и умеренности. Ве-

ликодушный и щедрый на подаяние, он большую половину своих богатств раздавал бедным.

На вершине холма, господствующего над городом, гордо высился его дворец с зубчатыми стенами и остроконечными кровлями. Здесь находили убежище все, терпевшие гонения от светских властей. В нижнем зале,—другого такого огромного не найти было во всем Вервиньоле—стол, накрытый для трапезы, был так длинен, что сидевшие на одном конце не могли разглядеть сидевших на другом, а когда на столе зажигали светильники, он напоминал собою хвост кометы, явившейся в Вервиньол, чтобы возвестить о смерти короля Комюса. В главе стола восседал сам епископ Николай, угощая местную знать и именитейших людей страны, и с ними множество духовных и мирян. Но по правую его руку всегда оставалось место для бедняка, которому случилось бы во время обеда попросить хлеба у его дверей. В особенности заботился добрый епископ Николай о детях. Их невинность умиляла его; для них у него было сердце отца и лоно матери. В добродетели и строгости нравов он не уступал апостолам. Ежегодно, в простой монашеской одежде, с белым посохом в руках, он отправлялся в обход своей епархии, чтобы все знать и видеть своими глазами, чтобы никакое бедствие и никакой беспорядок не могли ускользнуть от его взора. Ежегодно, в сопровождении одного только дьякона, он посещал самые глухие местности своей епархии, зимой, переправляясь через разлившиеся реки, переходя обледеневшие горы и углубляясь в дремучие леса.

Однажды, во время одного из путешествий, епископ весь день с самого рассвета ехал верхом на муле вместе с дьяконом Модернусом через темные леса, где бродят волки и рыси, под старыми соснами, которыми, как щетиной, поросли вершины Мармузских гор, и под вечер очутился в чаще колючих кустарников, где мул его с трудом и медленно пролагал себе дорогу. Дьякон Модернус с большими усилиями следовал за ним, тоже верхом на муле, который вез и их багаж.

Изнемогая от усталости и голода, Божий человек сказал Модернусу:

— Остановимся, мой сын, и, если у тебя еще осталось немного хлеба и вина, поужинаем здесь, так как я прямо не в силах ехать дальше, да и ты, хоть и много моложе меня, наверное, устал не меньше моего.

— Ваше преосвященство,—молвил в ответ Модернус,— у меня не осталось ни капли вина и ни крошки хлеба, так как по пути я, следуя вашему приказу, роздал все, что у нас было, людям, нуждавшимся в том меньше нас.

— Без сомнения,—сказал епископ,—если у тебя в котомке осталось хоть несколько хлебных корок, мы с удовольствием съели бы их, ибо князьям Церкви подобает питаться обедками бедных. Но так как у тебя ничего не осталось, значит, так было угодно Богу, и уж, наверное, для нашего же блага. Возможно, что мотивы этого благодеяния так и останутся навсегда сокрытыми от нас; но возможно и обратное—что Господь вскоре нам откроет их. А пока, единственное, что нам остается делать, по моему, это ехать дальше, пока не попадутся по дороге туговые ягоды и ежевика, которыми мы можем утолить свой голод, и трава для наших мулов, чтобы, подкрепившись, мы могли отдохнуть на ложе из листьев.

— Как вам будет угодно, монсеньор,—сказал Модернус и стегнул своего мула.

Они ехали всю ночь и часть утра; затем, взобравшись по довольно крутому откосу, неожиданно очутились на опушке леса; у ног их расстилалась равнина, прорезанная четырьмя бледными дорогами, теряющимися в тумане, а над равниной нависло хмурое небо. Из четырех путей они выбрали левый, старое римское шоссе, прежде обычный путь купцов и пилигримов, но обезлюдевший с тех пор, как война опустошила эту часть Вервиньоля. Тучи сгустились на небе; птицы тревожно метались, душный воздух тяжелым гнетом давил на притихшую землю; молнии сверкали на горизонте. Путники подгоняли своих усталых мулов. Неожиданно налетевший ветер пригнул к земле верхушки деревьев; заскрипели ветви, застонали листья. Грянул гром, и на землю упали первые крупные капли дождя.

Под грозою, под раскатами грома епископ и дьякон

продолжали свой путь по шоссе, превратившемуся в поток, и вдруг при свете молнии увидали у дороги дом, над которым висела ветка остролистника—символ гостеприимства. Они остановили мулов.

Гостиница имела заброшенный вид; однакож, хозяин вышел им навстречу, смиренный и в то же время свирепый на вид, с большим ножом у пояса, и спросил что им угодно.

— Приют и кусок хлеба,—отвечал епископ,—а также рюмочку вина, так как мы изнемогаем от усталости.

Пока хозяин ходил в погреб за вином, а Модернус ставил мулов в конюшню, блаженный Николай, сидя перед очагом, у догоравшего огня, оглядывал закопченный зал. Пыль и грязь покрывали скамьи и лари; пауки ткали свою паутину между источенными червями балками, с которых свешивались жидкие вязанки лука. В темном углу виднелся обемистый солильный чан с стянутым железными обручами брюхом.

В те времена демоны принимали гораздо более близкое участие в нашей повседневной жизни. Они проникали в дома; приютившись в солонке, масленке, или другом каком убежище, прислушивались к разговорам и поостерегали удобный случай соблазнить человека и ввести его в грех. Ангелы также чаще теперешнего являлись христианам.

И вот, чертенок, махонький, величиной с орешек, спрятанный среди головешек в печке, обратился к епископу с такою речью:

— Отец мой, посмотрите на этот солильный чан—он стоит того. Это лучший солильный чан во всем Вервиньоле, образцовый, всем кадкам кадка. Здешний хозяин, сеньор Гарум, получив его из рук искусного бочара, надушил его можжевельником, тмином и розмарином. Сеньор Гарум—хозяин образцовый: он умеет, как никто, выпустить лишнюю кровь из мяса, вынуть кости, разрезать его самым фокусным манером, аккуратно, что называется, с любовью, и пропитать соляными растворами, которые сохраняют его и придают ему аромат. А уж в том, как приготовить рассол, настоять его, приправить, вспенить,

процедить—ему нет равного среди трактирщиков. Отведайте его солонины, отец мой,—пальчики оближете; непременно оближете; непременно отведайте и скажите мне, как она вам понравилась, пришлась ли по вкусу.

Но епископ, по речи, а главное по голосу (скрипучему, как визг пилы) сразу узнал искусителя. Он перекрестил очаг, и чертенок, словно каштан, который, не надрезав скорлупы, бросили в огонь, лопнул с страшным треском и вонью нестерпимой.

А перед епископом явился светлый ангел в блистающих одеждах и сказал ему:

— Николай, любезный Господу, да будет тебе известно, что в этой солильной кадке уже семь лет лежат в рассоле трое маленьких детей. Трактирщик Гарум разрубил бедняжек на куски и бросил их в рассол. Встань, Николай, и помолись о воскресении их. Ибо, если ты вступишься за них, Господь, Который любит тебя, возвратит им жизнь...

Во время этой речи в зал вошел Модернус, но не увидел ангела и не услышал его, ибо недостаточно был праведен, чтобы общаться с небесными духами.

И еще молвил ангел:

— Николай, слуга Господень, возложи руки на солильную кадку—и дети воскреснут все трое.

Блаженный Николай, исполненный ужаса, жалости, рвения о Господе и надежды, возблагодарил Господа и, когда в зал вошел трактирщик, неся в каждой руке по кружке, святой, повернувшись к нему, возгласил грозным голосом:

— Гарум, сними крышку с солильного чана.

Услыхав такие слова, Гарум с перепугу выронил обе кружки.

А блаженный Николай простер руки над чаном и сказал:

— Дети, встаньте.

При этих словах крышка сама собою поднялась над чаном, и оттуда вышли трое мальчиков-подростков.

— Дети,—молвил им епископ,—восхвалите Господа, Который моими руками извлек вас из солильного чана

И, обратившись к трактирщику, дрожавшему всем телом, сказал ему:

— Жестокий человек, узнаешь ли ты троих детей, которых ты коварно предал смерти? Дай Бог, чтобы твое злодеяние стало омерзительным самому тебе и ты раскался в нем—тогда Господь простит тебя.

Трактирщик в ужасе опрометью выбежал на улицу, под бурю, гром и молнию.

II.

Блаженный Николай облобызал детей и ласково начал расспрашивать их об их мученической кончине. Они рассказали ему, что Гарум подошел к ним в то время, как они собирали колосья в поле, заманил их к себе в гостиницу, напоил вином и зарезал во время сна.

На них были те же дохмотья, в которых они были в день своей смерти; вид у них и после воскресения был дикий и запуганный. Самый рослый из трех, Максим, был сыном сумасшедшей, которая верхом на осле всюду следовала за солдатами на войне. Однажды ночью он выпал из корзины, в которой она возила его с собой, и так и остался лежать на дороге. И с тех пор жил один, воровством. Самый тщедушный из всех трех, Робен, почти не помнил своих родителей крестьян, которые, по бедности, или по скупости, не хотели кормить его и бросили в лесу. Третий, Сульпиций, даже и понятия не имел о том, где он родился и кто его родители, но один священник выучил его азбуке.

Гроза миновала. В прозрачном легком воздухе перекликались птицы. Земля зеленела и смеялась. Модернус вывел из конюшни мулов; епископ Николай сел на своего и посадил к себе в седло Максима, закутав его плащом; дьякон посадил на круп своего мула Робена и Сульпиция, и так они поехали в город Тринкебаль.

Дорога шла полями зреющей пшеницы, виноградниками и лугами. По пути блаженный Николай, уже успевший всем сердцем полюбить этих детей, беседовал с ними на темы, подходящие к их возрасту, и задавал им легкие вопросы, в роде, например: «Сколько будет пятью пять»...

или: «Что такое Бог?» Но ответы получал неудовлетворительные. Однакож, не укоряя их в невежестве, заболтался лишь о том, чтобы постепенно рассеять его применением наилучших педагогических правил.

— Модернус,—говорил он,—мы будем учить их прежде всего истинам, необходимым для спасения души, затем, свободным искусствам, и—в особенности, музыке, чтоб они могли петь хвалы Творцу. Следовало бы также обучить их риторике, философии и истории людей, животных и растений. Я хочу, чтоб они изучили и нравы, и строение тела животных, все органы которых, в непостижимом совершенстве своем, свидетельствуют о славе Творца.

Почтенный прелат едва успел закончить эту речь, как они поравнялись с крестьянкой, которая вела за недоуздок старую кобылу, так тяжело нагруженную срезанными сучьями и хворостом, что у нее тряслись поджилки и она поминутно спотыкалась.

— Увы!—вздыхнул блаженный Николай,—бедный конь тащит на себе непосильную ношу. На свое несчастье он достался несправедливым и жестоким хозяевам. Никогда не следует взваливать на животных непосильное бремя, хотя бы и на вьючных животных.

При этих словах три мальчика прыснули со смеху. Епископ спросил, чему они так громко смеются.

— Тому...—начал Робен.

— Из-за того...—подхватил Сульпиций.

— Нам смешно,—объяснил Максим,—что вы принимаете кобылу за коня. Вы не видите разницы, а, между тем, она бросается в глаза. Ви, значит, ничего не смыслите в животных?

— Я думаю,—сказал Модернус,—что прежде всего следует научить этих детей учтивости.

В каждом городе и городишке, в каждой деревне, деревушке и замке, мимо которых они проезжали, блаженный Николай показывал жителям детей, извлеченных из солильного чана, и рассказывал о великом чуде, которое Господу угодно было совершить через его посредство, а все радовались и благословляли его. И оповещенное гон-

цами и путешественниками о столь необычайном событии, все население Тринкебаля высыпало навстречу своему пастырю, устилая его путь драгоценными коврами и бросая ему под ноги цветы. С умилением, со слезами на глазах тринкебальцы смотрели на бедных воскрешенных жертв, восклицая: «Слава Господу!» Но бедные дети умели только хохотать и показывать язык, и от этого их еще больше жалели и восхищались этим, как наглядным доказательством их невинности и крайнего убожества.

У епископа Николая была племянница, сиротка; по имени Миранда; ей как раз перед тем исполнилось семь лет, и епископ любил ее, как зеницу ока. Честная вдова, по имени Базина, воспитывала ее в благочестии, благопристойности и неведении зла. На попечение этой вдовы блаженный Николай отдал и спасенных им чудесно детей. Вдова была женщина неглупая. Очень скоро она подметила, что Максим был отважен, Робен осторожен, а Сульпиций рассудителен, и прилагала все старания, чтобы развить и упрочить в них эти добрые качества, которые, в силу присущей человеку развращенности, непрестанно обнаруживали склонность к извращению и переходу в качества совсем обратные: так, предусмотрительность Робена нередко переходила в скрытность и чаще всего прикрывала собой алчность; Максим был подвержен приступам безудержного гнева, а Сульпиций нередко высказывал, и весьма упорно, ложные взгляды на самые серьезные вопросы. Но пока это были просто шалуны-мальчишки, которые выдирали птичьи гнезда, воровали плоды в садах, привязывали кастрюли к собачьим хвостам, наливали чернил в кропильницы и посыпали свиной щетиной постель Модернуса. А по ночам, закутавшись в простыни, на ходулях расхаживали по садам, пугая до обморока служанок, загулявших под ручку со своими любезными. Или же втыкали иголки и острые шипы в обивку кресла, на котором имела обыкновение сидеть их воспитательница, и, когда она садилась на него, радовались ее боли и потешались над ее затруднительным положением, так как она не решалась публично поднести скорую руку помощи к уколотому месту, ибо ни за что

на свете она не нарушила бы скромности, подобающей женщине.

Эта дама, несмотря на свой почтенный возраст и добродетели, не внушала им ни любви, ни страха. Робен называл ее «старой крокодилицей», Максим—«старой клячей», а Сульпиций—«Валаамовой ослицей». Все трое на всякие лады дразнили и мучили маленькую Миранду, пачкали ее лучшие наряды, подставляли ей ножку, заставляя ее спотыкаться и падать носом на камни. Однажды они засунули ее голову по шею в бочку с патокой. Они учили ее перелезать через заборы и лазить на деревья, что совсем не подобает женщине; учили ее неприличным словам и выражениям, отдававшим трактиром и солильным чаном. По примеру их, и она стала звать почтенную вдову Базину старой крокодилицей и даже хуже того. Но, тем не менее, оставалась невинной. Ибо чистота ее души была ненарушима.

— Я счастлив,—говорил епископ Николай,—что привлек этих детей из солильного чана, чтобы сделать из них добрых христиан. Они станут верными слугами Господними, и мне зачтутся их заслуги.

На третий год после их воскресения, мальчики, все уже выросшие и возмужавшие, играли на дугу весенним утром, на берегу реки; Максим, на что-то рассердившись, чтобы похвастать своей силой, бросил в воду дякона Модернуса; тот ухватился за ветку ивы и стал звать на помощь. Робен приблизился к нему и, сделав вид, будто тянет его за руку, стащил у него с пальца кольцо и убежал.

Тем временем, Сульпиций, спокойно стоявший на берегу, скрестив руки на груди, говорил:

— Модернус плохо кончит. Я вижу поддюжины чертей в образе летучих мышей, которые дожидаются, когда он испустит дух, чтоб поймать его душу, когда она будет выходить через рот.

Когда вдова Базина и Модернус доложили епископу о столь тяжком проступке его трех питомцев, блаженный Николай огорчился и со вздохом молвил:

— Эти дети были возвращены в нищете и лишениях недостойными родителями. Они слишком много натерпе-

лись, и это изуродовало их характеры. Исправлять их недостатки надлежит с большим терпением и упорною добротой.

— Монсиньор епископ,—возразил Модернус, уже в халате и ночном колпаке, стуча зубами от лихорадки и поминутно чихая, так как от невольного купанья он сильно простудился,—возможно, что они вышли злыми оттого, что и родители их были злы. Но как же объяснить, отец мой, что плохое воспитание вызвало у каждого из них различные пороки, так сказать, противоположные один другому?—что заброшенность и нищета, в которой они пребывали до того, как их бросили в рассол, сделали одного алчным, другого—неистовым и третьего—духовидцем. И за этого последнего, на вашем месте, монсиньор, я бы больше всех боялся.

— Каждый из этих мальчиков,—возразил епископ,—поддался своей слабости. Дурное обращение изуродовало их души как раз по линии наименьшего сопротивления. И выправлять их надо чрезвычайно осторожно, из опасения усилить зло. Вместо того, чтобы ослабить его. Кротость, великодушие и снисходительность—единственные средства, которые можно применять для исправления людей—за исключением, разумеется, еретиков.

— Без сомнения, без сомнения, ваше преосвященство,—подтвердил Модернус, чихнув три раза.—Не бывает хорошего воспитания без наказания и дисциплины; без влетки. И если вы не будете наказывать этих скверных мальчишек, из них вырастает Ироды. Я вам верю.

— Модернус, может быть, и не совсем неправ,—поддержала его вдова Базина.

Епископ не ответил. Он шел вместе с дьяконом и вдовой вдоль цветущей изгороди из боярышника, издававшего приятный запах меда и горького миндаля. У одной ложбинки, где земля впитала в себя воду соседнего источника, он остановился перед кустом, ветви которого, искривленные и плотно прижатые друг к другу, были сплошь усыпаны блестящими вырезными листьями и белым пышным цветом.

— Взгляните,—молвил он,—на этот пышный, благоухающий куст, весь в цвету, на это благородное колючее растение, такое живучее и сильное; вы видите—цветов и листьев на нем больше, чем на всех прочих кустах этой изгороди. Но заметьте также, что на бледной коре его ветвей колючек мало, и они тонкие, мягкие, не острые. Какая же тому причина? А та, что выросший на почве влажной и жирной, спокойный за свой богатства, которые поддерживают его жизнь, куст этот использовал соки земли на то, чтобы как можно пышней и гуще разрастись; в сознании своей силы он не старался вооружить себя колючками для защиты от врагов, которые слабей его, и весь предался радостям своего щедрого и восхитительного плодородия. Теперь пройдите несколько шагов дальше по тропинке в гору и обратите внимание вон на тот, другой куст такого же боярышника: с трудом пробившись сквозь сухую каменистую почву, он еле влачит жалкое существование; веток и листьев на нем мало; в своей суровой жизни он заботился только о том, чтобы вооружиться и иметь защиту от несчетных врагов, угрожающих существованию слабых. Он весь усеян колючками. Питательных соков у него было мало, и он их все употребил на развитие своих шипов, широких у основания, колючих, крепких, да и те плохо успокаивают его опасения—он слаб и потому труслив. И у него уж не осталось сил для душистых плодоносных цветов. — Друзья мои, и мы подобны боярышнику. Заботы, которыми окружают наше детство, улучшают нас. Слишком суровое воспитание ожесточает нас.

III.

По семнадцатому году Максим жестоко огорчил своего достойного воспитателя и скандализировал всю епархию, сформировав шайку из своих сверстников, таких же сорванцев, как он, с целью похищения девушек из селения Гросс-Нат, лежавшего в четырех милях к северу от Тринкебадя. Набег удался вполне. Похитители ночью возвратились в город, прижимая к груди своей растрепанных девиц, тщетно с мольбою простиравших к небу пла-

менные очи. Но когда отцы, братья и женихи похищенных дев пришли за ними, они отказались вернуться в родную деревню, под предлогом, что там им будет стыдно смотреть в глаза людям, и что они предпочитают скрыть свое бесчестие в объятиях тех, кто причинил его. Максим, который взял себе, на свою долю, трех самых красивых девушек, жил с ними в небольшом здании, примыкавшем к епископскому дворцу. По приказанию епископа, дьякон Модернус, в отсутствие похитителя, поступался к ним, говоря, что он пришел освободить их. Но они не впустили его и, когда он стал им доказывать, как их жизнь преступна и греховна, они вылили ему на голову полный горшок помоев и выбросили самый горшок, раскроивший ему череп.

Вооружившись строгостью, блаженный Николай стал кротко выговаривать Максиму за такую грубость и за его распутство.

— Увы!—говорил он:—неужто же я вас извлек из содильного чана на погибель вервиньольских дев?

И пытался выяснить ему всю значительность его проступка. Но Максим только пожал плечами и повернулся к нему спиной, не ответив ни слова.

Как раз в это время король Берлю, на четырнадцатом году своего царствования, собрал сильное войско для борьбы с мамбурньенцами, заклятыми врагами его королевства, которые, высадившись в Вервиньоле, опустошали богатейшие провинции этого края, истребляя население.

Ни с кем не простившись, Максим ушел из Тринкебаля. В нескольких милях от города, увидав на пастбище кобылу, еще годную, хоть и хроую и кривую на один глаз, он вскочил ей на спину и пустил ее в галоп. На другой день утром ему попался навстречу батрак с соседней фермы, который вел на водопой здорового рабочего коня; тотчас же он соскочил на землю, влез на этого коня, а батраку велел сесть на кривую кобылу и следовать за ним, пообещав взять его в оруженосцы, если будет им доволен. В таком виде и с такой свитой Максим явился к королю Берлю, и тот согласился принять его услуги. В несколько дней он сделался одним из первых полководцев Вервиньоля.

Тем временем Сульпиций продолжал подавать епископу, пожалуй, еще более тягостные и, во всяком случае, более серьезные поводы для беспокойства; ибо если Максим тяжело грешил и оскорблял Господа, то делал он это не с злым умыслом, а, так сказать, по неведению. Сульпиций же в свои проступки вкладывал самую странную злую волю. С детства предназначенный к духовному званию он прилежно изучал Священное писание и светские науки; но душа его была загрязненным сосудом, в котором каждая истина претворялась в заблуждение. Он грешил мыслью, духом; в вопросах веры он поразительно рано стал впадать в заблуждения; в том возрасте, когда дети вообще еще не имеют собственных мыслей, он был преисполнен мыслей ложных. Одна из них, несомненно, была подсказана ему дьяволом. Собрав на лугу, примыкавшем к епископскому дому, множество юношей и девушек, его сверстников и сверстниц, он влез на дерево и оттуда стал убеждать их оставить отца и мать и следовать за Спасителем, и шайками бродить по деревням и селам, поджигая приораты и священнические дома, чтобы вернуть Церковь к апостольской нищете. И вся эта молодежь, умиленная и соблазненная проповедником, шла за ним по дорогам Вервиньоля, распевая священные песни, поджигая овины, грабя часовни и опустошая земли, принадлежавшие духовенству. Многие из этих безумцев погибли от усталости, холода и голода, или же были умерщвлены крестьянами. В епископском дворце стоял от жалоб ограбленных монахов и плача матерей. Благочестивый епископ Николай призвал к себе виновника всех этих беспорядков и с бесконечной благостью и скорбью стал укорять его в том, что он злоупотребил словом на соблазн ближнему, доказывая, что Господь извлек его из солильного чана не для того, чтобы он посягал на имущество Матери нашей, Церкви.

— Пойми же, сын мой,—говорил он,—всю тягость твоего проступка. Ты являешься к твоему духовному пастырю и отцу, обремененный тяжкими обвинениями в сеянии смуты, соблазна и убийства.

Но юный Сульпиций с ужасающим спокойствием и самоуверенностью, твердым голосом возразил, что он ни

в чем не согрешил и не провинился перед Господом, а наоборот, действовал согласно небесной заповеди и на благо Церкви. И начал излагать пораженному епископу лжеучения манихеев, ариан, несториан, савелиянцев, вальденсов, альбигойцев и бегардов, настолько увлекаясь этими чудовищными ересями, что он даже не замечал, что они противоречат одна другой и пожирают друг дружку на груди пригревшего их.

Набожный епископ силится вернуть Сульпиция на правый путь, но не мог одолеть упорства этого несчастного.

Отпустив его, он преклонил колени и молился:

— Благодарю Тебя, Господи, что Ты послал мне этого юношу, как оселок для моего терпения и милосердия!..

Между тем, как двое из спасенных детей доставляли блаженному Николаю одни лишь огорчения, третий все же до известной степени утешал его. Робен не обнаруживал ни чрезмерной буйности в поступках, ни заносчивости в мыслях. Он не походил ни на Максима, с красным, обветренным лицом, ни на Сульпиция, серьезного и в то же время способного на всякий риск. Маленький, тщедушный, желтый, весь сжеженный, приниженный, почтительный, подобострастный, он всячески старался угодить епископу и всему причту: казначею помогал подсчитывать доходы и расходы по епархии при помощи шариков, нанизываемых на железные пруты, производил самые сложные вычисления, ухитрялся даже умножить и делить в уме без карандаша, без грифельной доски, с быстротой и точностью, которым можно было бы удивиться и в старом учителе математики. Он с полной готовностью предложил вести книги, вместо дьякона Модернуса, который на старости лет путал цифры и засыпал над своей конторкой. Чтоб услужить епископу и добыть для него денег, он не щадил ни трудов, ни сил, от содержателей ссудных каасс научился высчитывать простые и сложные проценты на любую сумму и на любой срок—день, неделю, месяц, год; он не боялся навещать в грязных закоулках гетто засаленных евреев и в беседе с ними учиться распознавать пробу металлов, определять стоимость драгоценных камней и подрезывать моне-

ти. Сколотив всевозможными ухищрениями немного денег, он не пропускал в Вервиньоле, Модузиане и даже в Мамбурнии ни одной ярмарки, турнира, отпуска и престольного праздника, на которые стекались христиане всех званий и сословий: крестьяне, буржуа, клирики и вельможи, всюду менял деньги и каждый раз возвращался богаче, чем был до того. Но заработанных денег не тратил, а отдавал их епископу.

Блаженный Николай был чрезвычайно гостеприимен и отец щедр на милостыню; и собственные деньги, и церковные, он тратил на поддержку паломникам и помощь несчастным. И потому ему постоянно не хватало денег, и он был очень признателен усердному и ловкому Робену, всегда умевшему достать ему нужную сумму. С течением времени оскудение епископской казны,—результат великодушия и щедрости блаженного,—усилилось от бедствий того времени. Война, свирепствовавшая в Вервиньоле, нанесла много ущерба Тринкебальской церкви. Вокруг города лагерем стояли войска, грабили фермы, брали в плен крестьян, чтобы потом взять с них выкуп, разгоняли монахов, сжигали замки и аббатства. Прихожане перестали жертвовать на церковь, и ежедневно тысячи бездомных крестьян толпились у ворот епископского дворца, прося милостыни. И добрый святой Николай страдал от своей бедности не за себя, а за них. К счастью, под рукой был Робен, всегда умевший добыть нужную сумму, которую добрый епископ, разумеется, обязывался возратить ему, когда настанут лучшие времена.

Увы! война опустошала теперь все государство от края до края, а вслед за нею шли неизменные спутники: голод и чума. Пахари становились разбойниками, монахи—воинами. Жители Тринкебала, не имея ни дров, чтоб обогреться, ни хлеба, чтоб утолить свой голод, теперь, с наступлением холодов, мерли, как мухи. Волки забредали в предместья и ели маленьких детей. А Робен, как на зло, как раз в это трудное время явился к епископу с заявлением, что он не только не может дать ничего больше, так как ему не платят должники, но и сам в долгу, как в шелку, и, прижатый кредиторами, вынужден был все свои долговые обязательства передать евреям.

Эту печальную весть он сообщил своему благодетелю с обычной своей подобострастной учтивостью, но казался гораздо менее огорченным, чем бы следовало, такой при-
скорбной крайностью. Наоборот, с трудом прятал под скорбной миной веселое настроение, и ясно было, что он случившимся очень доволен. Из-под пергамента его жел-
тых, сухих, всегда смиренно опущенных век порою ра-
достно поблескивали живые острые глаза.

Этот тяжкий удар блаженный Николай принял спо-
койно и с ясным лицом.

— Господь,—сказал он,—сумеет поправить наши по-
шатнувшиеся дела и не даст рухнуть зданию, которое Он
сам воздвиг.

— Без сомнения,—сказал Модернус,—но будьте уве-
рены, что этот Робен, спасенный вами из солильного чана,
задавшись целью ограбить вас, вошел в соглашение с за-
кладчиками на Старом Мосту и с евреями в гетто, и возь-
мет себе львиную долю добычи.

Модернус говорил правду. Робен на этой сделке ни-
чего не потерял.—наоборот, разбогател и был назначен
королевским монетчиком.

IV.

Миранде к этому времени исполнилось семнадцать
лет. Она была красива и хорошо сложена. Вокруг нее, ка-
залось, веяли чистота, невинность и непорочность. При
виде ее длинных ресниц, как решетка, прикрывавших си-
ние глаза, и детски маленького рта, думалось, что злу
нет доступа в ее душу. Уши у нее были такие маленькие,
нежные, искусно сформированные, что самый несдержан-
ный человек не решился бы шепнуть ей вольное слово.
Во всем Вервиньоле не было девицы, которая бы внушала
такое уважение, и для нее это было особенно важно, так
как она была на диво простодушна, доверчива и безза-
щитна.

Дядя ее, благочестивый епископ Николай, с каждым
днем все нежнее любил ее и прилеплялся к ней душою
больше, чем надлежит привязываться к смертным созда-
ниям. Без сомнения, он любил ее в Боге, но отличитель-

но; в ней он нравился себе; он любил любить ее, это было его единственной слабостью. Даже святые не всегда умеют оборвать все узы плоти. Николай любил свою племянницу чистой любовью, но не чуждой улады. На другой день после того, как он узнал о банкротстве Робена, удрученный печалью и заботой, он пошел к Миранде, чтоб отвести душу в благочестивой беседе с нею, как и подобало, так как он заступал ей место отца и заботился о ее образовании.

Она жила в верхней части города, возле собора, в доме, который звался домом Музыкантов, так как на фасаде его были изображены люди и животные, играющие на различных инструментах,—например, осел, играющий на флейте, и философ, которого можно было узнать по длинной бороде и письменному прибору, ударявший в цимбалы. И каждый объяснял значение этих фигур по-своему. Это был красивейший дом в городе.

Епископ застал свою племянницу растрепанной, заплаканной, сидящей на корточках на полу перед открытым и совершенно пустым ларцом. В комнате был полный беспорядок.

Епископ осведомился о причине ее огорчения и беспорядка, царившего вокруг нее. Тогда, обратив к нему печальный взор, Миранда со вздохом и со слезами сказала ему, что Робен, спасенный им из солидного чана, Робен, такой милый и ласковый, постоянно твердил ей, что если ей захочется приобрести какой-нибудь наряд, убор или драгоценное украшение, стоит шепнуть ему словечко—и он с удовольствием одолжит ей необходимую для этого сумму денег; и она довольно часто обращалась к нему, и любезность его казалась неисчерпаемой; но вот, сегодня утром, к ней явился еврей Зелигман в сопровождении четырех сержантов, предъявил ей векселя на имя Робена, подписанные ею, и, так как у нее не было денег, чтобы заплатить по этим векселям, он унес все ее платья, уборы и драгоценности, какие у нее были.

— Все забрал!—плакала она:—все мои станики и юбки, бархатные, парчевые и кружевные, мои брильянты, изумруды, сапфиры, гиадинты, аметисты и рубины, мою бирюзу и гранаты; и мой большой алмазный крест с эма-

левыми головками ангелов, и мое ожерелье из двух рядов брильянтов с тремя кабошонами и шестью подвесками из четырех жемчужин каждая; и мое кольцо, из тринадцати рядов брильянтов, нашитых на бархат, с двадцатью жемчужинами в виде груши.

Не говоря дальше ни слова, она зарыдала в платок.

— Дочь моя,—сказал епископ,—христианская девица достаточно украшена, когда ей ожерельем служит скромность и поясом—целомудрие. Но все же тебе, происходящей из очень знатного и славного рода, подобает носить жемчуга и брильянты. Твои драгоценности были сокровищем бедных, и я грущу, что они похищены у тебя.

Он заверил Миранду, что утраченное, наверное, будет возвращено ей, в этом ли мире, или в будущем,—сказал ей все слова, которые могли смягчить и успокоить ее горе, и, в конце концов, успокоил ее. Ибо душа у нее была кроткая и нуждавшаяся в утешении. Но сам ушел от нее крайне огорченный.

На другой день, в то время, как епископ готовился служить мессу в соборе, в ризницу вошли три еврея в зеленых шляпах: Зелигман, Иссихар и Мейер, и почтительно пред'явили ему векселя, переведенные на них Робеном. И так как блаженному нечем было уплатить по ним, они призвали десятка два носильщиков с корзинами, мешками, крюками, тележками, веревками и лестницами, и принялись отпирать отмычками запертые на замок шкапы, лари и дарохранильницы. Святой человек бросил на них такой грозный взгляд, который испепелил бы на месте всех троих, будь это христиане. Он грозил им всеми карами, налагаемыми в этом мире и в будущем за святотатство, доказывал им, что уже одно их присутствие в жилище Господа, Которого они распяли, заслуживает огня небесного им на головы. Они выслушали его с спокойствием людей, для которых переносить брань, проклятия, омерзение и предание анафеме вошло в привычку. Тогда он начал их просить, молить, обещал заплатить им, как только явится возможность, вдвое, втрое, вдесятеро, во сто раз больше стоимости векселей. Они учтиво извинялись, но говорили, что это их дельце не терпит отлагательства. Епископ грозился, что велит ударить в набат, взбун-

тует против них народ, который убьет их, как собак, увидав, что они оскверняют и грабят чудотворные иконы и святые мощи. Они с улыбкой указывали на полицейских сержантов, охранявших их. Король Берлю покровительствовал им, так как они давали ему займы деньги.

При виде полицейских, блаженный, сообразив, что дальнейшее сопротивление будет уж мятежом, и вспомнив Того, Кто приставил на место отсеченное ухо Малха, умоле и стоял недвижим, и горькие слезы катились из очей его. Зелигман, Иссихар и Мейер унесли золотые раки, изукрашенные самоцветными камнями, эмалью и кабошонами, ковчежки для мощей в виде кубка, фонаря, корабля и башни, переносные алтари из алебастра в золотой и серебряной оправе, бесценные ларчики с инкрустацией из эмали, выложенной искусными руками лиможских и рейнских мастеров, алтарные распятия, футляры для евангелий из резной слоновой кости, украшенные античными каменьями, гребни, украшенные фестоном в виде виноградных листьев, диктахи, пиксады, чаши и потиры, светильники и трисвешники; унесли и лампады, горевшие перед образом, причем гасили недостойным дыханием святой огонь и лили освященное масло прямо на пол; унесли люстры, подобные гигантским венкам, четки из зерен жемчуга и янтаря, евхаристических голубиц, диски и дароносицы, кадила и опахала, серебряные руки, ноги, глаза, уста, сердца и внутренние органы, принесенные в дар церкви по обету, в благодарность за исцеление, нос короля Сидока и грудь королевы Бландины, и массивную золотую голову мюнхенского св. Кромадэра, первого апостола вервиньольского и святого покровителя Тринкебаля. Унесли они и чудотворную статую святой Жиббозины, к которой вервиньольцы не тцетно вывали в години моровой язвы, голода и войн. Это древнее и очень чтимое в народе изображение было из кедрового дерева, сплошь покрыто золотой битью и изукрашено самоцветными камнями величиной с утиные яйца, сверкавшими красным, желтым, синим, фиолетовым и белым огнем. Вот уж три столетия ее эмалевые очи, широко раскрытые на золотом лице, внушали такое почтение жителям Тринкебаля, что она даже снилась им по ночам, ве-

ликопешная и грозная, сулившая им жестокие беды, если они не пожертвуют на храм ее в достаточном количестве чистого воска и столько-то экю по шести ливров. Святая Жиббозина стонала, трепетала, тряслась на своем цоколе, однакож без сопротивления позволила унести себя из базилики, куда она с незапамятных времен привлекала несчетное число паломников.

По уходе святотатцев-грабителей блаженный Николай взшел на ступени ограбленного алтаря и освятил кровь Спасителя Нашего в старой немецкой серебряной чаше, тонкой и помятой, молясь за всех удрученных и особенно за Робена, которого он, по воле Господа, извлек из солильного чана.

У.

Вскоре после того король Берлю в большом сражении одержал победу над мамбурньенцами. В первый момент он и сам этого не заметил, так как при вооруженных столкновениях всегда происходит большая путаница, и вервиньольцы за два столетия уже утратили привычку побеждать. Но когда мамбурньенцы обратились в беспорядочное бегство, он понял, что преимущество на его стороне. Вместо того, чтоб отступить, он бросился преследовать врага и вернул половину своего королевства. Победоносная армия вступила в город Тринкебаль, изукрашившийся флагами и цветами в ее честь, и ознаменовала свое вступление в славную столицу Вервиньоля грабежами, насилиями, буйствами и прочими жестокостями, подожгла несколько домов, расхитила церковное имущество и взяла в соборе все, что там оставили евреи—по правде говоря, немного. Максим, который за это время успел сделаться рыцарем и начальником отряда из восьмидесяти улан, одним из первых проник в город и направился прямо к дому Музыкантов, где жила красавица Миранда, которой он же видал со времени своего отъезда на войну. Он застал ее в комнате за прялкой и накинулся на нее с таким неистовством, что эта юная девица утратила свою невинность даже, так сказать, не заметив этого. И, когда, оправившись от изумления, вос-

кликнула: «Вы ли это, сеньор Максим? Что вы такое делаете?» и сочла долгом оттолкнуть насильника, он уже преспокойно стоял на улице, подтягивая подпругу лошади и лорнируя девушек.

Быть может, она так и не узнала бы о нанесенной ей обиде, еслиб некоторое время спустя после того не почувствовала себя матерью: Капитан Максим в это время сражался уже в Мамбурнии. Стыд ее стал известен всему городу; она поверила свое горе епископу Николаю, который, выслушав такую изумительную новость, возвел глаза к небу и воскликнул:

— Господи, неужто же Ты извлек из солильного чана этого молодого человека затем лишь, чтобы он, как хищный волк, пожрал мою овечку? Я преклоняюсь перед Твоею мудростью, но пути Твои неисповедимы и намерения покрыты тайной.

В этом же году, в прощенное воскресенье, Сульпиций бросился к ногам епископа, моля его:

— С самого детства моей заветной мечтой было посвятить себя Господу. Разрешите мне, отец мой, принять на себя иноческий сан и постричься в монастыре нищенствующих братьев в Тринкебале.

— Сын мой,—возразил ему блаженный Николай,—нет состояния более прекрасного и почетного, чем состояние инока. Блажен тот, кто в тени монастыря укрыт от мирских бурь. Но что пользы бежать от грозы, когда гроза в себе самом? К чему напускать на себя смирение и скромность, когда сердце полно гордыни? Какой толк надевать на себя личину послушания, когда душа твоя мятежна? На моих глазах, мой сын, ты впал в большее количество ересей, чем Савелий, Арий, Нестор, Евтихий, Манэс, Целагий и Пахомий, вместе взятые; тебе еще и двадцати лет не исполнилось, а ты уж успел воскресить двенадцать веков заблуждений. Правда, ни в одном из них ты не упорствовал, но твои последовательные увлечения и отпадения свидетельствуют, повидимому, не столько о покорности твоей святой матери, нашей Церкви, сколько о том, как ты спешешь перекинуться от одного заблуждения к другому, перескочить от манихейства

к савелианству, и от злодейств альбигойцев к гнусностям вальденцев.

Сульпиций с сокрушенным сердцем выслушал эту речь и ответил на нее с простодушием и смирением, тронувшими до слез блаженного Николая:

— Я отступаю, оплакиваю, отметаю, отвергаю, осуждаю, презираю, ненавижу, с омерзением отвращаюсь от всех своих заблуждений, прошлых, настоящих и будущих; я всецело, полностью и беззаветно, без всяких оговорок, чисто и просто покоряюсь Церкви и не знаю иных учений, кроме ее учения, иной веры, кроме ее веры, иного знания, кроме ее знания; вижу ее глазами, слышу ее ушами, чувствую лишь так, как велит она. И если Церковь скажет мне, что вот эта муха, которая села на нос дьякона Модернуса, не муха, а верблюд, не возражая, не споря, не переча, без ропота, сопротивления, колебаний и сомнений поверю и буду провозглашать повсюду и под пыткой, даже до самой смерти исповедывать, что на нос дьякона Модернуса сел верблюд. Ибо Церковь есть источник истины; я же сам по себе не что иное, как мерзкое скопище всяких заблуждений.

— Берегись, отец мой,—предостерегал Модернус.— Сульпиций способен и послушание Церкви превеличить до ереси. Разве вы не видите, с какою пылкостью, с каким упоением и неистовством он предается ей? И покорностью не должно злоупотреблять. А он доводит ее до самоуничтожения.

Но епископ пожурил дьякона за такие речи, противные любви, и направил просителя на искус в обитель нищенствующих братьев в Тринкебале.

Увы! не прошло и года, как среди этих иноков, до того смиренных и спокойных, обнаружили ужасающие схизмы, как они впали в тысячи ересей и уклонений от истинного учения католической Церкви, и души их исполнились соблазна, а дни их—смуты. И вся эта зараза среди добрых иноков шла от Сульпиция. Он отравлял сомнением их умы и восстанавливал их против начальства, утверждая, что настоящих пап нет с тех пор, как избрание их перестало сопровождаться чудесами, как нет, в

сущности, и Церкви с тех пор, как христиане перестали вести жизнь апостолов и первых уверовавших во Христа; что нет чистилища, что, если ты исповедался Богу и раскрыл перед Ним свою душу, исповедываться священнику уже нет надобности; и что люди скверно поступают, пользуясь для обмена золотой и серебряной монетой, ибо все блага земные должны быть общим достоянием. Эти гнусные учения он отстаивал с большой горячностью, убеждая одних, возмущая других, и это вызывало жестокие пререкания и соблазны в обители. Вскоре Сульпиций стал проповедывать абсолютную чистоту человека, которой ничто не может вагрязнить, и монастырь уюдобился клетке обезьян. И эта зараза перекинулась и за стены обители. Сульпиций проповедывал по всему городу новое свое лжеучение, и его красноречие, внутренний огонь, пылавший в нем, простота его жизни и его непоколебимое мужество трогали сердца. Призывы преобразователя не остались без ответа, и древний город, принявший евангельское учение из уст св. Кромадэра и слушавший наставления св. Жиббозины, впал в распри и бесчестие; день и ночь в нем творились всякие чудачества и безобразия. Тщетно блаженный Николай предостерегал от увлечений свою паству, усовещевал, грозил, громил. Зло неудержимо разрасталось, и епископ с глубокой скорбью видел, что богатые буржуа, сеньоры и грамотеи поддаются заразе с той же легкостью, как бедные ремесленники и мастеровые, и даже легче их.

Однажды, когда человек Божий в соборе скорбел о плачевном состоянии Вервиньольской церкви, его неожиданно отлек от размышлений какой-то странный визг и лай; обернувшись, он увидел женщину, совершенно голую, на четвереньках с павлиньим пером, воткнутым в виде хвоста. Приближаясь к нему, она лаяла, лизала и обнюхивала землю. Светлые волосы ее были перепачканы в грязи и тело вымазано нечистотами. И святой епископ Николай узнал в этом жалком существе свою племянницу Миранду.

— Дочь моя, что ты такое делаешь?!—воскликнул он.
—Зачем ты разделась до-нага и ходишь на руках и на чоленах? Как тебе не стыдно!

— Ничуть не стыдно, дядюшка,—кротко ответила Миряда.—Наоборот, мне было бы стыдно, еслиб я ходила в одежде и как все люди. Так и надо делать и держаться, чтобы быть угодной Богу. Святой брат Сульпиций научил меня, что надо уподобиться животным—они ближе к Богу, чем люди, так как они не грешат. И пока я буду пребывать в том образе, в каком вы меня видите, мне не угрожает опасность согрешить. И вас, дядюшка, во имя любви и милосердия, я приглашаю последовать моему примеру, ибо иначе вы не можете спастись. Прошу вас, снимите ваше платье и уподобитесь животным, в которых Бог с удовольствием видит Свое отражение, не искаженное грехом. Обращаюсь к вам с этим призывом по приказанию святого брата Сульпиция, и, следовательно, по велению самого Господа, так как святому брату ведомы пути Господни. Разденьтесь до-нага, дядюшка, и пойдемте вместе показаться народу, чтобы подать ему благой пример.

— Верить ли мне глазам и ушам своим?—вздыхнул блаженный со слезами в голосе.—Я имел племянницу, цветущую красотой, благочестием и добродетелью, и дети, извлеченные мною из солильного чана, довели ее до того жалкого состояния, в каком я ее теперь вижу. Один ограбил ее, отнял все ее имущество, щедрый источник милостины, достояние бедных; другой отнял у нее честь; третий сделал ее еретичкой.

И он кинулся на пол, обнимая племянницу и со слезами моля ее отказаться от такого постыдного образа жизни, заклиная одеться и ходить на двух ногах, как подобает человеку, искупленному кровью Спасителя нашего Иисуса Христа.

Но она отвечала только взвизгиваньями и жалобным воем.

Вскоре весь город Тринкебаль наполнился голыми женщинами и мужчинами, которые ходили на четвереньках и лаяли; они называли себя эдемиками—райскими жителями и стремились вернуть мир к временам, полной невинности, до злосчастного сотворения Адама и Евы.

Достопочтенный доминиканец Жилль Какероль, инквизитор по делам веры города Тринкебаль, местного университета и тринкебальской церковной области, обеспокоенный таким новшеством, начал преследовать его, но способ выбрал странный. В длинных посланиях за печатью он настоятельно требовал, чтобы сеңьор епископ Николай, совместно с ним, велел взять под стражу, заключить в тюрьму, допросить и предать суду этих врагов Господних, в особенности же, главных вожаков и сеятелей бесчинства—францисканского монаха Сульпиция и распутную женщину, по имени Миранду. Блаженный Николай горел непритворным рвением о единстве Церкви и об истреблении ереси, но он нежно любил свою племянницу. Он укрыл ее в епископском дворце и отказался выдать ее инквизитору Какеролю, который за это донес на него папе, как на виновника беспорядков и потатчика гнусной ереси. Папа предписал епископу выдать виновную законным судьям и не прятать ее долее под своим кровом. Николай ответил уклончиво, что он во всем послушен папе, но приказа не исполнил. Тогда папа издал направленную против него грозную буллу *Maleficus pastor*, в которой именовал почтенного пастыря ослушником Церкви, еретиком, потатчиком ереси, содержателем наложниц, кровосмесителем, развратителем народа, старой бабой и самохвалом и в самых резких выражениях громил его поступки.

Таким образом, епископ сильно повредил себе, без всякой пользы для своей возлюбленной племянницы. Король Берлю, которому папа пригрозил отлучением от Церкви, если он не окажет ей содействия в розыске еретиков, прислал в Тринкебаль отряд вооруженных людей, которые силой вырвали Миранду из ее убежища и привтащили ее к инквизитору. Какероль велел бросить ее в подземную темницу и кормить хлебом, которого не хотели есть даже собаки тюремщика; при этом, что больше всего огорчало ее, на нее силой надели старую юбку, повязали ей голову платком, и теперь она уже не могла быть уверена в том, что она не грешит. Монах Сульпиций ускользнул от розыска Святой Инквизиции, успел добраться до Мамбурнии и нашел убежище в одном из

монастырей этого королевства, где основал несколько новых сект, еще более вредных, чем прежние.

Между тем, ересь, укрепленная гонениями и разжигаемая опасностью, свирепствовала теперь по всему Вервиньюлю; на улицах, в полях, по всему королевству тысячи нагих мужчин и женщин жевали траву, мычали, блеяли, ревели, ржали и по вечерам оспаривали у быков, лошадей и баранов место в стойлах, хлевах и конюшнях. Инквизитор довел до сведения Святейшего Отца обо всех этих ужасных соблазнах и о том, что зло не может быть пресечено, пока потатчик эдеминтам, гнусный Николай, останется наместником св. Кромадэра. На основании этого навета папа, разгневавшись, издал новую буллу против епископа Тринкебальского, озатлавленную *Deterrima quondam*, в которой отрешал его от епископского сана и извергал из общины верующих.

VI.

Низвергнутый наместником Христа, удрученный скорбью, с сердцем, полным горечи, блаженный Николай без сожаления покинул епископскую кафедру и самый город Тринкебаль, в течение тридцати лет бывший свидетелем его пастырских добродетелей и апостольских трудов. В западном Вервиньюле есть высокая гора с вечно покрытою снегом вершиной; по склонам ее, пенясь, сбегает весною звонкие водопады, снабжающие голубую, как небо, водой ручьи долин. Здесь, в ущелье, поросшем лиственницей, дикою яблоней и орешником, живут отшельники, питаются сыром, молоком и лесными ягодами. Гора эта зовется Горой Спасителя, Блаженный Николай решил искать на ней приюта и там, вдали от жизни и людей, оплакивать грехи свои и ближних.

Взбираясь на гору, в поисках уединенного места, где бы устроить себе жилище, он поднялся выше туч, всегда почти окутывающих склоны горы, и тут неожиданно увидел на пороге хижины старца, кормившего хлебом прирученную им дикую козу. Клубок был надвинут у него

на глаза, и от лица его видны были только кончик носа и длинная седая борода.

Блаженный Николай приветствовал его словами:

— Мир тебе, брат мой.

— Здесь, на горе, обитель мира, — отвечал отшельник.

— Потому я и пришел сюда, — сказал блаженный Николай, чтобы в покое и в тиши закончить дни, омраченные смутю века сего и злобою людской.

В то время, как он говорил, отшельник внимательно разглядывал его и, наконец, спросил:

— Скажите, вы не епископ Тринкебальский, Николай, всюду прославленный за свои труды и добродетели?

И когда блаженный знаком подтвердил, что это он и есть, отшельник бросился к его ногам.

— Монсеньор, вам я обязан спасением своей души, если только, как я надеюсь, мне удалось спасти ее.

Николай ласково поднял его и спросил:

— Скажи мне, брат, каким образом я мог содействовать спасению твоей души?

— Двадцать лет тому назад, — отвечал пустынный, — я был хозяином гостиницы, стоявшей на пустынной дороге, у опушки леса. Однажды, на поле, я увидел троих детей, собиравших колосья; я заманил их к себе домой, напоил допьяна вином, умертвил их во сне, разрубил на куски и посолил. Господь, ради ваших заслуг, воскресил их через ваше посредство. При виде детей, вышедших живыми из солильного чана, я оледенел от ужаса: от ваших усовещаний сердце мое растаяло; я почувствовал спасительное раскаяние и, бежав от людей, поселился на этой горе, где все дни моей жизни посвящены Богу. И мир Господень снизошел в мою душу.

— Как?! — вскричал епископ, — ты тот самый жестокосердый Гарум, совершивший столь тяжкое преступление? Да будет прославлен Господь наш, ниспославший мир в твою душу после жестокого умерщвления троих детей, брошенных тобой в солильный чан, как поросята! Но я, увя! тяжко наказан за то, что извлек их оттуда: жизнь моя с тех пор исполнена напастей, душа напоена горечью, вся моя деятельность, как епископа, стала рядом неудач.

Я низвергнут, отрешен от сана, отлучен от церкви общим отцом всех верных. Почему я столь тяжело наказан за содеянное мною?

— Прославим Господа,—сказал Гарум,—и не будем спрашивать у Него отчета!

Блаженный Николай своими руками построил себе келью рядом с хижинкой Гарума и окончил там дни свои з покаянии и молитве.

Перев. с франц. З. Журавской.



РУБАШКА
LA CHEMISE

«...То был молодой пастух, лениво
лежавший на траве и услаждавший
свое одиночество звуками свирели...
С него насильно сняли одежду, но...»
(Большая энциклопедия Пьера Ла-
русса,—слово Рубашка: т. IV, стр. 5,
столб. 4).

Король Кристоф, его управление, нравы и болезнь.

Кристоф V был недурным королем. Он в точности соблюдал законы парламентского правления, и никогда не шел против решения палат. Это подчинение ему не дорого стоило, потому что он заметил, что если существуют многие способы достигнуть власти, то удержать ее есть только один,—что министры, каковы бы ни были их происхождения, принципы, мысли и чувства, управляли все одинаково, и что, несмотря на чисто формальные разногласия, все они повторяют один другого с успокоительной точностью. Итак, он без колебания допускал к делам всех, кого ему указывали палаты, предпочитая тем не менее революционеров, как людей наиболее жадных до выказыванья своей власти. Он сам, главным образом, занимался внешними делами, зачастую совершая дипломатические путешествия, обедал и охотился в обществе связанных с ним узами родства соседних властителей и уверял, что он—лучший министр иностранных дел, какого только можно себе представить. Во внутренней политике он держался, как мог при неблагоприятном положении дел. Народ относился к нему без особенной любви и почтения, что избавляло его от разочарований, ибо, не служа предметом особой популярности, он не подвергался опасности стать непопулярным, чему подвержен всякий популярный человек.

Государство его было богато. Промышленность и торговля процветали, но не настолько, чтобы это беспокоило соседние государства. Его финансы вызывали особенное

восхищение. Прочность его кредита казалась непоколебимой. Финансисты говорили об этом с энтузиазмом, с любовью, со слезами благодарности на глазах. Часть этих заслуг переходила и на короля Кристофа. Крестьяне считали его ответственным за неурожай, но они случались не часто; плодородие почвы и трудолюбие хлебопашцев делало эту страну обильной плодами, зерном, вином и стадами. Фабричные рабочие постоянными и настойчивыми требованиями держали в страхе буржуазию, которая рассчитывала на короля, как на защитника против социальной революции; рабочие же, со своей стороны, не могли его свергнуть, будучи слишком слабыми, и даже не хотели этого, не видя, какая выгода будет им от этого падения. Он не облегчал их положения, но не притеснял, чтобы всегда иметь в них угрозу, но не опасность. На армию он мог вполне положиться, ибо в ней царил хороший дух. В армии всегда хороший дух. Все меры были приняты, чтобы она его сохраняла—это первая государственная необходимость. Потому что, если он будет утрачен, государство сейчас же падет. Король Кристоф покровительствовал религии. По правде сказать, он не был особенно благочестив и, чтобы не противоречить мнениям веры, он предусмотрительно позаботился никогда не касаться ни одного догмата. Он ходил к обедне в свою церковь и по отношению к епископам выказывал только почтительность и благосклонность, хотя между ними и находилось три-четыре рьяных паписта, осылавших его оскорблениями. К высшим же должностным лицам чувствовал непреодолимое отвращение, вследствие их угловатой низости, и не понимал, как могут его подданные переносить такую несправедливую справедливость, но эти чиновники искупали свою позорную слабость к знатым непреклонною строгостью к слабым. Их суровость внушала уважение.

Кристоф V заметил, что его поступки совсем не производили достаточного впечатления, или имели последствия, противоположные тем, каких он ожидал. Потому действовал он мало. Приказы и награды были лучшим средством управления. Он раздавал их своим противникам, которые бывали этим унижены и удовлетворены

Королева-супруга подарила ему троих сыновей. Она была уродлива, сварлива, скупа и глупа, но народ, зная, что король пренебрегал ею и постоянно ей изменял, окружал ее почестями и хвалою. После романов с массой женщин всех положений, король стал придерживаться госпожи де-ла-Пуль, с которой его связывала многолетняя привычка. В женщинах он всегда ценил новизну; но новая женщина перестала быть для него новостью, и он тяготился монотонностью частых перемен. С горя он возвращался к де-ла-Пуль, и все то надоевшее старое, что наводило на него такую тоску у новеньких, кавалось сносно у старого друга. И все-таки он страшно скучал и с нею. Иногда, наскучив, что она всегда одинаково пресно одевается, он пытался переодеть ее, заставляя ее наряжаться тиролькой, андалузкой, монашенкой, монахом, драгунским капитаном, ни минуты не переставая находить ее нелепой.

Главным занятием его была охота, наследственное развлечение королей, перешедшее к ним от первобытных людей. Древняя необходимость, сделавшаяся развлечением, усталость, доставляющая знатным удовольствие. Удовольствие не бывает без усталости. Кристоф V охотился 6 раз в неделю.

Однажды в лесу он сказал Катрфёю, своему обер-шталмейстеру:

— Какое идиотство травить оленей!

— Сир,—отвечал обер-шталмейстер:—за то будет приятно отдохнуть после охоты!

— Катрфёй,—вздыхнул король,—прежде я находил удовольствие в том, чтобы сначала устать, а потом отдохнуть. Теперь же я не вижу приятности ни в том, ни в другом. Все занятия кажутся мне пустыми, как праздность, а отдых утомляет, как тяжелый труд.

После десяти лет царствования, протекавшего без революций и войн, признанный, наконец, своими подданными за искусного политика и ставши постоянным посредником между королями, Кристоф V не испытывал никакой радости. Часто он говорил, погруженный в глубокое уныние:

— Все время у меня перед глазами—черные черви, и в ребрах гнездится тоска.

Он лишился сна и аппетита.

— Я не могу больше есть,—говорил он Катрфею.— Увы! Я грущу не о гастрономических наслаждениях, которых не знал никогда. Короли никогда не знают этого удовольствия. У меня самая отвратительная кухня во всем королевстве. Только простые люди едят хорошо; у богатых стряпают повара, которые обкрадывают и отравляют их; и самыми великими поварами являются те, которые крадут и отравляют больше всех, а ведь для меня готовили величайшие повара в Европе. И все-таки, от природы я большой гурман и, если бы позволило мое положение, я тоже любил бы лакомые кусочки, как и всякий другой.

Он жаловался на боль в пояснице и тяжесть в желудке, на общую слабость, одышку и сердцебиение. Временами лицо его нелепо краснело.

— Я чувствую,—говорил он,—тупую боль, постоянную, спокойную, к которой можно привыкнуть, но время от времени ее сменяют невыносимые боли. Оттого мои тоска и оцепенение. Он страдал головокружениями, мигренями, судорогами, спазмами и такими колотьями в боку, от которых у него спирало дыхание.

Оба лейб-медика короля, доктор Сомон и профессор Машелье, нашли у него неврастению.

— Единство болезни плохо развито,—сказал профессор Сомон,—нозологическая *) сущность недостаточно определена, даже неуловима.

Профессор Машелье перебил его:

— Скажите, Сомон, что это—настоящий патологический Протей, меняющийся беспрестанно, как Морской Старик, под давлением медиков, принимая самые причудливые и устрашающие формы; то коршуна—язвы в желудке, то змеи—нефрита, то вдруг воздвигает желтое лицо желтухи, красные скулы туберкулеза, то сводит пальцы словно при гипертрофии сердца; в конце кон-

*) Нозология—та часть медицины, где говорится вообще о болезнях, не разбивая их еще на специальности. Искусство диагноза относится туда же.

дов, это представляет собою сборник всех болезней, пагубных для человеческого тела, покуда, уступая медицинским действиям и признав себя побежденной, она прячется под настоящим своим видом—обезьяньей болезни.

Доктор Сомон был красивым, изящным мужчиной, которого женщины обожали. Элегантный ученый, великосветский врач, но по строению брюшины распознавал аристократию и строго соблюдал социальную разницу, отличающую одни недра от других. Профессор Машелье, маленький, жирный, коротконогий, страшный болтун, был более фат, чем его коллега Сомон. У него были те же претензии и больше заботы поддерживать свой авторитет. Они ненавидели друг друга; но заметив, что, ссорясь, они только топят друг друга, пришли к полнейшему соглашению, и стоило одному из них высказать какую-нибудь мысль, как другой сейчас же объявлял ее своей собственной.

Хотя они взаимно не уважали свои способности и знания, они не боялись обмениваться мнениями, зная, что от этой мены они ничем не рискуют, не выигрывают, не проигрывают. Так как сначала болезнь короля не внушала им беспокойства, они надеялись, что больной выздоровеет пока они будут лечить его, и это совпадение будет отнесено к их славе. С обоюдного согласия они предписали ему воздержанную жизнь (*Quilus nervi dolen Venus inimica*), тонический режим, упражнения на воздухе и разумное применение водолечения. Сомон, с одобрения Машелье, прописал сероуглерод и хлористый метил; Машелье, с согласия Сомона,—опиаты, хлорал и бромистые составы.

Но прошло несколько месяцев, а королю не становилось лучше. А вскоре страдания его даже усилились.

— Мне кажется,—сказал однажды им Кристоф V, полулежа в кресле,—мне кажется, что целое гнездо крыс грызет мои внутренности, меж тем, как бегообразный карлик, кобольд в красном капюшоне, рубашке и штанах, спустившись в мой желудок, роет его пикой.

— Сир,—сказал доктор Сомон,—это чисто симпатическая боль

— А я нахожу ее довольно-таки антипатичной,—отвечал король.

Тут вступился профессор Машелье.

— Желудок и внутренности вашего величества абсолютно здоровы; если же вы чувствуете боль, то это происходит в силу симпатического созвучия с нервным сплетением, сложной сетью покрывающим внутренности, как сеть из раскаленной платины.

— Неврастения, этот истинный патологический Протей...—начал было Машелье.

Но король отпустил обоих.

— Сир,—сказал Сан-Сильвэн, старший адъютант короля:—посоветуйтесь с доктором Родригом.

— О, да, сир,—вскричал Катрфей:—велите позвать доктора Родрига.—Больше нечего делать.

В то время доктор Родриг изумлял вселенную. Его видели почти одновременно во всех странах земного шара. Его визиты оплачивались такими суммами, что этого доктора уважали даже миллиардеры. И коллеги всего мира, что бы ни думали о его знаниях и его характере, с почтением отзывались о нем, как о человеке, который сумел довести до неслыханной высоты докторский гонорар; многие объявляли себя последователями его метода, за более умеренное вознаграждение усиливая его славу. Но так как доктор Родриг не пользовался при своем лечении лабораторными и аптекарскими препаратами, то его лечебные предписания неизменно отличались причудливостью, сбивавшею с толку, и неподражаемой оригинальностью. Сан-Сильвэн не знал Родрига, но питал к нему неограниченное доверие и верил в него, как в Бога. Он принялся умолять короля позвать доктора, творившего чудеса, но все было напрасно.

— Предпочитаю,—отвечал Кристоф V,—докторов Сомона и Машелье. Я знаю их и знаю, что они ровно ни на что не способны; но мне неизвестно, на что способен этот Родриг.

II.

Лекарство доктора Родрига.

Король никогда не любил своих лейб-медиков, но после полугода болезни они стали ему положительно невыносимы. Еще издали завидя прекрасные усы над вечно-победоносной улыбкой доктора Сомона или черные прилизанные височки Машелье, король уже скрежетал зубами и отворачивался. Однажды ночью он даже выбросил за окошко все их порошки, пилюли и снадобья, наполнявшие комнату печальным и пресным запахом. Даже больше—он пошел наперекор всем их предписаниям—стал ложиться в то время, когда ему было предписано делать упражнения на свежем воздухе, двигался, когда они ему предписывали покой, ел в часы, назначенные для диеты, постился, когда ему положено было усиленное питание и выказывал по отношению к г-же де-ла-Пуль такие пылкие ласки, что, не веря своим чувствам, она думала, не снится ли ей это. Но если от этого ему не делалось хуже, то и лучше тоже не делалось. Многообразные боли не покидали его. Он жаловался, что в мозгу у него—муравейник, и что эта трудолюбивая и воинственная колония прорывала там галереи, комнаты, кладовые, сносила туда провiant, материалы, миллиардами клала яйца, выкармливала детенышей, выдерживала осады, производила атаки, отбивала их, давала отчаянные сражения. Он чувствовал, по его словам, как враг стальными челюстями прогрызал твердый и тонкий панцырь противника.

— Сир,—опять сказал ему Сан-Сильвэн,—позовите доктора Родрига.—Он вас без сомнения вылечит.

Но король пожал плечами в ответ. И в минуту слабости снова потребовал прописанные ему снадобья и вернулся к режиму. Он не ходил больше к мадам де-ла-Пуль и ревностно глотал пилюли из азотнокислого аконитина, которые в то время еще переживали пору своей блистательной новизны. Благодаря воздержанию и этому лечению, с ним случился такой припадок удушья, что язык вылез у него изо рта, а глаза выкатились из орбит.

Его поместили в постель стоя, как часы, причем воспаленное лицо его служило циферблатом.

— Сердечная система в полном расстройстве!—сказал профессор Машелье.

— И сильное воспаление,—прибавил доктор Сомон.

Сан-Сильвэн нашел случай удобным, чтобы снова рекомендовать доктора Родрига, но король возразил, что с него довольно врачей.

— Сир,—отвечал Сан-Сильвэн,—доктор Родриг совсем не врач.

— А!—воскликнул Кристоф V,—это другое дело и поднимает его в моих глазах. Он не врач? Так кто же он?

— Ученый, гениальный человек, сир, открывший неведомые доселе свойства материи в состоянии излучения, которые он и прилагает к медицине.

Но король тоном, не терпящим возражений, запретил секретарю говорить больше об этом шарлатане.

— Никогда!—заявил он,—никогда я не приму его!

Лето Кристоф V провел сносно. Он совершил путешествие на яхте вместе с де-ла-Пуль, одетой юнгой. К завтраку он принимал президента республики, короля и императора, вместе с которыми ему удалось обеспечить мир всему свету. Но ему претила роль вершителя судеб народов, и, когда в каюте г-жи де-ла-Пуль он нашел старый бульварный роман, то накинулся на него с громадным интересом, и это чтение на несколько часов дало ему очаровательное забвение действительности. И не считая нескольких мигреней, нервных болей, ревматических приступов и пресыщения жизнью, он чувствовал себя довольно сносно. Но осень принесла с собой прежние пытки. Он испытывал муки человека, по пояс погруженного в лед, а выше пояса охваченного пламенем. Однако, еще большие страданий и ужаса причиняли ему состояния, которых он не мог определить. По его словам, были такие, что у него волосы вставали дыбом. Малоокровие его терзало, и слабость увеличивалась с каждым днем, хотя страдал он с той же сидюю.

— Г. де-Сан-Сильвэн,—сказал он однажды утром после дурно проведенной ночи,—вы неоднократно говорили мне о докторе Родриге. Позовите его.

По сведениям, доктор Родриг находился в данную минуту на мысе Доброй Надежды, в Мельбурне и в Петербурге.

Каблограммы и радиogramмы были тотчас отправлены по этим направлениям. Не прошло и недели, как король настойчиво снова требовал доктора Родрига. Последующие дни он каждую минуту осведомлялся, скоро ли тот придет? Ему докладывали, что его величество не такой пациент, которым можно было бы пренебречь, и что Родриг путешествует с удивительною быстротою. Но ничто не могло успокоить нетерпение больного.

— Он не придет! — вздыхал он, — вы увидите, что он не придет!

Из Генуи пришла депеша, что Родриг сел на корабль «Preussen».

Через три дня мировая знаменитость прибыла во дворец, сделав предварительно визиты коллегам Сомону и Машелье.

Доктор Родриг был еще моложе и красивее, чем доктор Сомон, отличаясь более гордым и благородным видом. Из уважения к природе, которой он подражал во всем, он не стриг волос и бороды, что делало его похожим на древних философов, увековеченных греками в мраморе.

Выслушав короля, он сказал:

— Сир, доктора, трактующие о болезнях, словно слепые о красках, уверяют, будто у вас невращения или слабость нервной системы. Но, даже и определив вашу болезнь, они не в состоянии излечить ее, потому что органическая ткань может быть восстановлена только теми же средствами, которые употребляет природа для их создания, а эти средства неведомы им. Но каковы, однако, эти средства, каковы эти естественные процессы, которыми пользуется природа? Она не знает ни человеческой руки, ни инструментов; она изысканна, она остроумна; для самых величественных, для самых громоздких творений своих она пользуется бесконечно малыми частицами материи, атомами, протидами. Из неосязаемого тумана она создает скалы, металлы, растения, людей и животных. Каким образом? Посредством притяжения, тяготы.

ния, испаряемости, проницаемости, всасывания, эндосмоса, капиллярности, сродства, симпатии. Песчинку создает она так же, как и млечный путь: гармония сфер царит везде—и в песчинке, и в звездах; они могут существовать только благодаря колебанию составляющих их частиц, представляющему собою их музыкальную, нежную, вечно волнующуюся душу. В структуре небесных звезд и пылинок, танцующих в солнечном луче, входящем в эту комнату, нет ни малейшего различия, и мельчайшая из пылинок достойна такого же удивления, как и Сириус, ибо самым чудесным во всех предметах вселенной является то бесконечно малое, что образует и одушевляет их. Вот как творит природа. Из области неощутимого, неосязаемого, невесомого, она извлекла громадный мир, доступный нашим чувствам и взвешиваемый и измеряемый нашим разумом. И то, из чего мы сами созданы—легче дышать. Так будем же действовать по ее примеру, будем пользоваться невесомым, неосязаемым, неощутимым при посредстве нежного тяготения и способности к проникновению материи в мельчайшие поры. Вот основной принцип. Как применить его к занимающему нас случаю? Как вернуть жизнь истощенным нервам?—вот что остается нам исследовать.

Прежде всего, что такое нервы? Если мы спросим об этом самого жалкого физиолога... да что я говорю? хотя бы какого-нибудь Машелье или Сомона, то они скажут нам: что такое нервы? это нити, волокна, которые тянутся от спинного и головного мозга к различным частям тела, для передачи возбудительных раздражений и возбуждения органов движения. Таким образом, это ощущение и движение. Этого достаточно для нашего знакомства и познания истинной сущности вещей: как бы мы ни называли ее, а она вполне тождественна тому, что в области чувств мы называем удовольствием, а в области духа—счастьем. Где окажется атом удовольствия и счастья, там и будет восстанавливающая нервы субстанция. А когда я говорю «атом удовольствия», то обозначаю этим нечто материальное, определенную субстанцию, тело, способное к превращению во все четыре основные состояния материи, то-есть, в твердое, жидкое, газообразное и

лучистое; тело, у которого можно определить его атомный вес. Радость и печаль, действию которых люди, животные и растения подвержены с самого начала всех начал, являются вполне реальными субстанциями; субстанции эти материальны, ибо они духовны, так как природа единая во всех своих трех разновидностях—материи, движения и духе. Значит, все дело только в том, чтобы добыть в достаточном количестве атомы радости и ввести их в организм посредством эндосмоса и кожного всасывания. Вот почему я прописываю вам носить рубашку счастливого человека.

— Что!—воскликнул король,—вы хотите, чтобы я носил рубашку счастливого человека?

— На голом теле, сир, чтобы ваша высохшая кожа впитывала в себя частицы счастья, излученные потовыми железками счастливого человека через выводящие каналы его благоденствующей кожи. Ибо вы не можете не знать свойства кожи вдыхать и выдыхать и служить границей непрестанного обмена веществ со средой, в соприкосновении с которой она находится.

— И это средство вы мне прописываете, доктор Родриг?

— Сир! более рационального средства нельзя придумать. Я не вижу в современной медицинской науке ничего, чем можно было бы заменить его. Ведь, не зная истинной сущности вещей и не умея подражать природе, наша фармация стряпает небольшое количество лекарств, которые всегда опасны и не всегда действительны. Лекарствами, приготовить которых мы не умеем, мы должны пользоваться в их естественном виде, как пользуемся пиявками, горным климатом, морским воздухом, натуральными минеральными водами, ослиным молоком, шкурой дикой кошки и флюидами, излучаемыми кожей счастливого человека... Разве вы не знаете, что от ревматических болей следует носить в кармане сырую картошку? Но вы не хотите естественных средств? Вам непременно нужны химические препараты, капли и порошки? Вам, должно быть, помогали порошки и капли?

Король извинился и обещал последовать предписанию врача.

Доктор Родриг, который уж совсем было дошел до порога, обернулся и сказал:

— Только велите слегка нагреть ее, прежде чем ею пользоваться.

III.

Гг. Катрфей и де-Сан-Сильвэн ищут счастливого человека во дворце.

В нетерпении поскорее надеть рубашку, которая должна была вылечить его, Кристоф V позвал Катрфея, своего обер-шталмейстера, и Сан-Сильвэна, старшего адъютанта, поручив им в кратчайший срок добыть ее. Было решено, что они сохранят в строжайшей тайне объект своих поисков. Опасались, что если публике будет известно, какое лекарство требуется королю, куча несчастных, особенно самых бедных, наиболее преследуемых бедствиями, предложат свои рубашки в надежде на вознаграждение. Опасались также, чтобы анархисты не подослали отравленных рубашек.

Уполномоченные думали, что смогут найти прописанное доктором Родригом средство, не выходя из дворца, и поместились около слухового окна, откуда было видно, как проходят придворные. Но на первых порах им пришлось встретить исключительно вытянутые физиономии, на которых ясно было написано их несчастье: неудовлетворенное желание получить место, орден, привилегию, должность, аренду. Затем, спустившись в большие залы, Катрфей и Сан-Сильвэн натолкнулись на г. де-Бокажа, который дремал в кресле, раскрыв рот до ушей, с щеками круглыми и сияющими как два солнца; грудь его была спокойна, живот мирен и ритмичен; весь он был улыбающийся, дышащий радостью от макушки до растопыренных больших пальцев на ногах в легких туфлях. При виде его Катрфей сказал:

— Нечего и искать больше. Как только он проснется, попросим у него рубашку.

Но тут же дремавший протер глаза, потянулся и с кислым видом оглянулся по сторонам. Углы его рта опу-

стились, щеки опали, веки повисли, как белье у окон бедняков, и из его груди вырвался жалобный стон. Весь вид его теперь выражал скуку, сожаление и разочарование.

Увидав обер-штадмейстера и старшего адъютанта короля, он сказал:

— Ах, господа, какой хороший сон я видел. Мне снилось, что король возвел мое родовое поместье Бокаж в маркизат. Увы, это только сон, потому что мне хорошо известно, что намерения короля совершенно не таковы.

— Идем дальше,—сказал Сильвэн.—Уже поздно и нам нельзя терять времени даром.

В галлерее они встретились с пэром королевства, удивлявшим мир силой своего характера и глубиной своего ума. Даже враги не отрицали в нем бескорыстия, откровенности и храбрости. Было известно, что он пишет мемуары, и каждый льстил себя надеждой, что сохранится в них в почетном виде для потомства.

— Может быть, он—счастлив!—сказал Сан-Сильвэн.

— Спросим,—промолвил Катрфей.

Они заговорили с ним, навели разговор на вопрос о счастье и, между прочим, задали вопрос, который их интересовал.

— Богатство и почести,—ответил он,—меня не трогают, привязанности самые законные, самые естественные, домашние заботы, удовольствия дружбы—не наполняют моего сердца. У меня стремление только к общественному благу,—страсть самая несчастная и любовь наиболее неблагодарная. Я был у власти, я отказался поддерживать экспедиции, организованные разбойниками и торгашами на счет казны и солдатской крови для собственного обогащения и общественного разорения. Я не отдал армии и флота в жертву поставщикам и пал от клеветы этих мошенников, которые обвиняли меня, при одобрениях бессмысленной толпы, в том, что я не блюду священные интересы и славу родины. Никто меня не поддержал против разбойников высшего полета. Видя из какой глупости и низости составляется общественное мнение, я жалею о неограниченной власти. Слабость короля меня приводит в отчаяние; отвратительное зрелище—мелочность высокопоставленных лиц. Я то столбенею, то

бешусь от неопытности и недобросовестности министров, от невежества, низости и продажности народных представителей. Чтобы утешить себя за дневные страдания, по ночам я пишу и возвращаю горечь, которой меня поят.

Катрфей и Сан-Сильвэн поспешили откланяться; пройдя еще несколько шагов по галлерее, они встретились лицом к лицу с крошечным человечком, по всей видимости горбатым, потому что из-за головы его можно было видеть его спину; человечек шел жеманной походкой фата.

— Бесполезно даже и обращаться к нему,—сказал Катрфей.

— Как знать?—отвечал Сан-Сильвэн.

— Поверьте мне, я знаю его,—возразил италмейстер; я—поверенный его сердечных тайн. Он самодоволен и имеет некоторое право на это. За горбуном бегают все женщины. Придворные дамы, горожанки, актрисы, меццанки, кокоетки, самые красивые, самые гордые, целомудренные ханжи, кокетки—все они у его ног. Идя на встречу их исканиям, он подтачивает свое здоровье и жизнь. И теперь, полный меланхолии, он тяготится своей ролью покорителя сердец.

Солнце садилось и, предполагая, что король не выйдет больше сегодня из своих апартаментов, придворные покинули дворец.

— Я с удовольствием отдал бы свою рубашку,—сказал Катрфей.—У меня, могу похвастаться, счастливая натура. Всегда доволен! Я с аппетитом ем и пью, хорошо сплю. Обыкновенно, хвалят цвет моего лица. Но в нижней части живота я чувствую жар и тяжесть, отравляющие мне всю жизнь. Сегодня утром у меня вышел камень, величиной с голубиное яйцо. Боюсь, что моя рубашка ровно ничего не стоит!

— Я тоже с удовольствием отдал бы свою,—сказал Сан-Сильвэн,—но у меня тоже есть мой камень: моя жена. Я женился на самом уродливом и самом злом создании, какое только когда-либо существовало; и хотя и говорят, что будущее известно одному только Богу, но я с уверенностью скажу, что подобного создания не встретится и в будущие времена, ибо воспроизведение оригина-

нала кажется настолько невероятным, что его можно смело считать невозможным. Бывает такая игра природы, на которую она два раза не решается...

Потом, бросив эту тяжелую тему, он сказал:

— Катрфей, друг мой, мы действуем очень несообразительно. Ведь не при дворе и не среди сильных мира сего следует искать счастливого.

— Вы говорите, как философ,—возразил Катрфей,—вы выражаетесь, как этот бедняга Жан-Жак. Вы не правы. Во дворце короля и в аристократических домах найдется столько же счастливых людей, как и в литературных кабачках или ивлюбленных рабочими трактирах. Если же нам не удалось найти сегодня, то только потому, что было уже поздно; да нам и не повезло. Отправимся вечером в игорный дом и нам лучше удастся.

— Искать счастливого человека за игорным столом,—воскликнул Сан-Сильвэн,—все равно, что искать ожерелья на репном огороде и правды в словах государственного человека! Сегодня бал у испанского посланника; там будет весь город. Отправимся туда, нам легко повернется под руку добропорядочная и подходящая рубашка.

— Мне приходилось несколько раз касаться рубашки счастливой женщины,—сказал Катрфей,—и я с удовольствием пользовался этим случаем. Но это счастье мгновенное. Если я говорю вам об этом, то совсем не ради хвастовства, да и чем тут хвастаться; и не для того, чтобы вспоминать былые наслаждения, которые еще могут вернуться, ибо, вопреки пословице, все возрасты имеют те же удовольствия. Нет, мои намерения совсем другие. Они гораздо серьезнее и добродетельнее и прямо касаются той августейшей миссии, которую мы оба облечены. Я хочу поделиться с вами мыслью, которая только что пришла мне в голову. Не думаете ли вы, Сан-Сильвэн, что прописывая рубашку счастливого человека, доктор Родриг употребил слово «человек» в родовом смысле, подразумевая все человечество, без его разделения на полы, т. е., следовательно—имел в виду как мужскую, так и женскую рубашку? Что касается меня, то я склонен верить этому, и если вы разделяете мое убеждение,

то наши шансы найти искомое сильно возрастают, ибо в столь элегантно и утонченно-вежливом обществе, как наше, женщины гораздо счастливее мужчин: они получают больше, чем дают сами. Таким образом, Сан-Сильвэн, при более широкой задаче, мы могли бы ее поделить. Например с сегодняшнего вечера до завтрашнего утра я искал бы рубашку счастливой женщины, меж тем как вы занялись бы поисками счастливого мужчины. Согласитесь, мой друг, что женская рубашка—тонкая вещь. Мне доводилось шупать такие, что могли бы пройти через перстень, батист на них тоньше паутины. А что вы скажете о той рубашке, которую одна придворная дама Марии Антуанеты проносила на балу в прическе? И подумайте только, как приятно будет поднести королю очаровательную батистовую рубашку с ее прошивками, кружевными оборками и перехватами из розовых лент, легче дыхания, пахнущую ирисом и любовью.

Но Сан-Сильвэн решительно восстал против подобного толкования формулы доктора Родрига.

— Что вы выдумываете, Катрфей!—воскликнул он.— Женская рубашка может дать королю только женское счастье, которое явится для него несчастьем и позором. Я не буду здесь разбирать, Катрфей, более ли способна к счастью женщина, чем мужчина. Теперь не место и не время для этого, время идти обедать. Физиологи приписывают женщине более тонкую чувствительность, чем у нас. Но это все общие отвлеченности, попадающие мимо цели и пикого не задевающие. Я не знаю, приспособлено ли наше общественное устройство, как вы полагаете, скорее к счастью женщин, чем к счастью мужчин. Но я вижу, что в нашем обществе они не воспитывают детей, не ведут хозяйства, ничего не знают, ничего не делают, умирая, тем не менее, от усталости. Они погибают от блистания, вроде свечки; не знаю, завидная ли эта доля. Но дело не в этом. Может быть, когда нибудь будет только один пол, может быть,—три и даже больше. В таком случае половая мораль будет богаче, разнообразнее и обильнее. В ожидании у нас два пола, в каждой женщине много мужчины, а в каждом мужчине—женщины, но тем не менее оба пола сильно разнятся друг от

друга. У каждого своя натура, свои нравы и законы, свои удовольствия и заботы. Если вы феминизируете его идею счастья, то каким ледяным взором станет смотреть отныне король на мадам де-ла-Пуль?.. И, быть может, по своей ипохондрии и мягкости он дойдет до того, что опозорит честь нашего славного отечества. Не этого ли хотите вы, Катрфей? Взгляните в королевской галлерее на гобелен с историей Геркулеса и посмотрите, что случилось с этим героем, которому особенно не везло в рубашках. Как только он надел рубашку Омфалы, то мог только прясть лен. Вот участь, которую ваша неосторожность готовит королю!

— О! о!—вскричал обер-шталмейстер,—будем считать, что я ровно ничего не сказал и прекратим разговор об этом

IV.

Иеронимо.

Испанское посольство сверкало в ночном мраке. Отблески его огней золотили облака. Гирлянды огней вдоль аллей парка придавали ближайшей листве прозрачность и блеск изумрудов. Бенгальский огонь румянил над черными деревьями небо. Невидимый оркестр бросал легкому ветру страстные звуки. Изящная толпа гостей покрывала лужайку, фраки двигались в темноте, мундиры поблескивали крестами и лентами; фигуры в светлых платьях легко скользили по траве, оставляя за собою запах духов.

Катрфей, увидя двух знаменитых государственных мужей, президента совета и его предшественника, вместе, под статуей Фортуны, хотел подойти к ним. Но Сан-Сильвэн отговорил его:

— Они оба несчастны!—сказал он,—один не может утешиться, потеряв власть, другой трепещет, как бы не потерять ее. И их честолюбие тем более достойно сожаления, что тот и другой более свободны и имеют большую власть в частной жизни, чем в управлении, где они могут держаться только смиренным и позорным подчинением

капризам Палаты, слепым народным страстям и интересам финансистов. С таким жаром они стремятся только к пышному упадку. Ах, Катрфей, оставайтесь с вашими до-езжачими, лошадьми, собаками и не добивайтесь управлять людьми.

Они удалились.

Едва сделали они несколько шагов, как услышали из-за боскета взрывы смеха; они вошли туда и увидели толстого, небрежно одетого человека, который, рассевшись на четырех стульях, сочным голосом рассказывал разные истории многочисленному обществу, не спускавшему глаз с его губ древнего сатира и с его сверхчеловеческого лица, будто вымазанного Дионисийским виноградным соком. Это был знаменитейший и популярнейший человек во всем королевстве—Иеронимо. Он говорил много, весело, пространно, острил на ветер, рассказывал историйки, то превосходные, то менее удачные,—всегда смешные. Рассказывал он, что однажды в Афинах произошла социальная революция и имущество было разделено так же, как и женщины. Но вскоре некрасивые и старухи стали жаловаться, что их обогнали; тогда издали закон, обязывавший мужчин сначала пройти через старых и безобразных женщин, а потом уже достигать молодых и красивых. С крепкою веселостью описывал он комические браки, смешные об'ятия и храбрость испуганных молодых людей при виде их любовниц с гноящимися глазами и с каплей на носу, словно щелкающих орехи носом и подбородком. Затем он рассказывал сальные анекдоты о немецких евреях, о попах, крестьянах,—целый выводок веселых и занятных побасенок.

Иеронимо славился как необыкновенный оратор. Он говорил, и говорило все его туловище, с головы до ног. И тот же самый человек, который сегодня потешал праздное общество смешными историями, накануне заставлял в парламенте трепетать министров, вызывая громы аплодисментов. И отголоски его речей волновали все общество. Ловкий в своем неистовстве и расчетливый в своих увлечениях он сделался главою оппозиции, не порывая с властями и, работая среди народа, вращался в аристократическом обществе. Его называли человеком своего вре-

мени. Но он был человеком часа: его ум постоянно приспособлялся к месту и моменту. Он мыслил всегда к стати; его обширный и банальный гений соответствовал банальности граждан; его огромная посредственность заставляла забывать все мелкое и великое кругом: видели только его одного. Одно здоровье его уже могло обеспечить ему полное счастье; оно отличалось такой же прочностью и массивностью, как и его душа. Любитель выпить, большой охотник до жареного и свежего мяса, он пользовался львиною долей в радостях этого мира. И слушая его, Катрфей и Сан-Сильвэн, смеясь вместе с остальными, подталкивали друг друга локтем, одним глазом поглядывая на его рубашку, которую Иеронимо щедро полил соусами и винами во время веселой пирушки.

Тут по лужайке проходил гордо и одиноко посланник заносчивого народа, который торговался с королем Кристофом из-за своей корыстной дружбы. Иеронимо тотчас изменился; спокойная и ласковая важность разлилась по его лицу, придушенная звучность голоса самой благородной лаской льстиво заласкала слух посланника. Весь его вид выражал, что он понимает иностранные дела, конгрессы и с'езды. Даже его галстук веревочкой, рубашка, которая топорщилась, слоновьи панталоны, все чудесно приспособилось к дипломатическому достоинству и виду посланников. Гости разбрелись в разные стороны, а обе знаменитости долго толковали между собой самым дружелюбным и даже интимным образом, что было очень замечено политическими людьми и дамами, делающими карьеру.

— Иеронимо,—говорил один,—будет министром иностранных дел, когда захочет.

Австрийская посланница, глядя на него через лорнет, проговорила:

— Умный малый. Он далеко пойдет.

По окончании разговора Иеронимо сделал тур по саду вместе с своим верным Жобеленом, похожим на цаплю с совиной головой, с которым он не расставался. Старший ад'ютант и обер-шталмейстер пошли за ними следом.

— Вот рубашка, которую мы ищем,—шепотом сказал Катрфей.—Только отдаст ли он нам ее. Он социалист и находится в оппозиции к королевскому правительству!

— Ну! он не злой человек,—отвечал Сан-Сильвэн,—и притом умен. Он не должен желать перемен, раз он в оппозиции. Он не ответствен, его положение превосходно, он должен за него держаться. Да и истинный представитель оппозиции всегда консервативен. Или я сильно ошибаюсь, или этот демагог был бы очень раздосадован, если бы он повредил королю. Если мы как следует поторгуемся, он отдаст рубашку. Он договорится со двором, как Мирабо. Нужно только, чтобы он был уверен, что все сохранится в тайне.

Меж тем, как они так говорили, Иеронимо прогуливался, надвинув шляпу на ухо, вертел тросточкой, изливал свое веселое настроение в шутках, островах, смехе, восклицаниях, дурной игре слов, неприличных и грязных каламбурах, в прибаутках.

Тем временем впереди показался герцог Ольнский, законодатель мод и бог молодежи, который, встретив знакомую даму, поклонился ей очень просто, небольшим жестом, сухим, но не лишенным грации. Трибун внимательно поглядел на герцога, насупился и сказал наперснику, положив ему на плечо свою тяжелую руку:

— Жобелен! я отдал бы всю свою популярность и десять лет жизни за то, чтобы научиться носить фрак и обращаться с женщинами так, как этот шалопай.

С него слетела вся его веселость. Теперь он поплелся с мрачно опущенной головой, грустно рассматривая свою тень, которую, как голубого ваньку-встаньку, бросала ему под ноги насмешливая луна.

— Что он говорит? Смеется он, что ли?—с беспокойством спросил Катрфей.

— Он никогда не был так искренен и так серьезен, как в этот момент,—отвечал Сан-Сильвэн.—Вот где его сочащаяся рана. Иеронимо не может утешиться, что ему не хватает аристократического лоску и элегантности. Он не счастлив. Я четырех су не дам за его рубашку.

Время шло, и поиски оказывались труднее, чем предполагалось раньше. Тогда адъютант и шталмейстер реши-

ли пойти в разные стороны, чтобы к ужину сойтись в желтой гостиной и поделиться результатами своих поисков. Катрфей взял на себя расспросы военных, вельмож и помещиков, не оставляя намерения попытать счастья и у женщин. Сан-Сильвэн, как более проницательный, хотел позондировать финансистов и дипломатов.

В назначенный час они сошлись, оба усталые и с вытянутыми физиономиями.

— Я видел одних только счастливчиков,—сказал Катрфей,—но счастье всех было чем-нибудь да омрачено. Военные сохнут от жажды ордена, чина или награды. Успех или отличия соперников портят им печень. От известия, что генерал Тингиль возведен в сан герцога Коморского, одни пожелтели, как шафран, другие позеленели, как ящерицы. Один стал темно-красным—с ним случился апоплексический удар. А наше дворянство сохнет от скуки и хлопот, причиняемых их владениями. Вечно в тяжбах с соседями, разоряемые чиновниками, они отягощены заботами в их тяжелой праздности.

— Мне посчастливилось не больше вашего!—сказал Сан-Сильвэн.—И что меня поражает, так это прямая противоположность причин, вызывающих собою страдания людей. Я видел принца Эстельского, который несчастен потому, что ему изменяет жена, не потому, что он ее любит, а потому, что у него есть самолюбие; видел герцога Моверского, который несчастен потому, что жена ему не хочет изменять, лишая его, таким образом, средств для поддержания его разоренного хозяйства. Один в отчаянии от множества детей; другой от того, что не имеет их. Я встретил горожан, которые только и мечтают о том, чтобы поселиться в деревне, и провинциалов, мечтающих о столице. Я выслушал признания двух кавалеров: один не мог простить себе, что убил на дуэли человека, отбившего у него любовницу; другой был в отчаянии, что промахнулся и не попал в соперника.

— Никогда бы не подумал,—вздыхнул Катрфей,—что так трудно найти счастливого человека.

— Быть может, мы не так взялись за дело,—возразил Сан-Сильвэн,—мы ищем без системы, наобум, и даже не знаем в точности, чего именно ищем. Мы не определили,

что такое счастье. Надо сначала определить это понятие.

— Это будет потерянное время,—возразил Катрфей.

— Простите, — отвечал Сан-Сильвэн,—когда мы его определим, т. е. ограничим, закрепим относительно места и времени, у нас будет больше возможности найти его.

— Не думаю, — сказал Катрфей.

Но, всетаки, они решили посоветоваться по этому поводу с самым ученым человеком в королевстве, господином Шодезег, директором королевской библиотеки.

Солнце уже взошло, когда они вернулись во дворец. Кристоф V провел дурную ночь и нетерпеливо требовал лечебную рубашку. Они извинились за опоздание и вскарабкались на третий этаж, где Шодезег принял их в большой зале, заключающей в себе восемьсот тысяч печатных и рукописных томов.

V.

Королевская библиотека.

Попросив посетителей присесть, библиотекарь указал им рукой на книги, от полу до потолка сплошь закрывавшие все четыре стены.

— Разве вы не слышите?—обратился он к ним.—Разве вы не слышите как они шумят? Я почти оглох от них! Они говорят сразу и на всех языках. Они спорят решительно против всего, против Бога, природы, человека, времени, числа и пространства, против познаваемого и непознаваемого, добра и зла; они все исследывают, оспаривают, все признают, все отрицают. Они приводят доводы и опровергают их. Тут есть легкие и тяжелые, веселые и печальные, пространные и сжатые; многие говорят, чтобы ничего не сказать, считают слоги и соединяют звуки по законам, происхождения и духа которых сами не знают,—эти наиболее довольны собою. Есть сурового и мрачного вида, которые рассуждают исключительно о предметах, лишенных всякого осязательного характера и тщательно укрытых от естественных соприкосновений. Они бытуют в пустоте и двигаются в невидимых категориях небытия,—они упорные спорщики и с

кровавою яростью готовы защищать свои символы. Я не останавливаюсь на тех, что рассказывают историю современную им или прошлую: им никто не верит. Их восемьсот тысяч в этом зале, и не найдется двух, которые одинаково мыслили бы об одном и том же предмете; и даже те, которые повторяют других, не сходятся между собой. Чаще всего они не знают ни того, что сами говорят, ни того, о чем говорили другие.

— Господа, от этого всеобщего шума я сойду с ума, как помешались все те, что жили до меня в этом зале, с его бесчисленным количеством голосов, кроме, разумеется, прирожденных идиотов, подобных моему уважаемому коллеге Фруадефону, которого вы видите сидящим как раз передо мной за составлением со спокойным жаром каталога. Он родился блаженным, блаженным и остался. Он родился элементарным и не стал сложнее. Ибо элементарность не может произвести многообразности, и здесь-то, замечу мимоходом, та трудность, господа, на которую мы наталкиваемся при определении начала всех вещей: причина не может быть единичной, она должна быть двойной, тройной, многократной, что с трудом допускается. У Фруадефона простой ум и чистая душа. Он живет каталогически. Все тома, украшающие эти стены, известны ему по заглавию и формату, что дает ему единственное точное знание, которое можно приобрести в библиотеке. А так как он никогда не проникал в их содержание, то он уберется от рыхлой нерешительности от стоустых заблуждений, ужасных сомнений, ужасного беспоконства, — от всех чудищ, что порождает чтение в плодотворном уме. Фруадефон спокоен, безмятежен, он счастлив...

— Он счастлив,—вскричали в один голос оба искателя рубашки.

— Он счастлив,—продолжал Шодезег,—он не сознает этого. И, быть может, счастье только и возможно при этом условии.

— Увы,—сказал Сан-Сильвэн,—это не значит жить, когда не чувствуешь, что живешь; и не значит быть счастливым, если не сознаешь, что счастлив.

Но Катрфей, не доверявший умозаключениям и во всех вещах полагавшийся только на опыт, подошел к столу, заваленному кучей книг в свиной и телячьей коже, в сафьяне и пергаменте, с деревянными досками, пахнущих пылью, затхлостью, крысами и мышами, за которыми Фруадефон составлял каталог.

— Господин библиотечарь,—сказал он ему,—соблаговолите ответить на мой вопрос. Счастливы ли вы?

— Я не знаю произведения, озаглавленного так,—отвечал старый библиограф.

Катрфей, подняв руки в знак отчаяния, вернулся на свое место.

— Подумайте, господа,—говорил тем временем Шодезег,—что деревня Кибела, носящая г-на Фруадефона на своем цветущем лоне, заставляет его описывать огромный круг вокруг солнца, солнце же влечет г-на Фруадефона вместе с землей и рядом звезд через бездны пространства к созвездию Геркулеса. Почему? Восемьсот тысяч томов, собранных здесь, не могут на это ответить. Мы этого не знаем, да и другого не знаем. Мы ничего не знаем. Причин нашего неведения очень много, но я уверен, что главная из них лежит в несовершенстве языка. Неопределенность слов порождает спутанность наших понятий. Если бы мы обращали больше внимания на определенность терминов, при помощи которых мы рассуждаем, то наши понятия были бы яснее и определеннее.

— Что я говорил вам, Катрфей? —с торжеством воскликнул Сан-Сильвэн.

И обращаясь к библиотечарю, он сказал:

— Г. Шодезег, ваши слова преисполнили меня радостью. И я вижу, что обратившись к вам, мы попали как раз туда, куда следовало. Мы пришли попросить вас определить нам, что такое счастье. Эту услугу просим именем его величества.

— Отвечу, как могу. Определение слова производится на основании его корня и этимологии. Вы меня спрашиваете, что понимается под словом «счастье».

(добрый час). Добрый час—это хорошее предзнаменование, хорошее знамение—выведенное из полета птиц или из их пения в противоположность слову „malheur“ (дур-

ной час, несчастье), которое обозначает неудачное гадание по птицам.

— Но,—спросил Катрфей,—как узнать, счастлив ли данный человек.

— По наблюдению за курицами!—ответил библиотечарь,—самый термин обязывает к этому. «Неиг» происходит от «augurium» (гадание), которое заменяет собою «avigurium» (наблюдение над птицами).

— Но за священными курами уже не наблюдают после римлян!—возразил шталмейстер.

— Но,—сказал Сан-Сильвэн,—разве же счастливый человек это не тот, к которому милостива судьба, и разве не существует определенных признаков—внешних и видимых—удачи?

— Удача,—ответил Шодезег,—это то, что выпадает в хорошую сторону, как неудача—в дурную. Это удар игральных костей.

— Если я понял вас правильно, господа, то вы ищите счастливого человека, то-есть человека, которому птицы только хорошо предсказывают и кости для которого ложатся всегда благоприятно. Это редкий смертный, ищите его между людьми, жизнь которых почти закончена, меж теми, которые лежат уже на смертном одре, меж теми, одним словом, которым уже не надобны советы птиц и удары костей. Потому что только они могут похвастаться верной удачей и постоянным счастьем. Софокл не сказал ли в своем «Царе Эдипе»: «Не будем никого до смерти называть счастливым»...

Советы эти не особенно понравились Катрфею, которому не улыбалась мысль искать счастье после соборования. И Сан-Сильвэн видел мало радости в том, чтобы снимать рубашки с умирающих; но, отличаясь любопытством и философским складом ума, он спросил библиотечаря, не знает ли он таких старцев, которые уже поставили в последний раз на карту свое счастье.

Шодезег покачал головою, встал, подошел к окну и начал барабанить по стеклу. Шел дождь; площадь бы-

В глубине ее вздымался великолепный дворец, украшенный военными трофеями и на фронтоне статуей

Беллоны с каской в виде гидры, в чешуйчатой кирасе, потрясающей римским мечом.

— Ступайте в этот дворец!—сказал он, наконец.

— Что?—с удивлением спросил Сан-Сильвэн.—К маршалу Вольмару?

— Разумеется. Какой смертный может похвастаться большим счастьем, чем победитель Эльбруса и Башкирии? Вольмар один из величайших полководцев, какие когда-либо существовали, и при том—из самых счастливых.

— Его знает весь мир!—сказал Катрфей.

— Который его никогда не забудет,—подхватил библиотечарь.—Маршал Пилон, герцог Вольмар, рожденный в то время, когда народный пыл чуть не обратил в пожар чью поверхность земного шара зараз, сумел исправить эту несправедливость судьбы, бросаясь со своим гением со всем сердечным жаром на все концы земли, где загоралась война. Уже с двенадцати лет он служил в Турции и совершил поход в Курдистан. С тех пор он с равным счастьем сражался во всех известных частях света. Четыре раза он переходил Рейн с такою наглою легкостью, что старая река, увенчанная тростниками, разделительница народов, казалась оскорбленной этим; еще искуснее, чем маршал Саксонский, защищал он линию Лис; он перешел Пиренеи, силою вошел в устье Таго, отпер ворота Кавказа и поднялся по Борисфену. Поочередно он защищал и сражался со всеми нациями Европы и три раза спас свое отечество.

VI.

Маршал, герцог Вольмарский.

Шодезег приказал принести описание кампании герцога Вольмарского. Трое библиотечных служителей принесли их, сгибаясь под тяжестью ноши. Бесконечное количество атласов раскинулось на столе.

— Вот, господа, Штирийская кампания, Палатинская, Караманская, Кавказская и Вистульская. Позиции и передвижения армий обозначены в точности на этих кар-

тах посредством квадратиков с красивыми флажками и план битв указан точно. Разумеется, эти планы составляются обыкновенно после сражений, и это уж дело гения великих полководцев привести в определенную систему капризы случая к их славе. Но только герцог Вольмарский всегда все предвидел. Взгляните на этот план знаменитого Башкирского сражения, где Вольмар разбил турок. Тут он развернул удивительнейший тактический гений. Дело началось в пять часов утра, к четырем часам вечера войска Вольмара, усталые, истощив запасы, колебались в беспорядке; бесстрашный маршал, один при входе на Алютский мост, с пистолетом в каждой руке, стрелял в беглецов. Он уже готовил отступление, когда узнал, что враги, совершенно разбитые, сломя голову бросились к Дунаю. Тотчас он делает быстрый оборот, бросается в погоню за ними и доканчивает их поражение. Эта работа дала ему пять тысяч годового дохода и открыла двери в академию. Так подумайте, господа, можно ли найти человека более счастливого, чем победитель Эльбруса и Башкирии. С неизменным счастьем он провел четырнадцать кампаний, выиграл шестьдесят правильных сражений и три раза спасал от окончательного разгрома свое признательное отечество. Увенчанный славою и почестями, в богатстве и мире, он длил дни священной старости за обычные пределы человеческой жизни.

— А он на самом деле счастлив?—сказал Катрфей.— Что вы скажете об этом Сан-Сильвэн?

— Идем просить у него аудиенции,—ответил старший адъютант короля.

Войдя во дворец, они очутились в вестибюле, где возвышалась конная статуя маршала. На доколе ее были начертаны гордые слова: «Завещаю благодарности отечества и преклонению всего мира обоих детей моих—Эльбрус и Башкирию». Парадная лестница вела два поворота своих мраморных ступеней между стен, украшенных трофеями и знаменами, и обширная ее площадка вела к дверям, створки которых были расцвечены оружием и пылающими гранатами, а над ними красовались три золо-

тые короны, пожалованные королем, парламентом и народом герцогу Вольмарскому, спасителю отечества.

Сан-Сильвэн и Катрфей застыли перед этой закрытой дверью при мысли о герое, от которого она их отделяла; волнение удерживало их на пороге, и они не осмеливались предстать перед столь великой славой. Сан-Сильвэн вспомнил медаль,—выбитую в честь битвы при Эльбрусе, и представлявшую собою маршала, возлагающего венок на статую крылатой победы. Внизу была великолепная надпись: «*Victoria Caesarem et Napoleonem coronavit; major autem Volmarus coronat victoriam*»: «Победой увенчаны были Цезарь и Наполеон; но славнейший их Вольмарус сам увенчал победу». И он пробормотал: «Какой великий человек!» А Катрфей обеими руками сжал свое сердце, готовое от волнения лопнуть.

Они еще не успели овладеть собой, когда, повидимому, из глубины комнат послышались пронзительные крики, мало-по-малу все приближавшиеся. Это был женский визг, смешанный с звуками ударов, после которых слышались легкие стоны. Вдруг, обе половинки двери распахнулись, и по лестнице головой вниз скатился маленький старичок, которого ударом ноги толкнула здоровенная служанка. Разбитый, растерзанный старичок упал в вестибюле на глазах у важных лакеев. Это был герцог Вольмарский.

Лакеи подняли его. Растрепанная, растерзанная служанка зарычала на них сверху:

— Оставьте! К такой дряни только метлой касаться!

И, потрясая бутылкой, прибавила:

— Он хотел отнять у меня водку! По какому праву?

А ну тебя, старый хлам. Будьте спокойны, не я за ним бегала, старая лададь.

Катрфей и Сан-Сильвэн во всю прыть бросились бежать из дворца. Когда они очутились на площади, Сан-Сильвэн заметил, что последний удар костей не был для героя удачным.

— Катрфей,—сказал он затем,—я вижу, что ошибался. Я хотел действовать при посредстве строгого и точного метода и оказался неправым. Наука изменяет нам. Вернемся к обычному здравому смыслу. Руководство-

ваться можно только самым грубым опытом. Так давайте искать счастья, не стараясь определять его.

Катрфей стал пространно изливаться в обвинениях и жалобах на библиотекаря, которого он считал теперь неуместным шутником. Что его сердило всего больше, это видеть свою веру уничтоженной, культ к национальному герою униженным, вапятнанным в его душе. Он страдал от этого. Его страдания были великодушны, а без сомнения, великодушные страдания в самих себе заключают и облегчение, и, так сказать, свою награду; они легче переносятся, удобнее, с лучшей храбростью, чем страдания заинтересованные и эгоистические. Было бы несправедливо желать, чтобы было иначе. Итак, вскоре у Катрфея душа достаточно освободилась от тяжести, и ум прояснел. Так что он заметил, что дождь мочит его шелковую шляпу и портит вёрс. Он вздохнул:

— Еще испорченная шляпа!

Он был прежде военным и служил королю, как драгунский лейтенант. Поэтому ему пришла мысль: он зашел в склад изданий генерального штаба на углу Большой Конюшенной и купил карту страны и план столицы.

— Никогда не следует отправляться в поход без карт,—сказал он.—Но трудно разобраться в них. Вот наш город с его окрестностями. Откуда же мы начнем. С севера или с юга, с востока или с запада? Замечено, что все города разрастаются в сторону запада. Быть может, в этом заключается известное указание, которым не следует пренебрегать. Весьма возможно, что жители западных кварталов, будучи защищены от глетворного влияния восточных ветров, пользуются лучшим здоровьем, обладают более ровным характером и, следовательно, более счастливы. Или же—начнем с очаровательных берегов этой реки в десяти верстах на юг от города. В это время года там живут самые богатые семейства. А что не говори, счастливых все-таки следует искать среди счастливых!

— Катрфей,—отвечал старший адъютант,—я не враг обществу, не враг общественному благу. Я буду говорить с вами о богатых, как честный человек и добрый гражданин. Богатые достойны уважения и любви; они поддер-

живают государство тем, что богатеют еще больше, и благотворят, сами не сознавая этого; они питают множество лиц, содействующих сохранению и наростанию их богатств. О! Как восхитительно, как прекрасно, как почтенно, как превосходно частное богатство! Как следует ухаживать за ним, охранять его мудрым законодательством. Как несправедливо, неверно, неблагонамеренно, противно самым священным правам, самым почтенным законам, как пагубно для общественных финансов—восставать против богатства! Социальная обязанность—верить в доброту богатых; и как отрадно верить в их счастье! Идем, Катрфей!

VII

Об отношениях богатства к счастью.

Решив начать с самого лучшего, с самого богатого, с Жака Фельжин-Кобура, который владел горами золота, брильянтовыми россыпями и океанами керосина, они долго шли вдоль стен его парка, заключавшего в себе бесконечные луга, леса, фермы, деревни. У каждых ворот владения их посылали к следующим. Устав ходить взад и вперед и беспрестанно возвращаться, они, наконец, увидели на дороге рабочего, который перед решеткой с гербами дробил камень; они спросили у него, не через этот ли вход можно пройти к г-ну Фельжин-Кобуру, которого они желают видеть.

Рабочий с трудом выпрямил свою исхудалую спину и повернулся к ним, изборожденным морщинами, лицом, украшенным сетчатыми очками.

— Фельжин-Кобур это я самый и есть,—отвечал он.

И, заметив их удивление, прибавил:

— Это мое единственное развлечение—дробить камень.

И, согнувшись снова, он ударил молотом по камню, который с сухим треском разлетелся вдребезги.

— Он слишком богат,—сказал Сан-Сильвэн, когда они с Катрфеем торопливо уходили прочь.—Богатство подавляет его, Это—несчастный человек.

Катрфей думал тотчас же отправиться к сопернику Жака Фельжин-Кобура, к королю железа, Иосифу Малиро; его совершенно новый замок угрожающе высился на соседнем холме свои зубчатые башни, стены прорытые сквозными балконами и утыканые подзорными башенками. Сан-Сильвэн отговорил его от этого.

— Вы видели его портрет: у него жалкий вид; из газет известно, что он пиетист, живет, как бедняк, читает мальчикам Евангелие и поет псалмы в церкви. Пойдем лучше к князю Люзанскому. Вот истинный аристократ, который умеет пользоваться своим богатством. Он избегает деловой суеты и не вхож ко двору. Он любитель садов и у него лучшие в королевстве картинные галереи.

О них доложили.

Князь Люзанский принял их в своем кабинете древностей, где можно было видеть лучшую греческую копию с Афродиты Книдской, произведение поистине Праксительского резца, полное изящества. Богиня казалась еще влажной от морских волн. Столик розового дерева, принадлежавший г-же де-Помпадур, заключал в себе лучшие золотые и серебряные медали Греции и Сицилии. Князь, тонкий знаток, сам составлял каталог своих медалей. Его лупа еще лежала на витрине с геммами, ясписом, ониксом, сардоником, халцедоном, вмещавшими, в пространство с ноготь величиною, фигуры широкого стиля, группы, составленные с подавляющим величием. Он любовно взял со стола бронзового фавна, чтобы посетители полюбовались на очертания и латину, и его выражения были достойны произведения, которое он объяснял.

— Я жду—прибавил он,—картину старинного серебра, чашек, бокалов, лучших, говорят, чем Гильдесхайм и Боско-Реале. Я с нетерпением жду их. Г. де-Кайлюс не знал большего сладострастия, как распаковывать ящики. Я его понимаю.

Сан-Сильвэн улыбнулся:

— Меж тем, по слухам, дорогой князь, вы опытный во всех видах сладострастия.

— Вы льстите мне, г. де-Сан-Сильвэн. Но я считаю, что искусство наслаждения — первое из искусств, что

остальные имеют ценность только постольку, поскольку они помогают первому.

Он провел гостей в картинную галерею, где соединялись гармонично серебристые тона Веронеза, амбра Тициана, красноты Рубенса, рыжеватости Рембрандта, серорозовость Веласкеца,—все певучие кисти составляли лучезарную гармонию. Скрипка покоилась, забытая на кресле перед портретом черноволосой дамы с плоскими начесами, с оливковым цветом лица; ее большие карие глаза занимали почти всю щеку портрета неизвестной, черты которой любовной и уверенной рукой воспроизвел Энгр.

— Привняюсь в своей страсти,—сказал князь Люзанский,—иногда, когда я один, я играю перед этими картинами и мне кажется, что я передаю звуками гармонии краски и линии. Перед этим портретом я стараюсь передать крепкую ласку рисунка и, в отчаянии, я откладываю скрипку.

Окно выходило в парк. Князь и гости оперлись на балюстраду балкона.

— Какой дивный вид!—воскликнул Катрфей и Сан-Сильвэн.

Террасы, украшенные статуями, померанцевыми деревьями и цветами, пологими лестницами плавно спускались к лужайке, окаймленной грабинником, и к фонтанам, в которых воды прозрачными струйками били из раковин тритонов и урн нимф. Направо и налево море велени, раскинуло свои спокойные волны вплоть до далекой реки, серебристые излучины которой блеснули через тополя у окутанных розоматой дымкой холмов.

Еще недавно улыбавшийся, князь вдруг с досадливой озабоченностью устремил взор на один из пунктов открывшейся картины.

— Эта труба!—пробормотал он изменившимся голосом, указывая пальцем на фабричную трубу, дымившую в расстоянии полуверсты от парка.

— Труба?—переспросил Катрфей.—Да ведь ее не видно совсем!

— Я только ее и вижу,—отвечал князь.—Она портит мне весь этот вид, она мне портит всю природу, она мне

портит жизнь. И зло это непоправимо. Труба принадлежит акционерному обществу, которое ни за какие деньги не соглашается продать фабрику. Я перепробовал все средства, чтобы замаскировать ее—ничего не выходит. Я болен от этого...

И, отойдя от окошка, он повалился в кресло.

— Мы должны были предвидеть это,—сказал Катрфей, садясь в карету. — Он слишком утонченный человек—он несчастен.

Перед тем, как продолжать свои поиски, они на минуту присели в садике кабачка, расположенного на вершине холма, откуда открывался вид на прекрасную долину, светлые извивы реки и овальные островки. Не обращая внимания на две неудачных попытки, они все еще надеялись найти счастливого миллиардера. Им оставалось посетить в этой местности еще около дюжины богачей, среди которых были г.г. Блох, Потикэ, барон Николь, самый крупный промышленник в королевстве, и маркиз Грантом, самый богатый из всех и происходящий из знаменитого рода, одинаково одаренного богатством и знатностью.

Около них какой-то длинный худой человек, согнутый, как коромысло, пил молоко. Большие бледные глаза его были низко посажены, нос спускался ко рту. Кажется, он был удручен печалью и с сожалением смотрел на ноги Катрфея. После двадцати минут созерцания их, он мрачно и решительно встал, подошел к обер-штампейстеру и, извинившись за назойливость, сказал:

— Сударь, разрешите мне предложить вопрос, имеющий для меня громадную важность. Сколько вы платите за ваши ботинки?

— Несмотря на странность вопроса,—ответал Катрфей:—я не вижу причин, почему бы мне и не ответить. Я заплатил за эту пару шестьдесят пять франков.

Незнакомец долго сравнивал обувь у себя и собеседника. Потом, поблуднев, взволнованным голосом сказал:

— Вы сказали, что заплатили за ботинки шестьдесят пять франков. Уверены в этом?

— Разумеется.

— Подумайте о том, что вы говорите!

— Однако,—буркнул Катрфей, который уже начал терять терпение,—вы комичный сапожник!

— Я не сапожник,—мягко отвечал незнакомец. — Я маркиз Грантом.

Катрфей поклонился.

— Сударь,—продолжал маркиз,—я так и предчувствовал: увы! я снова ограблен! Вы платите за ваши ботинки шестьдесят пять франков, а я, за совершенно такие же — девяносто. Тут для меня дело не в цене: цена пустяки. Но я не могу переносить мысли, что меня постоянно обкрадывают. Кругом себя я вижу только непорядочность, лицемерие, ложь, мошенничество, и меня в ужас приводит богатство, которое развращает всех людей, которые приближаются ко мне — слуг, экономов, поставщиков, соседей, друзей, женщин, детей. Это делает их для меня отвратительными и презренными. Мое положение ужасно. Я никогда не могу быть уверен, что вижу перед собой честного человека. И от того, что сам я принадлежу к человеческой породе, мне делается стыдно и мерзко на душе.

И маркиз склонился к чашке молока, вздыхая:

— Шестьдесят пять франков! Шестьдесят пять франков!

На дороге раздались стоны и жалобы, и королевские посланные увидели старика, который стонал; его сопровождали двое ливрейных лакеев.

Эта картина взволновала их, но гарсон кабачка равнодушно оказал им:

— Пустяки. Это — барон Николь, который так богат. Он помешался на том, будто бы разорился; вот он и жалуется день и ночь.

— Барон Николь? — воскликнул Сан-Сильвэн: — еще один из числа тех, у кого вы хотели попросить рубашку, Катрфей!

После этой последней встречи они отказались от поисков спасительной рубашки среди богачей королевства. И так как они были недовольны результатами дня и боялись встретить во дворце дурной прием, то стали сваливать друга на друга свою неудачу.

— Что за идея пришла вам в голову, Катрфей, отправиться на поиски к людям, которые являются интересными разве только для тератологов? Ведь у них — нравы, воззрения, мирозозерцание—все нездорово, ненормальное. Это какие-то чудовища!

— Что! Да разве вы не говорили мне, Сан-Сильвэн, что богатство—добродетель, что верить в доброту богатей, социальная обязанность, и так отрадно верить в их счастье?.. Будьте осмотрительны: бывает богатство и богатство, Сан-Сильвэн. Когда дворяне беднеют, а разночинцы богатеют—значит, в государстве все идет шиворот на выворот...

— Катрфей, мне очень неприятно сказать вам это, но вы понятия не имеете о современном государственном строе. Вы не понимаете эпохи, в которую живете. Ну, да это ничего. А что, если теперь мы попытаем счастье среди золотой середины? Что вы думаете? Мне кажется, будет очень умно побывать завтра на приемах столичных дам, как титулованных, так и буржуазных. Мы сможем наблюдать там всякого рода людей и, по моему мнению, нужно начать со скромной буржуазии.

VIII.

Столичные салоны.

Так они и сделали.

Прежде всего, они явились к мадам Сун, жене фабриканта питательных порошков, фабрика которого находилась на севере. Они застали обоих Сунов в большом отчаянии от того, что их не приняли у мадам Эстерлин, жены депутата-горнозаводчика.

Они пошли к мадам Эстерлин и застали ее с супругом в большом огорчении от того, что их не приняли у мадам де-Коломбе, жены пэра королевства, бывшего министра юстиции.

Они пошли к госпоже де-Коломбе и застали пэра и пэрессу в бешенстве, что им не удастся вапросто бывать у королевы.

Посетители, которых они встречали в этих домах, были не менее несчастливы, огорчены, взбешены. Их снедали болезни, заботы, денежные затруднения. Те, у кого что-нибудь было, были, боясь потерять это, еще несчастнее тех, у кого ничего не было. Остававшиеся в тени хотели быть на виду, бывшие на виду—выдвинутые еще более. Большинство из них изнывало от работы, а те, кому нечего было делать, страдали от скуки больше, чем от самого сурового труда. Большинство страдало от несчастья других, от болезни жены или любимого ребенка. Очень много было таких, которые страдали от воображаемой болезни или от боязни заразиться. В то время в столице свирепствовала эпидемия холеры, и рассказывали, что некий финансист, из боязни заражения ею и не видя достаточно верного убежища, покончил с собою самоубийством.

— Самое худшее,—сказал Катрфей,—это то, что всем этим людям мало действительных страданий, которые градом на них сыпятся, и они погружаются еще в целый океан страданий воображаемых.

— Воображаемых страданий не существует,—отвечал ему Сан-Сильвэн.—Все страдания становятся реальными, когда их испытываешь, и призрак боли является действительной болью.

— Все-таки,—возразил Катрфей,—когда у меня выходит камень величиной с утиное яйцо, так я хотел бы, чтобы это было одно воображение...

И Сан-Сильвэн еще раз сделал наблюдение, что очень часто люди огорчаются по причинам совершенно противоположным.

В салоне г-жи де-Коломбье он поочередно беседовал с двумя людьми высоко-интеллигентными, просвещенными, культурными, которые различными изворотами, произвольно придавая их своим мыслям, открыли ему несчастье, которым оба были глубоко поражены. Обоим причиняло заботы общественное состояние, но каждый был обеспокоен по своему. Г. Бром жил в вечном страхе перемен. Среди царившей устойчивости, благоденствия и мира, которыми наслаждалась страна, он боялся смятений и опа-

сался всеобщего переворота. Когда он развешивал газеты, его руки всегда дрожали, каждое утро он ожидал найти там известия о мятежах и восстаниях. Под этим впечатлением самые незначительные и обыденные факты вырастали в его глазах в предвестия революций в начало катаклизмов. Думая, что он накануне всемирной катастрофы, он жил в вечном ужасе.

Забота совершенно противоположного характера, более странная и редкая, угнетала г. Сандрика. Покой ему был скучен, общественный порядок выводил из терпения, мир казался ему отвратительным, возвышенное однообразие божеских и человеческих законов убивало его. Втайне он призывал перемены и, делая вид, что боялся катастроф, вздыхал о них. Человек добрый, кроткий, любезный, человечный, он не понимал других развлечений, кроме яростных переворотов в стране, на земном шаре, во вселенной, выискивая даже в звездах столкновения и пожары. Разочарованный, убитый, печальный, мрачный, когда слог газетных статей и вид улиц доказывал ему невозмутимое спокойствие нации, он страдал от этого тем более, что, зная людей и имея деловой опыт, понимал, как силен у народов дух консерватизма, традиции, подражательности и повиновения и как ровно и медленно подвигается общественная жизнь.

На приеме г-жи де-Коломбье Сан-Сильвэн заметил еще большие и чреватые большими последствиями нестройства.

В углу маленькой комнаты, г. де-ла-Галисоньер, председатель гражданской палаты, в полголоса мирно беседовал с г. Ларив дю-Мон, заведывающим зоологическим садом.

— Откроюсь вам друг мой,—говорил г. де-ла-Галисоньер,—мысль о смерти убивает меня. Я думаю о ней беспрерывно, умираю от этой мысли беспрерывно. Смерть ужасает меня не сама по себе, так как она ничто, но тем, что за нею следует,—будущая жизнь. Я верю в нее, у меня есть вера, уверенность в моем бессмертии. Рассудок, инстинкт, наука, все доказывает мне существование бессмертной души, все мне говорит, что природа происхождения и цели человеческие таковы, как

об этом учит нас Церковь. Я—христианин, я верю в вечные муки, ужасный образ этих мучений преследует меня непрерывно, ад пугает меня, и этот страх, сильнейший всякого другого чувства, уничтожает во мне надежду и добродетели, необходимые для спасения, ввергает меня в отчаяние и подвергает отлучению, которого я опасаюсь. Страх осуждения, ужас перед адом, ввергает меня в него, и еще при жизни я заранее испытываю вечные муки. Никакое мучение не может сравниться с моим, и я чувствую его с году на год, со дня на день, с часу на час все более жестоко, так как каждый день, каждая минута приближает меня к тому, что меня ужасает. Моя жизнь агония, полная тоски и ужаса.

При этих словах, чиновник махал руками, словно отстраняя неутасимый огонь, которым он чувствовал себя окруженным.

— Я вам завидую, друг мой,—вздыхнул г. Ларив дю Мон,—вы счастливы в сравнении со мною. Меня терзает та же мысль о смерти, но как она отличается от вашей и насколько она ужаснее! Мои занятия, наблюдения, постоянное соприкосновение с сравнительной анатомией и с тщательными исследованиями о составе материи слишком убеждают меня в том, что слова: душа, дух, бессмертие, бестелесность обозначают только физические явления или отрицания этих явлений, и что для нас конец жизни есть вместе с тем и конец нашего сознания, так что смерть заканчивает наше полнейшее уничтожение. То, что следует за жизнью, не имеет слова для определения, потому что термин небытие, употребляемый нами, знак отрицания перед всей природой. Небытие, это—бесконечное ничто и это ничто окружает нас. Оттуда мы приходим, туда идем. Мы находимся между двух бездн небытия, как раковины на море. Небытие невозможно и достоверно непостижимо и реально. Видите ли, несчастье людей, несчастье и преступление в том, что они открыли подобные тайны. Другие животные их не знают, и мы не должны были никогда их знать. Быть и перестать быть—от ужаса при этой мысли у меня волосы встают дыбом. Она меня не покидает. То, чего не будет, портит мне то, что существует, и небытие раньше времени

поглощает меня. Жестокая бессмыслица. Я чувствую, вижу это.

— Я более достоин жалости, чем вы,—возразил де-ла-Галисоньер.—Каждый раз, что вы произносите это слово, это коварное и восхитительное слово «небытие», его сладость ласкает мою душу и прельщает меня обещанием сна и покоя, как подушка больного.

Но Ларив дю-Мон продолжал:

— Мои страдания неисчерпаемое ваших, ведь и чернь переносит мысль о вечном огне, между тем, как требуется недюжинная сила души, чтобы быть неверующим. Религиозное воспитание, мистические мысли внушили вам страх и ненависть к человеческой жизни. Вы не только христианин и католик, вы янсенист, и у вас внутри та бездна, с которой соприкасался Паскаль. Я же люблю жизнь, земную жизнь, жизнь как она есть, подлую жизнь. Я люблю ее грубой, животной и низкой, я люблю ее грязной, нечистой, испорченной; люблю ее тупой, глупой, жестокой, люблю ее в ее непристойности, позоре, ее бесчестии, с ее грязью, безобразием, вонью, норчей и заразой. Чувствуя, что она ускользает от меня, бежит, я дрожу, как трус, и схожу с ума от отчаяния.

По воскресеньям, по праздникам я хожу по населенным кварталам, мешаюсь в толпу, наводняющую улицы, втираюсь в кучки мужчин, детей, что собираются около бродячих певцов или перед балаганами. Я прусь о грязные юбки, о засаленные блузы, я вдыхаю сильный и теплый запах пота, волос, дыханий. Мне кажется, что в этом кишении жизни я дальше от смерти, я слышу голос, говорящий мне: «Только я излечу тебя от страха, внушаемого мною, во мне одной отдохнешь ты от усталости, которую утомляют тебя мои ужасы». Но я не хочу! не хочу!

— Увы!—вздыхнул чиновник,—если мы в этой жизни не исцелимся от болезней, разрушающих нашу душу, смерть не принесет нам покоя.

— Но, что меня бесит,—продолжал ученый,—так это то, что, когда мы оба умрем, я не буду даже иметь удовлетворения сказать вам: «Видите, де-ла-Галисоньер, я был прав.—ничего нет». Я не могу утешаться, что я был прав. А вы никогда не сознаете своей ошибки. Как до-

рого стоит мышление. Вы, друг мой, несчастны потому, что ваша мысль шире и сильнее мысли животных и большинства людей. Я еще более несчастен, потому что более гениален.

Катрфея не очень удивили обрывки этого разговора, которые ему удалось расслышать.

— Это страдания духа,—подумал он,—они могут быть жестоки, но встречаются не часто. Я гораздо больше скорблю о страданиях более обыденных, страданиях и недостатках телесных, любовных страданиях, недостатке денег, которые делают такими трудными наши поиски.

— Кроме того,—обратил его внимание Сан-Сильвэн,—оба эти господина доводят свои взгляды до крайности и потому несчастны. Если бы де-ла-Галисоньер посоветовался с добрым отцом иезуитом, он скоро бы успокоился, и Ларив дю-Мон должен был бы знать, что можно быть неверующим с ясностью души, как Лукреций, с восхищением, как Андрей Шенье. Пусть он вспомнит Гомеровский стих: «Умер Патрокл, стоявший больше тебя» и согласится разделить в один прекрасный день участь своих наставников, древних философов, гуманистов возрождения, современных ученых и стольких других, стоявших больше, чем он. «Умерли Парис и Елена»,—говорит Франсуа Вийон; «мы все смертны», как сказал Цицерон; «все мы умрем», сказала женщина из Священного Писания, благоразумие которой восхваляется во второй книге Царств.

IX.

Счастье быть любимым.

Они отправились обедать в парк Рояль, являющийся самым элегантным местом прогулок в столице Кристофа, вроде Булонского леса в Париже, Камбра в Брюсселе, Гайд-парка в Лондоне, Тиргартена в Берлине, венского Пратера, мадридского Прадо, флорентинских Касшин и Пинчо в Риме. Сидя на свежем воздухе среди блестящей толпы обедающих, они скользили взглядом по большим шляпкам, украшенным перьями и цветами, по блуждаю-

щим павильонам наслаждения, оживленным приютам любви, голубятням, к которым слетаются все желания.

— Мне кажется,—сказал Катрфей,—что предмет наших поисков находится здесь. Как и всякому другому, и мне тоже случалось быть любимым, это—счастье, Сан-Сильвэн... И даже теперь я иногда спрашиваю себя, не единственное ли это счастье на свете. И хоть я и страдаю каменной болезнью, и у меня в мочевом пузыре больше камней, чем в тачке, только что выехавшей из каменоломни, а всетаки временами я чувствую себя влюбленным, словно в двадцать лет.

— Я,—отвечал Сан-Сильвэн,—женоненавистник.—Не могу простить женщинам того, что они одного пола с мадам Сан-Сильвэн. Все они, я это хорошо знаю, не так уродливы, не так глупы, злы, как она, но чересчур достаточно и того, что у них есть кое-что общее с нею.

— Оставьте, Сан-Сильвэн. Говорю вам, что здесь предмет наших поисков, и нам достаточно только протянуть руку, чтобы схватить его.

И, показав на очень красивого молодого человека, сидевшего одиноко за маленьким столиком, он прибавил:

— Вы знаете Жака де-Нависель? Он нравится женщинам, он нравится всем женщинам. Это счастье, или я ничего не понимаю в этом.

Сан-Сильвэн захотел убедиться в этом. Они пригласили Жака де-Нависеля подсесть к ним, и во время обеда дружески разговорились с ним. Но как ни наводили они разговор на его счастье, длинными обходами или внезапными обращениями, прямо, косвенно, намеками или с полной откровенностью, все-таки не могли ничего узнать. Красивое лицо его и изящная речь не выдавали ни радости, ни печали. Жак де-Нависель охотно болтал, казался естественным и откровенным, даже делал признания, но они еще более завлакивали и делали непроницаемым его секрет. Конечно, он был любим, но был ли он от этого счастливым или несчастным? Когда подали фрукты, королевские посланные отказались от попытки узнать это. Усталые, они разговаривали уже без всякой цели и говорили о себе: Сан-Сильвэн о своей жене, Катрфей о

своих камнях, которые устанавливали связь между ним и Монтэнем. За ликерами стали рассказывать истории: историю г-жи Беринь, спасшейся из отдельного кабинета, переодевшись поваренком, с корзиной на голове; историю генерала Дибоннер и баронессы Бильдерман, историю министра Визир и г-жи Серэс, которые, как Антоний и Клеопатра, погубили империю в поцелуях, и массу других, старых и новых. Жак де-Нависель рассказывал им восточную сказочку:

— Однажды утром, некий молодой багдадский купец, почувствовав себя об'ятым жадой любви, вслух высказал желание, чтобы его любили все женщины. Подслушавший его джин явился к нему и сказал: «Отныне твое желание будет исполнено: начиная с сегодняшнего дня тебя будут любить все женщины, какие только тебя увидят». Тогда молодой купец в восторге вскочил с кровати и, в чаянии неистощимых и разнообразных наслаждений, отправился на улицу. Но едва успел он сделать несколько шагов, как его увидела отвратительная старуха, процеживавшая в погребе вино; ее с такой силой охватила любовная страсть к юноше, что она стала посылать ему через люк воздушные поцелуи. Он с отвращением отвернулся от нее, но старуха за ногу втащила его к себе в погреб, откуда и не выпускала в течение двадцати лет.

Только успел Жак де-Нависель кончить сказочку, как к нему подошел метрдотель и сообщил, что его ждут. Он встал и, с поникшей головой и грустью во взоре, направился к калитке, у которой его поджидала в коляске какая-то довольно суровая фигура.

— Он только что рассказал нам свою собственную историю,—сказал Сан-Сильвэн.—Багдадский купец—это он сам.

Катрфей хлопнул себя по лбу и сказал:

— Да ведь мне же говорили, что его стережет дракон, а я совсем вабыл!

Они поздно вернулись во дворец, не имея при себе никаких рубашек, кроме своих собственных, и застали короля Кристофа и г-жу де-ла Пуль, слушавших со слезами сонату Моцарта.

Так же, как и король, мадам де-ла Пуль сделалась меланхоличной, носилась с мрачными мыслями и нелепыми страхами. Ей казалось, что ее преследуют, что она жертва ужасных злоумышлений; она жила в вечном страхе быть отравленной и заставляла горничную пробовать все блюда за столом. Она испытывала ужас перед смертью, и самоубийство притягивало ее к себе. Состояние здоровья короля еще ухудшалось из-за состояния этой дамы, с которой он проводил грустные дни.

— Художники,—говорил Кристоф V,—это гибельные ремесленники притворства. Они придают плачущим женщинам трогательную красоту и показывают нам Андромак, Артемиз, Магдалину, Эдониз, украшенных слезами. У меня имеется портрет Адриенны Лекуврер в роли Корнелии, оплакивающей прах Помпея: она очаровательна. А как только мадам де-ла-Пуль начинает плакать, ее лицо искажается, нос краснеет: она безобразна до ужаса.

Этот несчастный король, который только и жил надеждой на спасительную рубашку, набросился на Катрфей и Сан-Сильвена, обвиняя их в небрежности, неспособности и неудаче, рассчитывая, быть может, что хоть одно из этих трех обвинений попадет в цель.

— Вы оставляете меня умирать, как мой доктора Машелье и Сомон. Но у тех это хоть ремесло. От вас я ждал другого: я рассчитывал на ваш ум и преданность. Теперь вижу, что ошибался. Вернуться с пустыми руками! и вам не стыдно? Разве же так трудно было вам исполнить поручение? Разве рубашка счастливого человека такая уж редкость? Если вы даже и на это неспособны, то на что вы годитесь? Нет уж, кроме как от самого себя, ни от кого не жди помощи. Это справедливо по отношению к частным лицам, а по отношению к королям—особенно. Отныне я сам буду искать рубашку, которую вы не сумели найти.

И, сбросив ночной колпак и халат, он приказал дать ему одеться.

Катрфей и Сан-Сильвен попробовали удержать его.

— Сир, в вашем состоянии! какая неосторожность!

— Сир, уже полночь!

— Да что вы думаете,—отвечал им король;—по вашему, счастливые люди ложатся спать вместе с курами? Разве не стало более увеселительных мест в моей столице? Разве перевелись все ночные ресторантики? Начальник полиции велел закрыть только притоны, да и они, наверное, открыты. Но мне туда и заходить не придется—я найду то, что мне нужно, на улицах, на скамейках.

Одевшись кое-как, Кристоф V перешагнул через мадам де-ла-Пуль, которая в конвульсиях билась на полу, сбегал по лестнице и пробежал бегом через сад. Катрфей и Сан-Сильвэн в унылом молчании издали следовали за ним.

Х.

Есть ли счастье в самозабвении?

Достигнув широкой дороги, обсаженной вязами, что идет около Пале-Рояля, король заметил молодого человека необыкновенной красоты, который, прислонившись к дереву, радостно созерцал звезды, что чертили по ясному небу свои блестящие, таинственные знаки. Ветерок играл его кудрявыми волосами; отблески небесного света блестели в его глазах.

«Я нашел!»—подумал король.

Он подошел к смеющемуся красавцу, который слегка вздрогнул при его приближении.

— Я искренно сожалею,—сказал король,—что мешаю вашим мечтам. Но вопрос, с которым я хочу обратиться к вам, является для меня вопросом жизни и смерти. Не откажите же ответить человеку, который, в свою очередь, может оказать вам кое-какую услугу, и который не останется неблагодарен. Счастливы ли вы?

— Да, я счастлив.

— И ничто не омрачает вашего счастья?

— Ничто. Разумеется, так было не всегда. Как и большинство людей, я испытывал все огорчения жизни, и испытывал, быть может, острее других. Эти огорчения не были последствием моей частной жизни или сложившихся обстоятельств, а происходили от общих всему че-

ловечеству причин. Я знал большие страдания, но теперь они окончательно рассеялись. Я наслаждаюсь полным покоем, нежной радостью; я весь полон довольством, ясностью, полной удовлетворенностью. Тонкая радость всего меня проникает. Вы застали меня в лучший момент моей жизни, и раз судьба послала мне вас, то я делаю вас свидетелем моего счастья. Наконец-то я свободен, избавлен от всех мук и страхов, гнетущих людей, от честолюбивых стремлений, которые гложут их, от безумных надежд, которые их обманывают. Я выше судьбы; я ускользаю от обоих непобедимых врагов человечества—пространства и времени. Я смеюсь над роком. Я обладаю абсолютным счастьем и сливаюсь с божеством. И это блаженное состояние—плод моих собственных трудов; оно является следствием принятого мною решения, столь мудрого, прекрасного, красивого, добродетельного, действительного, что, исполнив его,—обоготворяешься. Я плаваю в радости, я восхитительно опьянен... В полном сознании и в божественной полноте значения этого слова, где все опьянения, все восторги, все очарования,—я произношу: «Я не сознаю себя более!».

Он вынул часы.

— Час настал. Прощайте!

— Одно слово. Вы могли бы спасти меня. Я...

— Спасение возможно только для тех, кто следует моему примеру. Прошу не ходить за мной. Прощайте!

И незнакомец юношески-бодрым героическим шагом скользнул в лес у дороги. Несмотря на запрещение, Кристоф последовал за ним. В тот момент, когда он пробирался сквозь кустарник, послышался звук выстрела; король подбежал, раздвинул ветви и увидел юного счастливица лежащим на траве с виском, пронзенным пулей, с револьвером в правой руке.

При виде этого король упал в обморок. Катрфей и Сан-Сильвэн привели его в чувство и отнесли во дворец. Кристоф осведомился о молодом человеке, который на его глазах нашел свое счастье отчаяния. Он узнал, что это был наследник знатной и богатой семьи, столь же одаренный, сколь прекрасный, которому неизменно благоприятствовала судьба.

XI.

Сигизмунд Дукс

На следующий день, в поисках целебной рубашки, Катрфей и Сан-Сильвэн шли пешком по Конституционной улице, когда навстречу им из музыкального магазина показалась графиня Сесиль. Они проводили ее до кареты.

— Что это, г. де-Катрфей, вас не было видно вчера в клинике профессора Кильебефа? И вас также, г. де-Сан-Сильвэн? Напрасно не пришли: было страшно интересно. Профессор Кильебеф пригласил все великосветское общество, и избранников и толпу, на пятичасовую операцию, очаровательную овариотомию. Были цветы, туалеты, музыка; подавали мороженое. Профессор выказал все свое изящество и восхитительную грацию. Были сделаны снимки для кинематографа.

Катрфей не был особенно удивлен этим описанием. Он знал, что профессор Кильебеф делал операции среди роскоши и удовольствий; он пошел бы к нему за рубашкой, если бы не видел знаменитого хирурга несколько дней тому назад совершенно безутешным, ибо ему не удалось оперировать двух самых выдающихся знаменитостей дня: германского императора, кисту которому вырезал профессор Гильмахер, и карлика из Фоли-Бержер, который, проглотив сотню гвоздей, не хотел, чтобы ему вскрывали живот и принимал касторовое масло.

Сан-Сильвэн, остановившись перед витриной музыкального магазина, любовался бюстом Сигизмунда Дукса и внезапно закричал:

— Вот кто нам нужен! вот счастливый человек!

Бюст, очень похожий, представлял правильные и благородные черты,—одно из гармоничных и полных лиц, напоминающих земной шар,—хотя очень лысый и уже старый; великий композитор казался столь же очаровательным, сколь великолепным. Его череп закруглялся, как церковный купол, но его нос, немного толстый, посажен был с любовной и профанной крепостью; подстриженная борода не скрывала мясистых губ афродизийско-

го, вакхического рта. Это было верное изображение гения, сочинившего благочестивейшее оратории и самую страстную, самую чувственную музыку для театра.

— Как это мы до сих пор не подумали о Сигизмунде Дуксе, который наслаждается так полно своей необъятной славой и умеет извлекать из нее все лучшее, и как раз настолько безумен, чтобы избежать скуки и стесненности своего высокого положения. Самый высоко нравственный и самый чувственный гений. Счастлив, как бог, спокоен, как животное, соединяет в любви с самой нежной изысканностью самый грубый цинизм!

— О, это богатый темперамент, — сказал Катрфей. — Его рубашка может принести только пользу его величеству. Идем ее просить!

Их ввели в большой, обладавший отличным резонансом, как кафе-концерт, зал, в глубине которого на помосте в три ступеньки вздымался гигантский орган. В венецианской шапочке и парчевом стихаре сидел перед ним Сигизмунд Дукс, импровизируя мелодии, и под его пальцами рождались звуки, волновавшие души и растоплявшие сердца. На трех ступеньках помоста, обтянутых гурпуром, у ног его лежала толпа женщин, очаровательных, высоких, тонких и змейстых, или крутых, полных массивной пышности, но одинаково прекрасных желанием и любовью, пламенных и томных. В обширном холле находилась трепещущая толпа, состоявшая из молодых американок, еврейских финансистов, дипломатов, итальянских балерин, католических, англиканских и буддистских священников, черных принцев, настройщиков, мужчин, одетых женщинами, и женщин, одетых мужчинами, репортеров, лирических поэтов, актрис, антрепренеров, фотографов. Все это теснилось, толкалось, составляя одну обожающую массу, над которой шевелились, взобравшись на колонны, верхом на канделябрах, повиснув на люстрах, молодые и ловкие поклонники. Вся эта бесконечная масса плавала в опьянении. Все это представляло собою то, что именовалось «интимным утренним собранием».

Орган умолк. Женщины роем окружили маэстро. На моменты Дукс выныривал из них, словно блистательное

светило, чтобы снова погрузиться обратно. Он был нежен, вкрадчив, ласков. Любезный ровно настолько, насколько это следовало, великий, как мир, и очаровательный, как любовь, он показывал в седой бороде детские зубы и всем говорил легкие и красивые слова, которые очаровывали, и которых нельзя было запомнить, так что прелесть их не пропадала, увеличенная легкой непонятностью. Одинаково любезен и добр был он и с мужчинами. Увидев Сан-Сильвена, он три раза поцеловал его и заявил, что сердечно любит его. Ад'ютант короля не стал терять времени даром: он попросил его уделить минутку для конфиденциального, от королевского имени, разговора и, объяснив, каким важным поручением был облечен, сказал:

— Маэстро, дайте мне вашу рубашку...

Он остановился, увидев, как исказились черты Сигизмунда Дукса.

На улице шарманка заиграла Жонкиль-польку. И с первых же тактов великий человек побледнел. Эта Жонкиль-полька, каприз сезона, была сочинена музыкантом из ресторанного оркестра, неким Букеном, человеком ничтожным и бедным. А маэстро, увенчанный сорока годами славы и любви, не мог перенести того, что капля одобрения перепадала на долю Букена. Он относился к этому, как к невыносимому оскорблению. Сам Бог ревнив и огорчался неблагодарностью людей. Сигизмунд Дукс не мог слушать Жонкиль-польку без того, чтобы не заболеть. Он нетерпеливо бросил Сан-Сильвена, толпу поклонников, великолепную стаю трепещущих женщин, и отправился в уборную, где наплевал полный таз желчи.

— Он достоин сожаления, — вздохнул Сан-Сильвен.

И ушел, потащив за собою Катрфея, из квартиры несчастного музыканта.

XII.

Порок есть ли добродетель?

Целых четырнадцать месяцев с утра до вечера и с вечера до утра они рыскали по всему городу и в окрест-

постях, наблюдая, ища, расспрашивая—и все понапрасну. Наконец, король, силы которого со дня на день уменьшались и который понял теперь всю трудность подобных розысков, отдал приказ министру внутренних дел составить для этой цели целую комиссию под председательством Катрфея, Шодезега, Сан-Сильвена и Фруадефона, которой было поручено наводить тайные справки о счастливых людях в королевстве, для чего комиссии были даны все права и полномочия. К делу была привлечена также полиция, которая проявила необыкновенное усердие и принялась разыскивать счастливых с ревностью, с какою в других государствах ищут злодеев и анархистов. И стоило кому-нибудь из граждан прослыть счастливым, как за ним сейчас же устанавливался негласный надзор полиции.

Двое сыщиков все время шагали в своих подкованных башмаках под окнами людей, подозреваемых в счастье. Брал ли светский человек ложу в оперу, как сейчас же попадал под надзор. Владелец конюшен, лошадь которого выигрывала на скачках, был уже на счету. Во всех домах свиданий полицейский чиновник за конторкой записывал посетителей. Так как, по наблюдениям г-на начальника полиции, добродетель приносит счастье, все люди, занимающиеся благотворительностью, основатели богоугодных заведений, щедрые жертвователи, покинутые и верные супруги, граждане, отличившиеся самоотвержением, герои, мученики, — одинаково подвергались учету и подробнейшему допросу.

Этот надзор тяготел над всем городом, но совершенно неизвестна была причина его. Катрфей и Сан-Сильвен никому не открывали, что они ищут счастливую рубашку, из страха, как мы уже говорили, что люди честолюбивые или корыстные притворятся вполне счастливыми и предоставят королю, в качестве счастливого, нижнее платье, насквозь прошитое несчастьями, печалями и заботой. Экстренные полицейские меры стали вызывать беспокойство в высших слоях общества, и замечалось известное брожение в городе. Многие очень уважаемые дамы сочли себя скомпрометированными, и разразились скандалы.

Комиссия собиралась каждое утро в Королевской библиотеке, под председательством г. де-Катрфей с участием гг. Тру и Бонкасси, чрезвычайных государственных советников. В каждом заседании средним числом разбиралось по пятнадцати дел. После четырехмесячной работы она не нашла еще указаний на счастливого человека.

Когда председатель Катрфей жаловался на это, г. Бонкасси воскликнул:—Увы! пороки причиняют страдания, а все люди порочны.

Г. Шодезег вдохнул:—Вот у меня нет пороков, и я в отчаянии от этого. Жизнь без порока—томление, уныние и печаль. Порок единственное развлечение, которое можно вкушать в этом мире, порок—краска существования, соль души, искра ума. Да, что! порок—единственная своеобразная, единственная творческая сила человека; это попытка организации природы против природы, поставление человеческого царства выше царства животных, человеческого творчества против творчества безымянного, утверждение сознательного мира в бессознательной вселенной; порок—единственное имущество, собственное человеку, его настоящее наследие, его истинная добродетель, в буквальном значении этого слова, раз добродетель—произведение рук человеческих (*virtus, vir*). Я пытался приобрести его и не мог, нужны для этого гений, естественность. Неестественный порок—уже не порок.

— Ах, так, спросил Катрфей,—что вы называете пороком?

— Я называю пороком привычное предрасположение к тому, что большинство считает ненормальным и дурным, то-есть индивидуальную нравственность, индивидуальную силу, индивидуальную добродетель, красоту, возможность, гений.

— Прекрасно,—сказал советник Тру,—нужно только сговориться.

Но Сан-Сильвэн живо опроверг мнение библиотекаря.

— Раз у вас нет пороков,—сказал он,—так и не говорите о них. Вы не знаете, что это такое. У меня они есть, у меня их много, и уверяю вас, что они мне приносят больше неприятностей, чем удовольствия. Ничего нет тяжелее порока. Мучаешься, горячишься, выбиваешься из

сил, чтобы его удовлетворить, но раз он удовлетворен, чувствуешь огромное отвращение.

— Вы бы так не говорили,—возразил Шодезег,—если бы у вас были хорошие пороки, благородные пороки, достойные, властные, высокие, поистине, добродетельные. Но у вас только маленькие трусливые пороки, наглые и смешные. Вы—великий противник богов.

Сан-Сильвэн сначала обиделся на эти слова, но библиотекарь доказал ему, что в них нет ничего оскорбительного. Сан-Сильвэн охотно согласился с этим и с спокойной твердостью высказал следующее замечание:

— Увы, добродетель, как и порок, порок как и добродетель,—усилие, принуждение, борьба, забота, труд, изнеможение. Вот почему, все мы несчастны.

Но председатель Катрфей стал жаловаться, что голова у него готова лопнуть.

Из этой комиссии счастья вышло то же, что из всех парламентских и экстра-парламентских комиссий всех стран и времен,—из нее ничего не вышло, и, прозаседав пять лет, члены ее разошлись, не придя ни к какому полезному результату.

Король не поправлялся. Неврастения, словно Морской старик, чтобы мучить его, принимала различные ужасные формы. Он жаловался, что все его органы сделались блуждающими, непрерывно двигаются в его теле и перемещаются в непривычные места, почки в глотку, сердце в икры, кишки в нос, печень в горло, мозг в желудок.

— Вы не можете себе представить,—прибавлял он,—как эти ощущения тягостны и какой сумбур вносит это в мысли!

— Ваше величество,—отвечал Катрфей,—я отлично это понимаю, тем более, что в молодости у меня часто желудок бросался в голову и давал страшный оборот мыслям. Мои занятия математикой очень страдали от этого.

Чем больше Кристоф страдал от своей болезни, тем настойчивее он требовал предписанную ему рубашку.

XIII.

Священник Митон.

— Я начинаю думать,—сказал Сан-Сильвэн Катрфею,—что мы не нашли рубашки потому, что плохо искали. Решительно, я начинаю верить в добродетель и счастье—они неразлучны. Они редки, они прячутся. Мы откроем их под смиренными деревенскими кровлями. Поверьте мне, давайте их искать преимущественно в той суровой гористой местности, которую зовут нашим Тиролем и нашей Савоей.

Через две недели они обошли шестьдесят горных деревушек, не встретив счастливого человека. Все несчастья, свирепствующие в городах, встречались и в этих хижинах, где грубость и невежество обитателей еще усугубляли их. Голод и любовь, два бича природы, поражали несчастных людей еще более суровыми и сильными ударами. Они увидели скряг-хозяев, ревнивых мужей, обманщиц-жен, прислуг-отравительниц, лакеев-убийц, отцов-кровосмесителей, детей, которые опрокидывали квашню на голову задремавшего деда. Единственным удовольствием крестьян было пьянство; сама радость их отличалась зверской грубостью, забавы—жестокостью. Их праздники заканчивались кровавыми побоищами.

По мере того, как Катрфей и Сан-Сильвэн продолжали свои наблюдения, они убеждались, что нравы этих людей не могли быть ни чище, ни лучше; что скупая земля делала и их скупыми; что суровая жизнь делала их нечувствительными к своим страданиям и к страданиям других; что если они были завистливы, жадны, вероломны, лживы, беспрестанно заняты тем, чтобы обманывать друг друга, то все это было естественным следствием их нищеты и несчастий.

— Как могло случиться,—спрашивал сам себя Сан-Сильвэн,—что я на один момент поверил в то, что счастье может обитать в этих лачугах? Это следствие классического образования. Виргилий в своей административной поэме «Георгики», говорит, что поселяне были бы сча-

стливы, если бы знали свое счастье. Следовательно, он признавал, что они ничего не понимают. Но если он и писал так, то делал это по приказу императора Августа, который боялся, что Рим останется без хлеба, и старался не дать деревням обезлюдеть. Виргилий, как и все, знал, что жизнь крестьян очень тяжела. Гезиод представляет ее нам в ужасном виде.

— Верно то,—замечил Катрфей,—что во всех местностях деревенские парни и девушки только одного и желают: получить место в городе. В приморских деревнях девушки мечтают поступить на фабрику сардинок, в утольных местностях парни только и думают, как бы попасть в шахты.

Среди всех этих озабоченных лиц один только человек беззаботно улыбался. Он не умел ни обрабатывать землю, ни пасти скот; не знал решительно ничего из того, что знают все люди, болтал какие-то лишние слова фразы и по целым дням напевал песенку, которую никогда не кончал. Все его восхищало. Он постоянно был на седьмом небе. Одежда его была сшита из разноцветных кусочков, приложенных друг к другу самым причудливым образом. Дети ходили за ним, преследуя насмешками; но так как верили, что он приносит счастье, то никто не делал ему зла, и жители снабжали его всем тем немногим, что нужно было ему для существования. Это был Юртепуа, юродивый. Он ел с собаками у дверей и спал на сеновалах.

Приняв во внимание, что жители всей округи не стали бы без основания верить, что Юртепуа приносит счастье, и после долгих размышлений решив, что он счастлив на самом деле, Сан-Сильвен отправился на поиски его, чтобы снять с него рубашку. Он нашел его распростершимся лиц на церковной паперти в слезах: Юртепуа только что узнал о смерти Иисуса Христа, распятого на кресте ради спасения людей.

Спустившись в деревушку, где мэрком был трактирщик, оба королевских посланца усадили его выпить с ними вина и спросили, не знает ли он случайно счастливого человека.

— Господа,—отвечал им тот,—идите вон в ту деревушку, белые домики которой виднеются там на горе, и отыщите священника Митона: он примет вас очень хорошо, и вы очутитесь в обществе человека не только счастливого, но и вполне заслуживающего своего счастья... На дорогу вам понадобится каких-нибудь часа два.

Мэр предложил им нанять у него лошадей, и после завтрака они двинулись в путь.

У первого же перекрестка их нагнал молодой человек, ехавший верхом на великолепной лошади по той же дороге. У него было открытое лицо, дышавшее довольством и здоровьем. Они вступили с ним в разговор.

Узнав от них, что они направляются к священнику Митону, он сказал:

— Пожалуйста, кланяйтесь ему от меня! Сам я направляюсь несколько выше, в Сизерэ, где я живу посреди великолепных пастбищ. Я очень тороплюсь туда.

Он рассказал им, что женат на самой очаровательной и лучшей из женщин, которая подарила ему двоих детей, прекрасных как божий день, мальчика и девочку.

— Я возвращаюсь из города,—весело прибавил он,—и везу красивые материи с выкройками и модными картинками, по которым можно судить какой вид у костюма. Алиса (так зовут мою жену) даже не подозревает, какой я везу ей подарок. Я вручу ей пакеты, не разворачивая их, и буду иметь удовольствие смотреть, как она с нетерпением будет развязывать узлы своими хорошенькими пальчиками. Она будет очень довольна; ее глаза, светлые и свежие, с восторгом поднимутся ко мне, и она меня поцелует. Мы счастливы с Алисой. За четыре года, как мы женаты, мы с каждым днем любим друг друга все больше и больше... У нас самые лучшие пастбища во всей местности. И наши слуги тоже счастливы: они молодцы и косить, и плясать. Следует заехать к нам как-нибудь в воскресенье, господа; выпьете нашего белого вина и полюбуетесь самыми грациозными девушками и самыми здоровыми парнями в округе, которые подхватывают свою даму в танцах и поднимают ее на воздух, словно перышко. Наш дом в полудне езды отсюда. Надо повернуть направо между этих скал, что в пятидесяти шагах перед

вами и называются Козулиные ноги, перейти мостик, переброшенный через горный поток, и пройти сосновым леском, защищающим нас от северных ветров. Менее, чем через полчаса я буду у своих, и все мы четверо будем очень счастливы.

— Следует взять у него рубашку,—прошептал Катрфей Сан-Сильвэну.—Думается, она будет не хуже рубашки священника Митона.

— Мне тоже кажется,—согласился Сан-Сильвэн.

Когда они обменивались этими фразами, какой-то деревенский парень выскочил из ущелья и молчаливо и мрачно остановился перед путешественниками.

Узнав в шарне одного из своих рабочих, молодой хозяин спросил:

— Что случилось, Ульрих?

Ульрих не отвечал.

— Несчастье? Говори!

— Барин, ваша супруга, в нетерпении увидеть вас, захотела пойти вам навстречу. Мостик обрушился, и она утонула с детьми в потоке.

Оставив юного горца в полубезумье от горя, царедворцы отправились к Митону, и были приняты им в комнате, которая служила ему приемной и библиотекой. На сосновых полках лежали тысячи томов, а на выбеленных стенах висели старинные гравюры с пейзажами Клода Лоррена и Пуссэна; все говорило о культурности и духовных потребностях не всегда встречаемых в сельском духовенстве. Священник Митон, человек средних лет, казался умным и добрым.

Посетителям, которые сказали, будто желают поселиться в этой местности, он расхвалил климат, плодородие и красоту долины. Он угостил их белым хлебом, фруктами, сыром и молоком. Затем пошел в свой плодовый сад, который поражал свежестью и очаровательной чистотой. По стене, выходившей на солнечную сторону, виноградная лоза с геометрической точностью тянулась шпалерами; стволы плодовых деревьев вздымались на равном расстоянии друг от друга.

— Вы никогда не скучаете, батюшка? — спросил Катрфей.

— Время кажется мне слишком коротким, я занят то в библиотеке, то в саду, — отвечал священник. — Оставаясь спокойной и мирной, жизнь моя не перестает быть деятельной и трудолюбивой. Я служу обедни; посещаю больных и бедных. Исповедую прихожан и прихожанок. У бедных созданий не много грехов, но только они рассказывают о них очень длинно. Нужно еще время, чтобы подготовиться к проповедям и преподаванию катехизиса. Это обучение доставляет мне особенно много труда, хотя я и занимаюсь им больше двадцати лет. Так ответственно говорить с детьми! Они верят всему, что им не скажи. Бывают у меня и развлечения. Я совершаю прогулки; они всегда одни и те же, и в то же время — так разнообразны. Пейзаж изменяется вместе со временем года, вместе с днем, часом, минутой; он всегда различен, всегда нов. Зимние вечера я провожу очень мило в обществе старых друзей — аптекаря, сборщика податей и мирового судьи. Мы занимаемся музыкой. Морин, моя служанка, восхитительно печет каштаны, и мы лакомимся ими. Что может быть вкуснее каштанов со стаканчиком белого вина?

— Судары — сказал Катрфей доброму священнику, — мы находимся на службе его величества. Мы пришли к вам с просьбой ответить признанием на наш вопрос, что повлечет за собой для всей страны и всего света большие последствия. Дело идет о здоровье и, быть может, даже о жизни государя. Вот почему мы просим вас извинить нас за наш вопрос и ответить на него, ничего не скрывая и не умалчивая, каким бы странным и неуместным ни показался вам вопрос. Счастливы ли вы?

Митон схватил Катрфея за руку, сжал ее и сказал еле слышным голосом:

— Моя жизнь, это — вечная мука. Я живу среди постоянной лжи. Я — не верую...

XIV и последняя.

Счастливый человек.

Обойдя в течение года понапрасну все королевство, Катрфей и Сан-Сильвэн направились в замок Фонбланд, куда король велел перевезти себя, чтобы дышать свежестью лесов. Они застали его в состоянии полного бес-
силія, взволновавшего весь двор.

Приглашенные не жили в этом замке, который представлял собой не более, как охотничий домик. Старший адъютант и обер-шталмейстер поселились в деревушке и каждый день являлись, через лес, к его величеству. На пути они часто встречали маленького человека, который жил в дупле большого платана. Его звали Муском; он не был красив с своим курносым лицом, выдающимися скулами и расплуснутым носом, с вывороченными ноздрями... Но постоянная улыбка, открывавшая крепкие зубы, придавала приятность его дикому лицу. Каким образом он поселился в дупле платана—никто не знал; но он устроил себе там чистенькую комнату, снабженную всем для него необходимым. Да и по правде говоря, ему мало было нужно. Он жил лесом и прудом, и жил хорошо. Ему прощали неправильный образ жизни, потому что он был услужлив и умел нравиться. Когда дворцовые дамы отправлялись на прогулку в колясках по лесу, он предлагал им, в собственноручно сплетенных из ивовых ветвей корзинках, содовый мед, землянику или кислосладкие дикie вишни. Он всегда был готов вытащить телегу из грязи, или помочь убрать сено, когда собирался дождь; не уставая, он делал больше любого другого. Его сила и проворство были необыкновенны. Руками раздирал он волку шкуру, догонял зайца на бегу и лазил по деревьям, как кошка. Для забавы детей он делал дудочки из тростника, маленькие ветряные мельницы и Гиероновы фонтаны.

Катрфей и Сан-Сильвэн часто слыхали, что в деревне говорят: «Счастлив, как Муск». Поговорка эта поразила

их, и, однажды, когда, проходя лесом, они застали его играющим с мопсом и казавшимся довольным не меньше собаки, они спросили его, счастлив ли он?

Муск не мог ответить, так как не задумывался о счастье. В общих чертах они объяснили ему, что это значит, и, подумав с минуту, он отвечал, что он счастлив.

Тогда Сан-Сильвэн с пылом вскричал:

— Муск! мы дадим тебе все, что ты только можешь пожелать,—золота, дворец, новые башмаки, все, что ты хочешь: отдай только нам свою рубашку!

Его доброе лицо выразило не сожаление или отчаяние, на которые он не был способен, а большое удивление. Он знаком объяснил, что не может исполнить их просьбу. У него не было рубашки

Перевод с французского

Маурина.



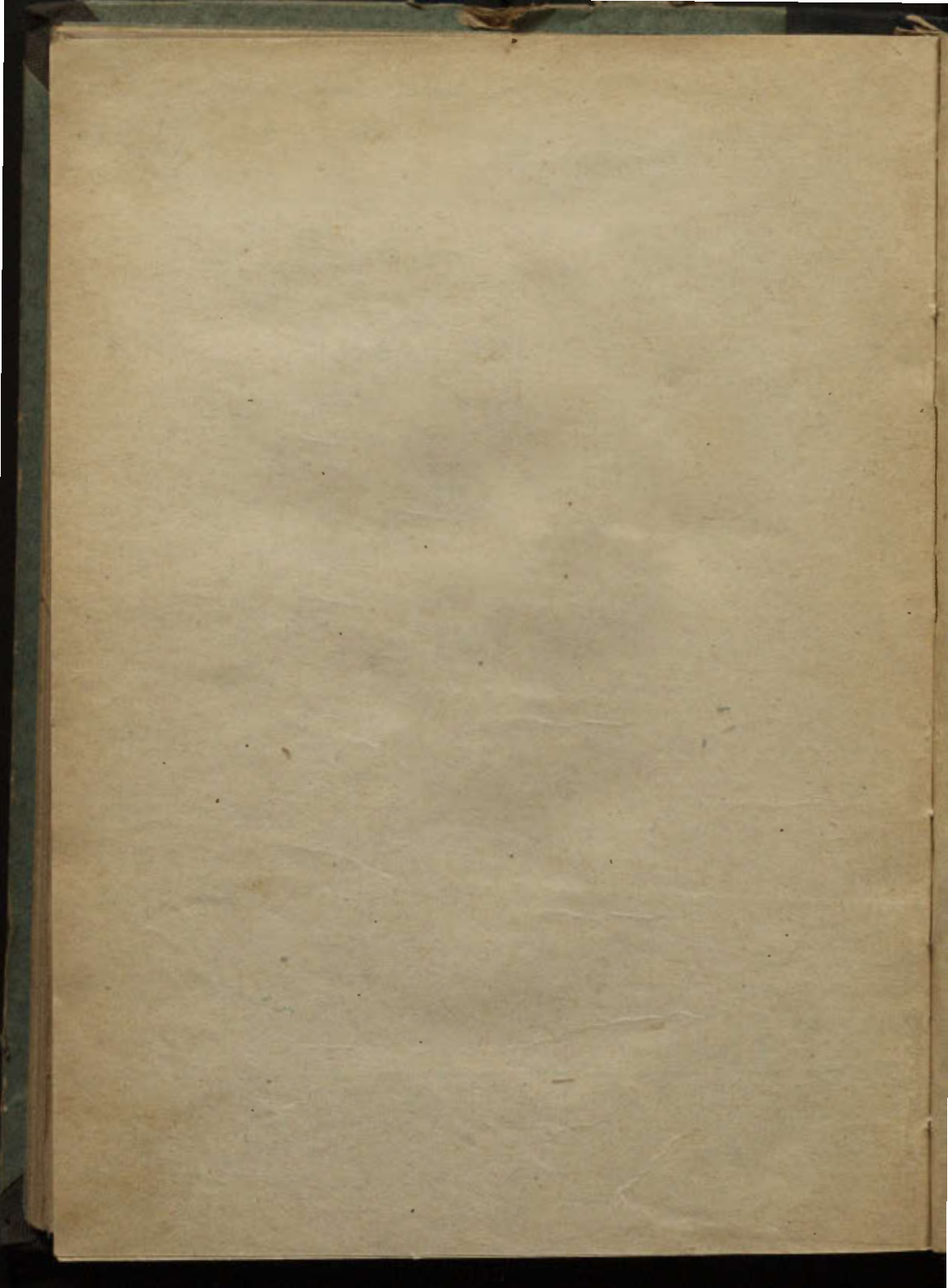
ОГЛАВЛЕНИЕ.

I. ВОССТАНИЕ АНГЕЛОВ.

Предисловие М. Кузмина	7	11
Главы I—XXXV	12	215
Перев. П. Муратова.		

II. ЧУДЕСНЫЕ РАССКАЗЫ.

Предисловие М. Кузмина	219	221
Семь жен Синей Бороды	225	246
Перев. З. Журавской.		
История герцогини де-Сигонь и господина Буленгрена	250	261
Перев. З. Журавской.		
Чудо Св. Николая	265	293
Перев. З. Журавской.		
Рубашка	297	254
Перев. Маурина.		



ИЗДАТЕЛЬСТВО
„ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА“
ПЕТЕРБУРГ
№ 36.

ЦЕНА 210 РУБ.